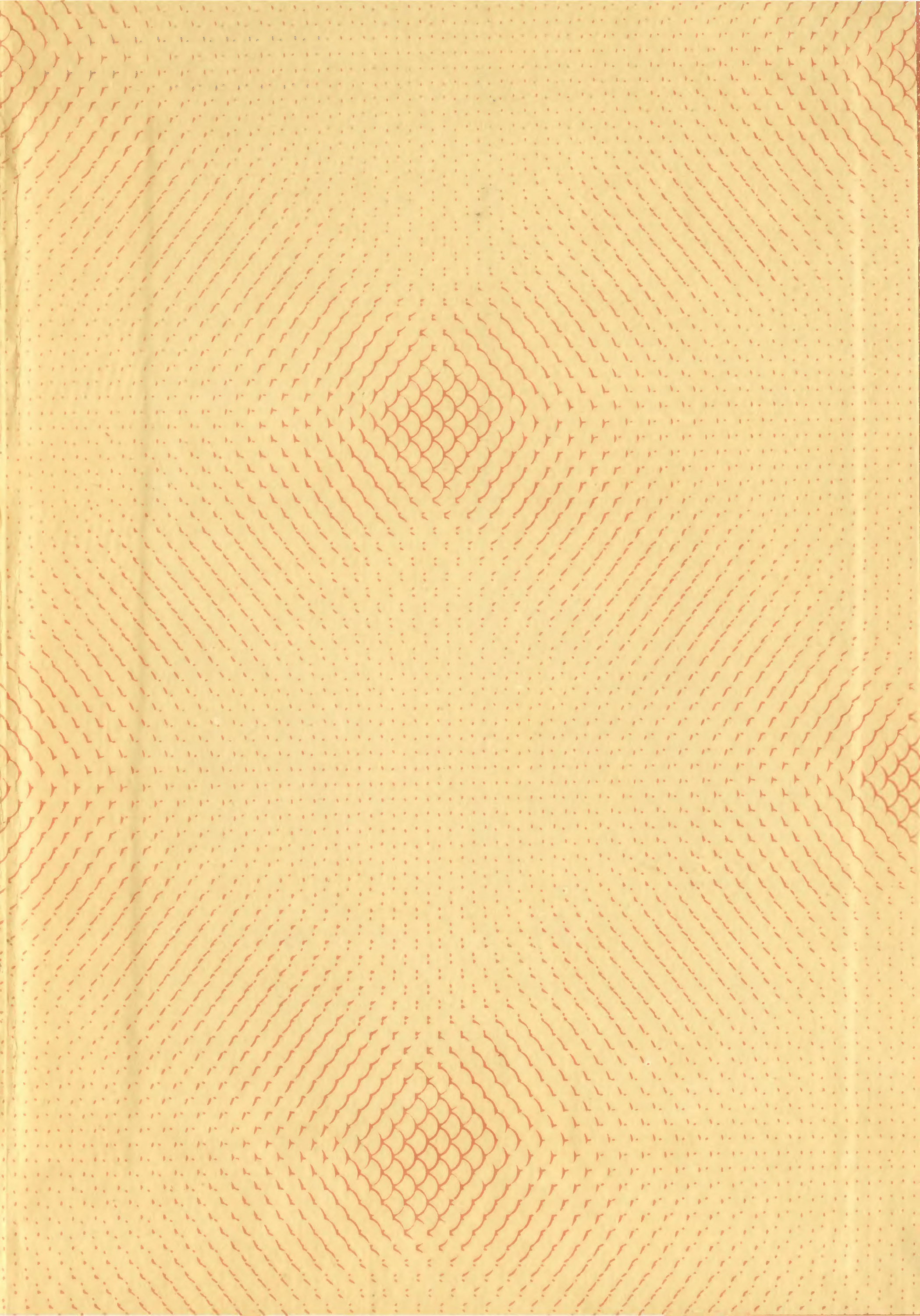


2 АНАТОМИЙ АЛЕКСИН

АНАТОМИЙ
АЛЕКСИН



2

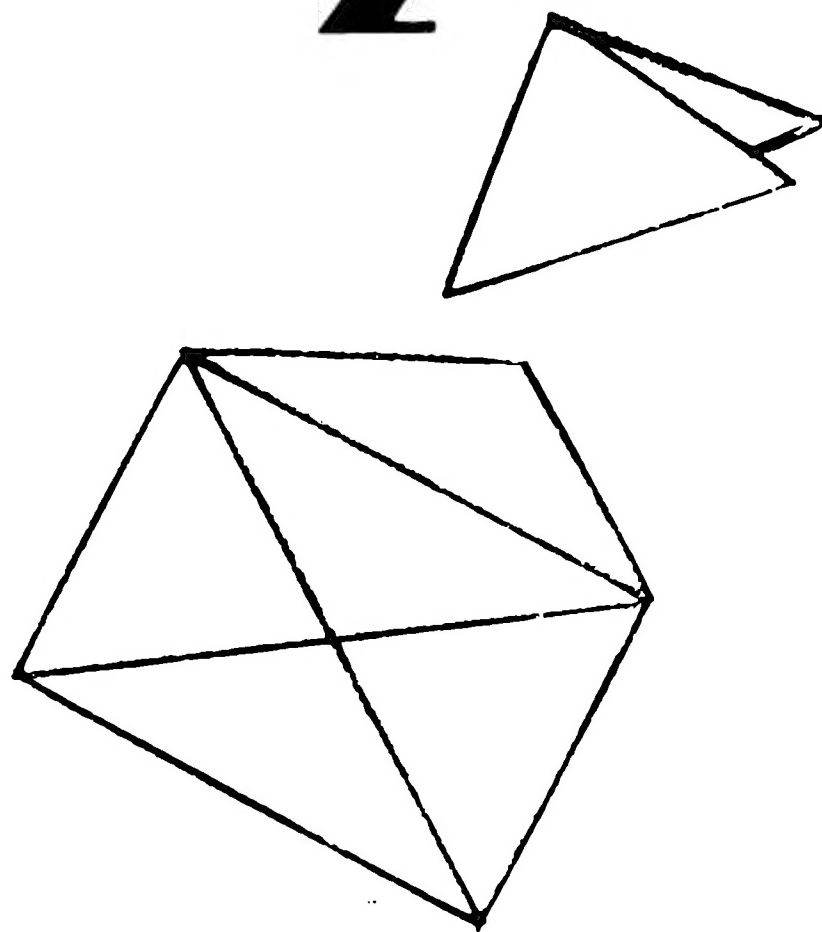


АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ

2



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

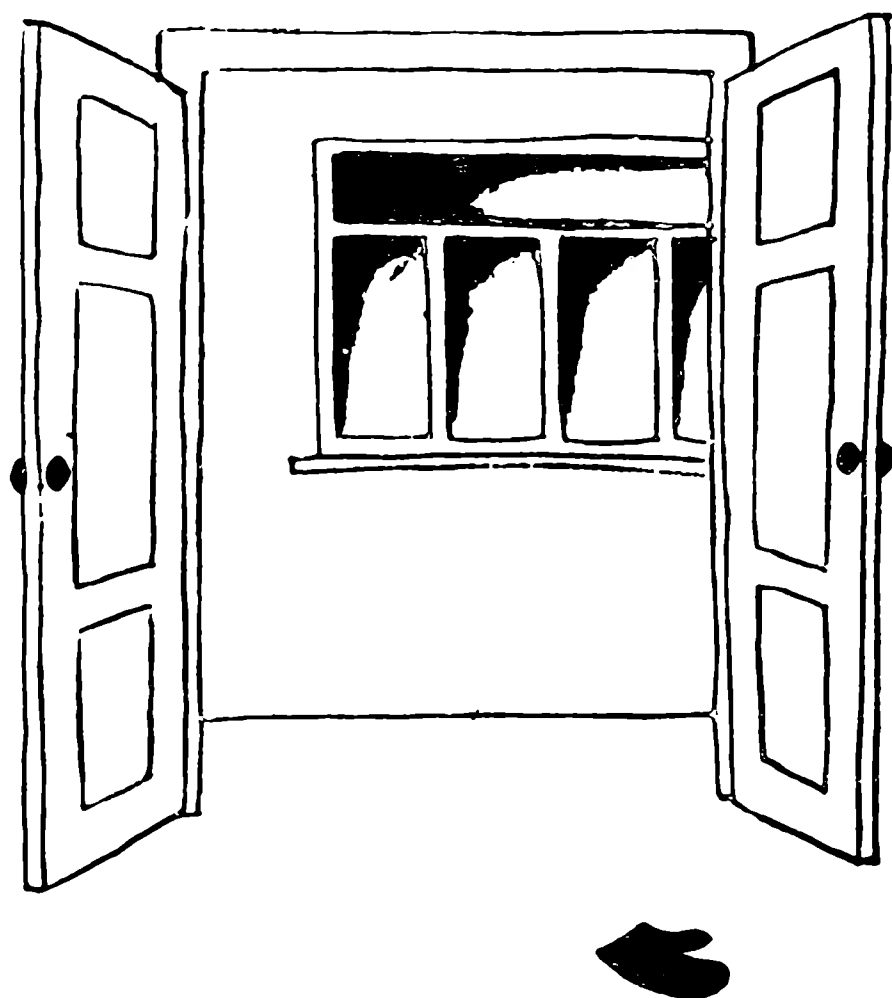
P2
A48

Оформление
В. Терещенко

70803—266

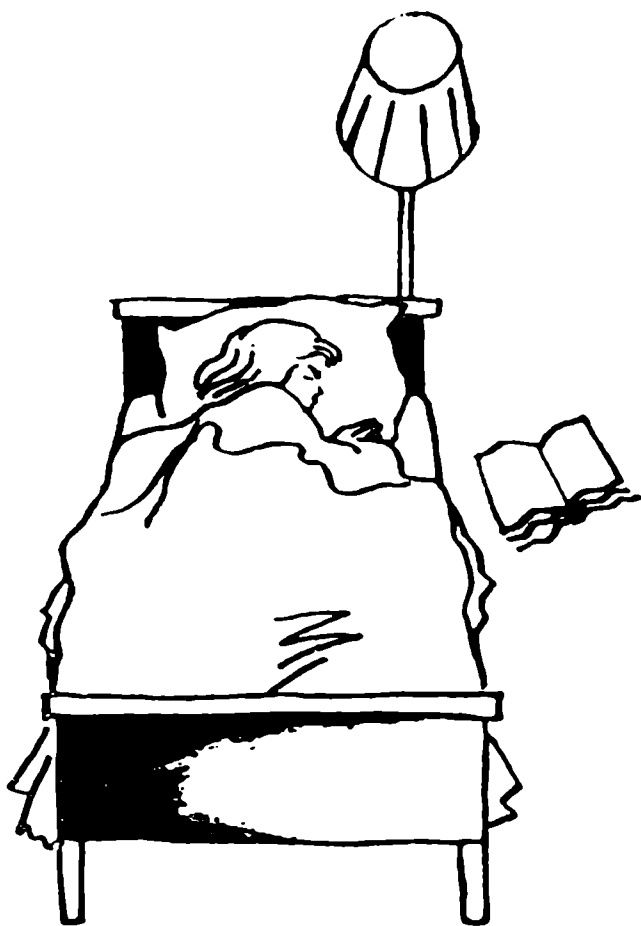
A Подп. изд.
M101(03)80

Состав. Оформление.
© Охраняемые произведения отмечены в содержании.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.



ПОВЕСТИ

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА



Слушание дела было назначено на двенадцать часов. А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я... Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах,— думала я,— живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя... Чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери, на стекле с белесыми островками, было написано: «Народный суд».

Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит, как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела.

В чем-то похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть двойниками.

Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно высоком кресле. Ей было лет тридцать, и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом. Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.

Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.

Неожиданно дверь распахнулась и в коридор вывалилась молодая дебилая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытащила сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.

— Кого там судят? — спросила я.

Женщина мне не ответила.

— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости, — донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика.

Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».

— Что там? — вновь обратилась я к женщине с воспаленным лицом.

Она опять меня не услышала.

* * *

На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.

В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «Вы, маменька...» В этом не было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей называют так и поныне: там трудней расстаться с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.

«По закону, по справедливости...» — похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...

На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.

— Перерыв скоро будет, не знаете? — спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.

Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» — словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.

«Наверняка должен скоро быть, — решила я. — И можно будет поговорить, посоветоваться...»

Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые она, я надеялась, услышав от меня, запомнит и повторит во время судебного разбирательства. Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать аргументы и факты. Они незаметно вытянулись в ленту воспоминаний — не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.

Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои», «родовая знать»...

А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове, произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая родителей, один из лечивших меня вра-

чей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей.

Собственных воспоминаний о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами!

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения врача-акушера, зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные, вроде меня, будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной ошибки выносит жестокий, незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни малейшей склонности «к перемене мест».

На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.

— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, — рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.

— Совсем ничего? — цепко спросила я.

— Кажется, был... один поцелуй.

— Именно в семнадцать?

Бабушка кивнула.

— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать!

— И я ничего не знала?!

— Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась живой свидетельницей.

— Каким образом?

— Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты получила тройку?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство:

— Ничего страшного!

Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

— В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!

Мама отговаривала ее от «неверного шага».

— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

— Но и от окружающей среды иногда приходится охранять! — уверяла она бабушку. — Что же получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой.

Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.

И бабушка не пошла под венец.

— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю. — В семнадцать поцеловал — и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?

— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

— Почему же тогда...

— А ты? — перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была папиной мамой. А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов

гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сращения, указывала, как именно меня надо спасти.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

* * *

— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу,— продолжал заклинять в зале судебного заседания длинный, худой сын.— Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...

Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебилая женщина.

«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.

* * *

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или, в редком случае, несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать,— воспитывала меня бабушка.— А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

— Все ночи?!

— Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

— Куда?

— На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:

— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.

Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.

— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.

— Тем более, что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали.

Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.

Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже имя твое говорит об этом.

Меня зовут Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.

Мне трудно было ходить, а она просила:

— Сбегай-ка за газетой!

Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливой, но туманной надеждой, а дарили уверенность, что не происходит «ничего страшного».

Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не за-

мечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.

Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.

С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно скрывать.

«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»

Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность своей фигуры — и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.

Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали, чем наша квартира в отсутствии папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.

А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.

— Мы с вами — люди самой модной профессии! — однажды сообщил маме Антон Александрович.

Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома. Хотя бабушка ждала во дворе...

Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла.

Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.

Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.

Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала.

Он приписывал это моей крайней отсталости.

— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например? — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!

В конце концов, полностью уверовав в мою несмышленность, он решил объясниться маме в любви.

— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?

И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.

— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто «некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!..

Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича — и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.

В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:

— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не напрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить, она вникает в психологию человеческих отношений!

Мама, наверно, была права, поскольку это длинное — психология — начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.

А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне все-таки дороже успеха. Это я поняла!

Папа радовался всему, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же механически, вполголоса повторял:

— Это новая стадия... Новая стадия!

— Какие стадии, не пойму? — удивилась бабушка. — Она все понимает не хуже нас с вами.

Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, и Антон Александрович перестал забегать к нам «по делу». История его любви была подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена!

Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить». Но моей сообразительности она тоже, разумеется, была рада.

Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях сильно забежала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.

Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала — и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминой мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи.

А бабушка как ни в чем не бывало говорила:

— Принеси-ка коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.

Мне становилось легче.

* * *

— Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные чувства, — донеслось из зала заседания.

«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» — опять подумала я.

И отправилась в глубь коридора.

* * *

Маму называли «крепким специалистом». Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. На-

пример, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще бóльшую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.

Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.

Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.

Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была свойственней, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может быть, такое обобщение было и вовсе неверным. Несправедливым...

Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным. Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что, скорее, все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.

А впрочем, я, наверно, опять была не права, несправедлива к своим родителям.

Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли...

Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:

— Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегают во дворе: они абсолютно здоровы.

«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными.

Я прислушивалась ко всем, но слушалась бабушку. За музейные ценности папа боролся так же, как мама за окружающую среду.

— В запасниках прозябает столько шедевров! — возмущался он. — Это все равно что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство — это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для нравственного здоровья!

Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствии мамы, при которой остерегался повышать голос.

Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверно, считал, что я в его исповедах ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась собака.

Сначала я и правда почти ни во что не могла как следует вникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не обнаружила. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким... Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.

— Я сделался копировщиком картин, — сообщил он однажды. — Сделался копировщиком... Ну, а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог стать личностью. Мог бы стать личностью... В искусстве, по крайней мере! Хотел создавать свои полотна — теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?

— Разводятся, — неожиданно ответила я.

Хотя он задал вопрос вовсе не мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.

Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.

— Ты сама догадалась или тебе подсказали? — допытывался он.

— Подсказали, — ответила я.

— Кто?

— Ты.

— Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно... — ликовал папа. И восторженно заламывал руки. — Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать.

Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой.

Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:

— А почему вы все-таки не развелись?

— Потому что я... люблю маму.

— И правильно делаешь! — с облегчением сказала я.

Это привело папу в еще больший экстаз:

— Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично! Никаких умственных и нравственных отклонений!

Он дождался маминого возвращения с работы... И прямо в коридоре поделился счастливой новостью:

— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь себе, какие сложные аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!

Как экскурсовод, папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.

— Так и сказала?! — восхитилась и мама. — «А почему вы не развелись?»

— Слово в слово!

— Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?

— Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос сердца! — Папа безусловно тяготел к возвышенным фор-

мулировкам.— Еще одна новая стадия! — зафиксировал он.

— Какая такая стадия? — пожала плечами бабушка.

— Нет, не говорите, — возразила мама. — Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас радоваться?! Необходимо закрепить данное ее состояние. Бесспорно! — Мама вновь повернулась к папе: — А в результате чего она обратилась к этим проблемам?

— Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место... в далеком прошлом. В очень далеком. — Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. — Но она сама, без всякой моей подсказки, перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! — заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. — Еще одна новая стадия!

— Это бесспорно, — согласилась с ним мама. — Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!

Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом увековечена.

О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего. Важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий.

Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития.

Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.

— Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину? — с некоторым опасением сказала мама.

— Ничего страшного, — ответила бабушка.

Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка же заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у Клары украл кораллы», я должна

была сообщать ей, словно уполномоченному угрозыска, ежедневно.

— Вы хотите овладеть программой максимум! — продолжала словесно рукоплескать мама. — Мы этого никогда не забудем.

Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными. Она занималась этим целыми днями — и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения. Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний — спокойным голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку и дарит надежду.

Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете — «мама», я стала называть ее «мамой Асей»: у бабушки было редкое имя Анисия.

— Крестьянское имя, — объяснила она.

Руки у нее тоже были крестьянские — иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками.

Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.

Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала то же, что я:

— Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! — Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле, никто спорить с ней не решался. — Я сама буду называть ее твоей «мамой Асей». Ты хочешь?

Исполнение любых желаний — привилегия больного ребенка. Но я возразила:

— Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.

— Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное — не расходовать нервы!

* * *

— Вы вспомните меня мальчиком! — умолял в зале мужчина, выдавленный из тюбика. — Разве я когда-нибудь огорчал вас?

Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим, — и напрягла голос.

Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал.

Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом, на столе, лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына. Наверное, маленького. И может быть, размышляла о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают, потом...

Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодяя, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.

* * *

О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось мамой и папой почти ежедневно. И я научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».

Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья, закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент моего появления на свет, был фактически уже восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы. И я с ними расставаться не торопилась.

Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять каких-либо моих желаний, состояние моего здоровья трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова.

Мама и папа вперегонки уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не выдавала меня.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, в меня влюбился

самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора — Федька-След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением:

— Я тебя по любому следу найду!

Как можно отыскать конкретного человека по л ю б о м у следу — это было Федькиной тайной.

Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моей неловкой походки или не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека «по любому следу».

Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истерически сообщили об этом моим родителям.

— Почему он мстит за тебя? — напрямую спросила мама.

— Влюблен. Вот и все.

— Вот и все?!

Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз возликовала. Она всегда беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть.

— Разумеется, — привычно соглашался с ней папа. — Отклонение от нормы — это самобытность, оригинальность.

Хотя пилулями, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в бороде Черномора, таилась моя главная сила.

На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во дворе оказались избитыми.

— Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку стороной! — восхищалась мама. — Бесспорно... Теперь уже окончательно и бесспорно!

— Это взаимное или одностороннее чувство? — вполголоса поинтересовался папа.

— Одностороннее, — ответила я.

— Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее, — прощрила меня мама. — Пусть лучше они... — Она взглянула на папу. — Пусть лучше

они вкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки!

Когда я вышла в другую комнату, бабушка еле слышно сказала:

— Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.

— Человек, в котором подозревают какую-либо неполноценность, — тоном экскурсовода начал разъяснять папа, — всегда хочет опровергнуть подобное мнение. И это — сильнейший стимул!

— А в ком подозревают неполноценность? — уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.

Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла «себя любить».

— К сожалению, он драчун, — сказал папа таким тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказать от дома. — Драчун, к сожалению.

— Разве Айвенго или, допустим, герои «Всадника без головы» не были драчунами? — вопросом ответила бабушка. — Они, насколько мне помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так... Ничего страшного!

— Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, — вступила в разговор мама.

Папа сник, поскольку мамины аргументы всегда были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой.

Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил:

— Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...

— О чем? — поинтересовалась бабушка.

— О том, что его любовь должна быть бескровной.

— Разве он кому-нибудь говорил про любовь?

— Не говорил... Но о ней знает весь двор! И Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях бьет. Даже бьет!

— Это скверно, — согласилась бабушка.

Приободренный папа выдвинул новое предложение:

— Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все, знаете, были... И помнят!

Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетаясь походкой.

Увидев это, папа взметнул руки вверх:

— Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои нервы.

Я начала отходить. И проследовала к окну уже более твердым шагом.

Тогда, обращаясь ко мне, папа громко продолжил:

— Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь дом.

— Почему? — вмешалась в разговор мама. — Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться.

— Разве в этом кто-нибудь сомневается? — тихо сказала бабушка. — Она имеет защитника? Ничего страшного!

— По крайней мере, для нее, — согласилась мама. — Анисия Ивановна, как всегда, права! — И крикнула в папину сторону: — Просто не верится, что ты — ее родственник!

* * *

Я подошла к двери, возле которой вновь дымила не замечавшая меня женщина.

— Зачем же делить-то, Коленька? — донесся близкий к рыданию голос матери. — Я ведь скоро...

— Всех нас в два раза переживет! — отреагировала дебелая женщина.

И я сразу поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, — ее раб.

— Что там делают? — спросила я.

Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо.

— Что делают в суде? Имущество!..

* * *

У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.

— Старшая, но не старая, — объяснила мне бабушка. — Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.

— Как раз это опасней всего,— включился в разговор папа.— Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе происходит внутреннее самосожжение. Внутреннее самосожжение происходит...

Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно. Мама иногда даже переспрашивала:

— Сколько... сколько она собрала грибов?

Бабушка находила соответствующее место в письме.

— Сколько она наварила банок варенья?

Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.

Но вообще-то мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялось по нашему домашнему адресу.

— Куда нам столько?! — ахала мама. И аккуратно размещала банки в холодильнике и на балконе.

Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама подчеркивала:

— Это от тети Мани!

Если же к папе приходили друзья — и грибы становились «грибками», — за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно.

— Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям!

Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.

— Она, старшая, выходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и без влаги.

— Как ты мне?

— Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!

— Нет... Без тебя бы засохла,— с уверенностью ответила я.

По предсказаниям бабушки, ее старшая сестра должна была «пить воздух» лет до ста, если не дольше.

Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей.

Потом сосед по деревне написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.

— Стало быть, у Мани склероз, — сказала бабушка. И добавила, первый раз изменив себе: — Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.

— В молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально, — сказала мама. — А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.

— Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, — ответила бабушка. — На кого болезнь раньше навалится, никому из нас не известно!

Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.

— Никогда не кричала она. Вот и результат, — пробормотал папа. — Вот и результат...

— Что поделаешь... Надо ехать в деревню, — сказала бабушка. И, вроде бы извиняясь, обратилась ко мне: — Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.

И сразу пошла собираться.

Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой.

Я почувствовала это — и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится.

Мама и папа панически испугались.

— Придумайте что-нибудь! — невнятно просила я их.

— Мы умоляем тебя: успокойся! — вталкивая мне в рот пилюлю и заставляя запить ее водой, причитала мама. — Выход, бесспорно, есть. Пусть тетя Маня приедет сюда. К нам... Хоть сегодня!

— Разумеется, мы будем рады, — привычно поддержал ее папа. — Мы будем рады.

С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.

Мама и папа примчались вслед за мной.

— Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме, — торжественно объявила мама. — То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна! Это бесспорно. Иначе не может быть.

— Я тоже поеду в деревню... Мы вместе привезем тетю Маню.

— Пожалуйста! — с ходу разрешила мне мама. — Только не волнуйся. Тебе нельзя расходовать нервы.

Никогда еще не была я так благодарна своим родителям.

А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум.

Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупреждала, что это «самое большое светило». На сей раз «самые большие светила» собрались все вместе. Просто слепило в глазах!

Со мной беседовали, меня разглядывали, ощупывали, будто собирались купить за очень высокую цену.

Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру ей удалось подобрать ключ.

Потом мы с мамой и папой — бабушка при этих исследованиях никогда не присутствовала — вышли в смежную комнату.

Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что практически я здорова. И что поехать на время в деревню было бы хорошо!

— Это нанесло бы последний удар по ее болезни, — сказал, поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.

На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний удар.

Девять с половиной часов мы ехали в поезде, а затем от станции до деревни еще три часа на попутном грузовике.

Мы обе сидели в шоферской кабине.

— Ничего страшного: в тесноте да не в обиде, — сказала бабушка.

Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег спиной на сиденье и нервно затормозил: он не ожидал, что на улице будет столько людей.

Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетю Маню.

Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места.

Тетя Маня лежала под зеленой накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами.

Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы на дуб так долго, что я тронула ее за руку.

— Что ж телеграмму-то не послали? Не дали проститься, — сказала она.

Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось.

— Меня пусть тоже сюда... — сказала бабушка. — Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов. Но запомни их, ладно? — Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о смерти до той поры никогда не думала. — Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай. Подольше... А я сейчас вот как решила: когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.

Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как написать о смерти.

Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.

— Соскучилась, — сказала бабушка. И стала искать очки.

Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:

— «Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам лично, а Верочке pošлю письмо завтра...»

Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:

— Читай... Ничего страшного.

— «Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала, думала. Наутро поехала советоваться с профессорами — и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я, бесспорно, должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя Верочкиного здоровья! Я подумала — и врачи, увы, со мной согласились, — что постоянное общение со столь больным и,

простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего, стойческого труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точнее, невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но...»

Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова.

«Практически»... Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось, не уходило.

Мама не знала о смерти тети Мани — и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни — одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось.

На том решающем консилиуме врачи говорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Не по болезни: ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере, близкие мне люди, которых я хотела не только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже.

Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.

Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах.

Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по цветку.

Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства.

— Это было такое сердце! Такое сердце! — повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья.

Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма и узнала о кресте на холмике под неохватным израненным дубом.

Мама упорно настаивала, чтобы мы ее «правильно поняли». Но я знала: об этом просят тогда, когда поступают неправильно.

Наконец очередь дошла до моего внешнего вида.

— Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил тебя.

— Месяц в деревне, — вполголоса подключился папа. — Так можно было бы назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал...

— А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? — вновь перехватила инициативу мама. — Врачи разрешили тебе перейти в обычную, н о р м а л ь н у ю школу. Правда, на один класс ниже... Но в нормальную!

Мама уже не просто «заглаживала», а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.

* * *

— Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь. Тогда сохраняются все чувства и отношения! — тоже «заглаживал» и заставлял «забыть» охрипший мужчина в судебном зале. — А лишнего мне не надо!

Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столе, фотографию, взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не услышала.

* * *

Мама все делала обстоятельно и серьезно. Поэтому заглаживание вины не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что на первый урок в «нормальную» школу меня должна провожать бабушка:

— Она привела тебя к порогу этой школы в переносном смысле. Пусть так же будет и в смысле буквальном!

Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила над бабушкиной постелью.

— Она вырастила вас, как вы Верочку. Это бесспорно! Казалось, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной.

Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом отдыха. Бабушка не могла поехать в этот дом, как я не могла бы сесть за руль мотоцикла: отдыхать она не умела.

Но постепенно чувство вины за письмо и радость оттого, что я выздоровела и ходила в «нормальную» школу, начали притупляться. Время лишало эти события их остроты.

Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать всеми качествами, необходимыми «гармонично развитому человеку».

Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений, которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама стремилась к гармонии.

— К примеру, любознательность... Великолепное качество! — раздавалось из телефонной трубки. — «Любо знать» — вот откуда берет истоки это понятие.

Вскоре, однако, я убедилась: важно, что именно «любо знать» человеку.

В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой «заслуженный отдых» на скамейке возле подъезда. В первый же день она представилась бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим разговорам. Вечером же, когда я встретила маму, возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему подъезду, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности.

— Анисия-то Ивановна — героиня! — сообщила она маме так, будто знала бабушку с детских лет. — Сижу целый день и восхищаюсь: родить в таком возрасте? И как ты, Верочка, ее называешь — это тоже удивительно!.. — обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. — Не просто мамой зовешь, а «мамой Асей». Благодарись, значит, за ее смелость:

родить в таком возрасте! Я вот бездетна... Сижу целый день и завидую! — Затем, проявляя еще бóльшую любознательность, а может, бесцеремонность, она спросила маму: — А вы-то кем Вере приходитесь?

Мама ничего не ответила.

Она и после этого случая продолжала называть бабушку «добрым гением», но делала это уже по инерции, без вдохновения.

Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая мысль устроить ужин для всех «светил», которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть.

— Ты прав, — ответила мама. — Бесспорно, прав: они еще могут, тьфу-тьфу, пригодиться.

— И поблагодарить надо, — опомнился папа. — И поблагодарить тоже.

— А как же? Бесспорно! Это само собой разумеется, — согласилась с ним мама. И поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к приему.

Профессора-мужчины пришли с женами, а профессора-женщины, если у них были мужья, с мужьями. Приглашены были и ближайшие родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня.

Я поняла, что в такой ситуации не вылечиться было бы просто неудобно.

Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я поднялась с бокалом, по стеклу которого прыгали лимонадные пузырьки, и сказала, что, если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла.

Я перевела стрелку — и вечер со стремительностью экспресса изменил направление.

Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня — они меня «наблюдали». Во всех справках, которые я получала, так и было написано: «наблюдается» там-то, с такого-то года. Но заодно они, разумеется, «наблюдали» и бабушку, которая неизменно была рядом со мной.

Все сразу об этом вспомнили и под влиянием выпитого заговорили с нарочитой целеустремленностью.

Повзрослев, я заметила, что, если у застолья есть эпицентр, есть какой-нибудь главный объект, вечер проходит успешно. Его участники не распыляются, рассеянный огонь, который редко приводит к победе, уступает огню прицельному. О главный объект, как о некий точильный камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие.

Заговорив о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали постепенно трезветь. Бабушкино лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб, белые, без малейших оттенков волосы да и сама неожиданность присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном обществе — все это заставило перейти от застольной велеречивости к более застенчивой искренности.

И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тост», рюмки и бокалы не осушались, — просто беседовали о бабушке, о ее «человеческом подвиге». Так прямо и говорили: о подвиге.

Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду и готовить чай.

Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед за бабушкой не удалилась. Она любила руководить, и невозможность проявить эту свою способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что какой вилкой и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушивались: застолье имело свои эпицентры — сперва меня, а потом бабушку.

В конце концов, чтобы обратить на себя внимание, мамина мама пошла на решительный шаг.

— У меня создалось впечатление, что я присутствую на открытии памятника, — внезапно заявила она.

Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать ей, как посторонней.

— За такое подвижничество и надо воздвигать памятники! — произнесла жена светилы-консультанта, не столько, мне показалось, думая о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму, которая ее раздражала.

— Памятники надо ставить при жизни, — включился в разговор папа. — Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть «нерукотворные»... Но при жизни. Чтобы человек мог...

Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы — и папа умолк.

Приняв осанку владычицы, не допускавшей возражений, мама поднялась и сказала:

— А у меня «среди шумного бала, случайно»... создалось впечатление, что Верочка — круглая сирота.

Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор.

Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он цитирует маму, — а цитировать ее он очень любил! — сказал о моем «втором рождении» с помощью бабушки.

— Человек рождается лишь однажды. Медицина, бесспорно, со мной согласится, — задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней мысли.

Она вновь перевела стрелку — и вечер устремился в третьем направлении: за праздничным столом люди податливы и сговорчивы. Все стали пить за моих родителей. Именно пить, потому что тосты были краткими, мимоходными, а рюмки и бокалы осушались до дна.

Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, так сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию. Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на кухню помогать бабушке.

С того дня все изменилось в нашей семье.

Быть может, прояснился истинный взгляд мамы на отношения, которые давно возникли между мною и бабушкой. Эта истина раньше искажалась практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне.

«Нужен тот, кто нужен... Нужен, пока нужен...» Неужели мама руководствовалась этой философией? Нет, не философией — зачем такие красивые понятия! — а просто-напросто выгодой?.. Мне трудно было уяснить все это. Но я видела: то, что раньше ставилось бабушке в заслугу, теперь вызывало укор.

Мама создавала в доме угодную себе атмосферу. И делала это успешно, ибо была специалистом в области «окружающей нас среды».

О бабушкином подвиге старались не вспоминать: «Хватит уже!»

«Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись его результатом?» — думала я.

Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в парикмахерской не хотели уступать очередь, хотя возле кассы было написано, что «инвалиды имеют право...». Неужели и его подвиг кем-то забыт?

«Люди не должны жить минувшим горем, — думала я. — Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!»

Как иные историки стараются не вспоминать неудобные им события — и тогда становится непонятным, что из чего «проистекло», — так и мама старалась перечеркнуть мою «родовую историю»: я всегда была здоровой, нормальной, училась в обычной школе.

Вместе с тем мама невзначай вспомнила, что именно бабушка повезла ее в тот родильный дом, где врач-акушер замешкалась и где произошло то самое знаменитое кровоизлияние местного значения.

— Бесспорно, никто здесь не виноват, — объяснила мама. — Но надо же... Такая трагическая случайность. Сколько в городе родильных домов?!

Я продолжала называть бабушку «мамой Асей». Не для того, чтобы дразнить маму, а просто потому, что привыкла и по-другому уже не могла.

Решив с этим покончить, мама вернулась к проблеме моего «второго рождения».

Для начала она попыталась доверительно, «как с родной дочерью», поговорить со мной. Но интимные беседы у мамы не получались: слишком ясно обозначались в ее тоне и голосе повелительные, жесткие ноты.

— Я имею дело с природой. Можно сказать, защищаю ее! — сказала мне мама. — И у себя дома тоже хочу выступить на защиту ее законов. Пойми, их нельзя попирать. Человек рождается лишь однажды и матерью должен называть только одну — родившую его! — женщину. Иначе в родственных отношениях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы...

— Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды, — ответила я. — Ты же сама, первая... сказала про «второе рождение». Когда тебе было н у ж н о. Вспомни!

Но именно вспоминать маме меньше всего хотелось.

— Раньше ты говорила об этом «втором рождении», — продолжала я, — в романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в физиологическом!

— Какой словарный запас! Ты совершенно здорова! — в ответ восхитилась мама.

Вскоре бабушка, как раньше, сама попросила, чтобы мамой я называла только маму, а ее называла бы бабушкой:

— Так будет лучше.

Но я и ее не послушалась.

Месяцы, поспешно соединившись, становились годами... В обыкновенной школе я одерживала необыкновенные, если учесть мое «родовое прошлое», успехи.

— Деятели мировой культуры, детство которых прошло в неблагоприятных условиях, — тоном экскурсовода объяснял папа, — потом становились особо выдающимися эрудитами: духовный голод вызывал повышенный духовный аппетит. Повышенный аппетит... Что-то похожее происходит с тобой.

Впечатления детства, когда я была отсталой, и впечатления отрочества, когда я стала передовой, как-то переплелись. Я уже не могла провести между ними четкой границы... Как и в своих воспоминаниях, которые, словно выскакивая из засады, атаковали меня в коридоре суда. То, что я помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от родителей и от бабушки.

Я знала, что самая отчаянная борьба — это борьба за существование. В ней, к несчастью, порою не выбирают средств... Мама боролась за свое существование в качестве моей единственной матери. И средств в борьбе за эту монополию не выбирала.

На беду, с годами у меня стало появляться все больше тайн. Взрослым часто свойственно из лучших намерений, «в воспитательных целях» выдавать своих воспитуемых. Бабушка не выдала меня ни единого раза. И свои тайны я несла к ней.

Бабушка обладала редким умением слушать других. Редким потому, что для этого надо хоть на время отречься

от себя самого. Часто, слушая чью-либо горькую исповедь, люди сразу же примеряют ее на свою жизнь, то есть думают в этот момент о своей судьбе, и мысленно радуются, что несчастья, коснувшиеся или истерзавшие собеседника, их обошли стороной. Для бабушки же события моей биографии были гораздо важнее, чем все, что происходило в ее собственной жизни. Поэтому советы ее, ненавязчивые, застенчивые, не были замутнены какими-либо личными интересами или соображениями.

Одной из моих главных тайн был Федька-След... Инерция репутации порой очень устойчива, почти непреодолима: хоть Федька давно уже не извергал ни грома, ни молний, его продолжали считать грозой нашего дома.

Когда однажды мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к моей щеке, этот факт вошел в историю нашей семьи, как «поцелуй хулигана».

— Почему хулигана? Я сама подставила щеку!

— Бесспорно... Я этому не удивляюсь! — Забыв о своей осанке, мама заметалась по комнате. — Ведь и бабушка твоя целовалась в неполных семнадцать лет. То есть не достигнув совершеннолетия! Загрязнение окружающей среды в тысячу раз безопасней, чем загрязнение среды внутренней. Чем загрязнение юной души! Подобными вот рассказами старших...

— Не смей обижать бабушку, — твердо сказала я. — Хорошо, что ее нет дома. Не вздумай при ней...

— И ты еще будешь ставить условия?! — громким голосом неправого человека продолжала мама. — После того, что я видела! Я уверена, что это она... именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны развестись!

— Ты же так радовалась этой мысли?

— Я радовалась признакам выздоровления. Твоя судьба была для меня дороже личного счастья!

— Так за эти признаки... за то, что они появились... за то, что перестали быть признаками, поклонись в ноги бабушке!

— Ты с ума сошла. А профессора? А лекарства? Она разлучит нас! Бесспорно... Это случится!

Самое страшное, когда человек перестает быть самим собой. Мама в тот день перестала. А может, наоборот... она стала собой, поскольку моя минувшая болезнь уже не мешала ей это сделать?

Не дожидаясь, пока бабушка нас с ней разлучит, мама решила забежать вперед, принять меры. Или я несправедлива и выдаю стечение обстоятельств за проявление злой, преднамеренной воли?

Точнее сказать, речь идет об одном обстоятельстве. Об одном... Но переполнившем сосуд противоречий, который становился в нашей семье все более наполненным и тяжелым.

Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».

Я написала про бабушку.

А потом пошла с Федькой в кино... Было воскресенье, и у кассы, прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким напряженным, будто Федька изготавился прыгать с вышки вниз, в воду. Увидев хвост возле кассы, он прищурился, что предвещало готовность к действиям чрезвычайным. «Я тебя по любому следу найду», — говорил он, когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.

Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо сразу присваивало ему некий порядковый номер — и, безусловно, не первый.

Федька рванулся к кассе. Но я остановила его:

— Пойдем лучше в парк. Такая погода!..

— Ты точно хочешь? — обрадовался он: тут уж не надо было стоять в очереди.

— Никогда больше не целуй меня во дворе, — сказала я. — Маме это не нравится.

— А я разве...

— Под самыми окнами!

— Точно?

— А ты забыл?

— Тогда уж я имею полное право... — изготавился к прыжку Федька. — Раз было, значит, все! Тут уж цепная реакция...

Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял любой ценой и на долгий срок не откладывал.

— Ты куда? Я пошутил... Это точно. Я пошутил.

Когда люди, не привыкшие унижаться, должны это делать, их становится жаль. И все-таки я любила, когда Федька-След, гроза дома, суетился возле меня: пусть все видят, какая я теперь полноценная!

Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.

— Домой! — гордо сказала я. И повторила: — Только домой...

Но повторила уже растерянно, потому что в эту минуту с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что, если мама его прочтет?

Мама уже прочла.

— А кто я в твоей жизни? — не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом, который, словно с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила она. — Кто я? Не главный человек... Это бесспорно. Но все же какой?!

Я так и стояла в пальто. А она продолжала:

— Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. И я предлагаю разъехаться... Это бесспорно.

— Нам с тобой?

— Нам?! Ты бы не возражала?

— А с кем же тогда? — искренне не поняла я.

— С той, которую ты... — Ее голос был на самом краю обрыва. — Которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...

Всегда безупречно выдержанная мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины слезы я видела первый раз в жизни. И стала ее утешать.

Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.

Когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не стремясь что-либо скрыть от

меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я:

— Вера написала... А я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни»... Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это бесспорно! А она написала о вас... Если бы ваш сын в детстве... А? Нам надо разъехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами... И не пытается отвоевывать у меня мою дочь!

Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде чем отвоевывать меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.

— Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, — сквозь слезы, но уже твердо сказала мама. — Все сделаем по закону, по справедливости...

— Как же я без Верочки? — не поняла бабушка.

— А как же мы все... под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь... Я напишу! Когда Вера закончит учебный год... чтобы у нее не было нервного срыва.

Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.

В борьбе за существование часто не выбирают средств... Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться. Разъехаться... И о разделе имущества, «согласно существующим судебным законам».

* * *

— Поймите: я ничего лишнего не хочу! — продолжал доказывать мужчина, выдвинутый из тюбика.

И тут я впервые услышала голос судьи.

— Судиться с матерью — самое лишнее на земле дело. А вы говорите: не надо лишнего! — произнесла она бесстрастным, не подлежащим обжалованию тоном.

«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен... Нужен, пока нужен!» — мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме.

* * *

Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а вернее, записку, адресованную маме и папе:

Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке.

* * *

— Тряпка... Ничего не смог доказать. Тряпка! — твердила, обращаясь куда-то в глубь коридора, дебелая женщина, которая так долго закупоривала собой выход.

Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.

— Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем... — судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто его не услышал.

* * *

Бабушки дома не было.

— Где она? — тихо спросила я.

— Ничего не случилось, — ответил папа. — Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано: «Уехала в деревню. Не волнуйтесь, ничего страшного».

— К тете Мане?

— Почему к тете Мане? Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!

— К тете Мане? — повторила я. — К тому дубу?..

Окаменевшая на диване мама ожила и вскочила:

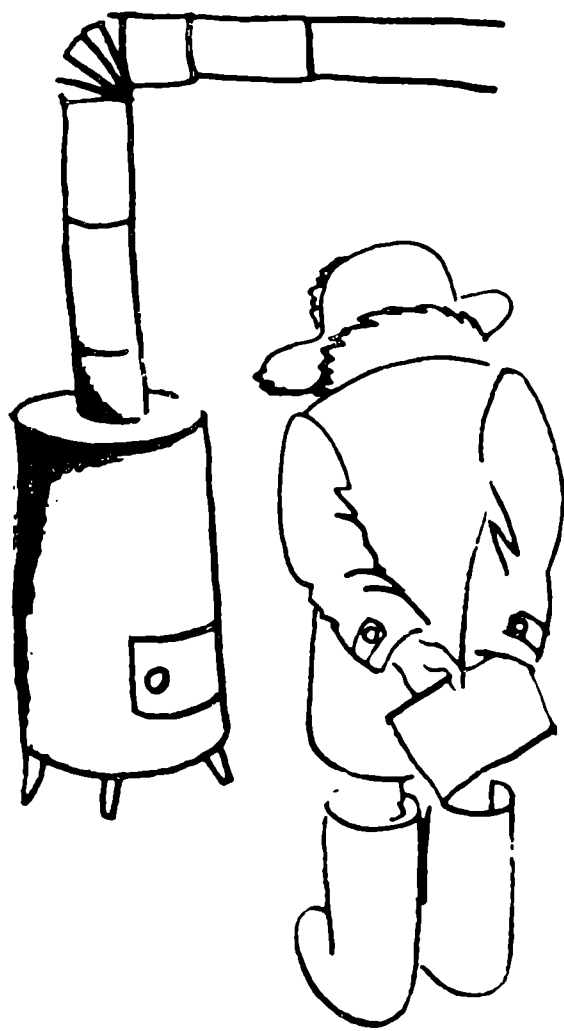
— К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?

— Она просто уехала... Ничего страшного! — сказал папа. — Ничего страшного.

Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.

— Она к тете Мане уехала? К тете Мане, да? К тете Мане?! — кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног.

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ...



ДОРОГОЙ, НЕЗАБВЕННОЙ МАМЕ

Годы... Они — долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если бóльшая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь: «Неужели так мало осталось?»

Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как прошлый раз, как и всегда... Будто не уезжал.

— Куда вам? — туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист.

— В город, — ответил я.

И поехал к маме, у которой (так уж случилось!) не было около десяти лет.

В октябре сорок первого мы шли с ней по этой при вокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи.

Мама запретила мне притрагиваться к старомодному, тяжеленному сундуку: «Это не для тебя. Надорвешься!»

Как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком. В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно «только одно место». Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилось прабабушкино приданое.

Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за другую Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было: за день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили.

— Хорошо, что у меня нет семьи,— сказал он.— Вещи терять не так страшно.

Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать.

— Смотрите под ноги! — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехотя вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости.

Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги.

Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался.

— Простите,— сказал Николай Евдокимович.— Нога разболелась. Если не возражаете...

И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал.

Он любил маму. Это знали все.

— Ее красота слишком заметна,— постоянно говорил мне отец. И обязательно при этом вздыхал.

Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал. А прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович.

— Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких... таких

чувств,— объясняла мама.— Хочешь, поклянусь? Своим будущим и даже твоим!

Мое будущее она оставляла в покое.

— Я к нему ничего не испытываю,— настойчиво убеждала она отца.

— Но он испытывает к тебе. А это, пойми...

— И что же? Бросить его на произвол судьбы? — спросила она однажды.

И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые, добрые воды и обнажившая вдруг каменистое дно.

— Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу? Я сдаюсь! — в другой раз воскликнул отец. И поднял руки вверх.

Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу:

— Николая в институте звали Подкидышем.

— А где тебе подкинули его?

— Там и подкинули: в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?

Мама резко поднялась.

— К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул,— печально сказал отец.

Он ревновал маму к прошлому. Как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже:

— Когда-нибудь ты покинешь меня.

— А о нем ты забыл?

Мама кивнула в мою сторону.

— Ну, если... только ради него... Это слабое утешение.

— В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за Подкидыша. Из-за этого безобидного князя Мышкина,— возмутилась мама.

Князь Мышкин, Подкидыш... Это должно было убедить отца, что он — в полнейшей безопасности.

С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только Подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез.

Он был выше Подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день:

«Если не возражаете...» И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения, это было необъяснимо. Еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной: ей было уже тридцать семь лет!

На мой взгляд, Подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну, какая любовь в этом возрасте? — рассуждал я. — Вот у нас, в четвертом классе... Это другое дело!»

Отец думал иначе... Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил:

— Она, к сожалению, очень устала.

— Я полна сил и энергии! — заявляла мама. И шла танцевать.

Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала начальником стройконторы: ей действительно подчинялись сварщики и прорабы.

— Твои про-рабы! — говорил отец, делая ударение на последнем слог.

Если Подкидыш обнаруживал, что у него «как раз три билета в кино», отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости.

— Меня никто не приглашал! — возражала мама.

Она всегда говорила правду. «Рубила», как оценивал это отец.

А честность тоже разная бывает.

И если доброты ей не хватает...

Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.

— Честность есть честность! — ответила мама. И резко встала.

— Я не щадила тебя, — тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт. Или, вернее сказать, на войну. — Я не щадила тебя... Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя. Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное... Ты простишь меня?

— Да, конечно, — ответил отец. — А Подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?

То, что мы уедем, уже было известно. Но когда — никто точно не знал.

— Хочешь, мы поедem в другом эшелоне? — сказала мама.

Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы.

— А если другого эшелона не будет? — ответил отец. — Неужели ты думаешь, что я могу рисковать... вами? — Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с Подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся.

— Обещай мне, что ты будешь спокоен. За нас... За меня! — умоляла мама. — И пиши... Каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя!

— А ты?

Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это. И мне не было обидно. Ничуть...

Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму:

— И вагон у вас с ним... один?

— Мы поедem в теплушках. На нарах, — ответила мама. — Если хочешь, будем в разных теплушках. Только бы ты не думал... Ни одной секунды! До конца войны... До конца нашей жизни.

Она зарыдала. Я тоже заплакал.

— Ну что вы? Я скоро вернусь... — как и все вокруг, обещал нам отец. Это было седьмого августа. — И пусть Подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди!

— Ты можешь быть абсолютно спокоен! — почти крикнула мама. — Клянусь всем на свете. Даже его будущим!

И прижала меня к себе.

2

Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острее ценить, когда оно от тебя уходит. И что наши приобретения становятся в тысячу раз дороже, когда превращаются в наши потери или воспоминания. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой.

Но, качаясь на нарах, под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность: все, что недавно было обыденным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. А неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп.

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. «Ценишь, когда теряешь» — эту истину война все упрямей, с жесткой прямолинейностью вдабливала мне в сердце и в голову.

Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встретят на Урале флора и фауна: он был биологом. Но нас встречал лишь низкорослый, неестественно широкоплечий человек, казавшийся квадратом, завернутым в брезентовый плащ с капюшоном. Из капюшона до нас донеслось хриплое сообщение о том, что «машин сколько есть, столько есть, а больше не будет».

Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. «Гарантия возвращения — вот что было самым приятным в пути!» — понял я потом, через много лет.

— Что с Москвой? — раздался в темноте голос Николая Евдокимовича. Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов. — Неужели все-таки...

— Этого не будет! — Мама остановилась, словно, как прежде, резко поднялась со стула.

И пошла дальше. Мы тоже пошли.

— Я уверен... Я абсолютно уверен! Но мы целый день не слышали сводки Информбюро.

На каждой станции Подкидыш выпрыгивал из вагона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газетному киоску или к громкоговорителю, если киоска не было. Узнав, что «после упорных боев наши войска оставили» какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали. И то очень тихо.

И поглядывал с опаской туда, где лежали на нарах мы с мамой: не хотел нас расстраивать.

Никто не объявлял заранее, долгой ли будет остановка,

никто не знал, когда тупо ударятся друг о друга, заскрежещут чугунные буфера и мы тронемся дальше.

— Останется... Где-нибудь он отстанет! — беспокоилась мама.

И я этого тоже очень боялся.

В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. Она не выпускала мою руку ни на мгновение. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, чтобы по талончикам получить там похлебку и кусок хлеба.

«Потерять, оставить, отстать...» — война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что, поскольку мне всего лишь одиннадцать лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился... И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдокимовичем.

Если мы с ним задерживались, она, чуть приоткрыв дверь и глядя куда-то в сторону, испуганно вопрошала:

— Вы там?

Он отвечал:

— Мы здесь!

«Да... какая может быть любовь в этом возрасте?» — утверждался я в своей давней мысли.

Квадратный человек прохрипел из капюшона, точно из рупора:

— Побыстрее шевелитесь! Машины не будут ждать.

Мама крепче сжала мой локоть.

Девять или десять крытых машин стояли на краю площади. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных, пришедших на водопой.

— Поплотней утрамбовывайтесь, товарищи! — скомандовал капюшон.

Подкидыш протянул маме руку из глубины крытого кузова, но она вначале посадила меня.

А за нами вскарабкивались и «утрамбовывались» все новые и новые пассажиры из эшелона.

На нарах в теплушке голосов почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому, что растерянность и неизвестность как бы сковали людей.

И в кузове грузовика было напряженно от тишины.

— Осторожней, здесь мальчик! — предупредила мама. Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и утрамбовывали «на общих правах»: мест для пассажиров с детьми в крытой машине не было.

Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть...

3

Но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала:

— Здесь ты будешь делать уроки!

Сказала властным голосом начальника стройконторы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается.

«Комнаты» отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье.

Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.

— Ты и так уж отстал от класса! — с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.

Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не знал.

Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но не ослабевший: его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде: одежда выцвела, поизносилась.

Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного, закопченного кирпича; вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки; клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены.

На школе висел плакат: «В тылу, как на фронте!»

— Ты понял? — спросила мама. — Хотя вообще-то я не

люблю этого лозунга: все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл.

— Но всюду пишут... — попробовал возразить я.

— Мы в отличие от отца, — тоном начальника стройконторы перебила мама, — прибыли в зону безопасности. Чтобы ты мог учиться. В том числе и для этого... Ты понял? Мне некогда будет напоминать.

Маме стало некогда уже с двенадцати часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили «инженером-руководителем по комплектации и восстановлению оборудования». Название маминой должности было таким длинным, что я испуганно спросил:

— А что это значит?

— Ничего особенного, — ответила мама. — Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах под навесом, пока не построим новые.

— Каторжная работа, — раздался мужской голос из-за старого, облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей.

— А вы были на каторге? — спросила мама.

— Пока что не приходилось.

— Откуда же вам известно?

Мама не любила паниковать.

— Да уж знаю! — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. — Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства.

— Вот видишь, — сказала мама. — Во всем есть свои светлые стороны.

Она их, по крайней мере, умела отыскивать.

— Я буду редко бывать дома, — сказала она через несколько дней. — Эшелоны приходят один за другим. Так что приглашай в гости товарищей. Или товарища... Чтоб не соскучиться.

У нее самой был один только друг. Тот, которого ей «подкинули» в строительном институте.

— Его и здесь подбросили в мою группу, — сообщила мне мама.

— На каторжную работу? Разве он выдержит?

— Мы с вами — в зоне полной безопасности: спим в постели, нас не бомбят. В тылу как в тылу! — ответила она.

— Я хотел сказать... что Подкидыш очень худой.

— А в окопах только богатыри?

Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку: бумагу достать было трудно.

— Вот видишь, дополнительное питание. За вредность производства. Грех жаловаться!

Как и хотела мама, у меня появился приятель: Олег по прозвищу «Многодетный брат». У него было две младших сестры. Последняя родилась двадцать второго июня, за год до начала войны.

— Умудрилась! — сказал Олег. — Попробуй теперь порадуйся в день ее появления на свет...

«Многодетный брат» бегал за «детским питанием», которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть.

— Но организм ко всему приспосабливается, — объяснил мой новый приятель.

Олег был старше меня на полтора года.

— В вашем возрасте это много! — уверял Николай Евдокимович. — Вспомни Толстого! «Детство», «Отрочество», «Юность» — так он назвал свою трилогию. Речь идет о разных эпохах человеческой жизни. Если не возражаешь...

Но никакие эпохи нас с Олегом не разделяли. Когда я сказал об этом Подкидышу, он задумался:

— Война вообще объединила людей... хотя вроде бы их разлучила.

Олегу трудно было делать уроки дома.

— Сестры плачут дуэтом.

— Как же ты спишь?

— Организм ко всему привыкает.

Он приходил заниматься ко мне. Но прежде чем сесть за учебники, говорил:

— Я тут немного...

И подметал нашу «комнату», укреплял на веревках «озеро с лебедями», что-нибудь мне пришивал. Сестры приучили его к труду.

Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным. Поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал:

— Я вполне бы мог стать для него экспонатом!

Он любил подшучивать над своей худобой.

Отец его через двадцать дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которую мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление.

— Выдали под расписку, — сказал Олег. — Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой — и они умолкают. Колыбельная песня! Иногда я помогаю отцу.

— Ты и печатать умеешь?

— А что ж тут такого!

* * *

Я торопился к маме. Она очень ждала меня. Это я знал...

И мое нетерпение тоже было таким напряженным, что я бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, как бы оттягивал встречу. По пути я решил задержаться возле дома, где жил Олег. Таксист был рассержен непредвиденной остановкой. А когда я вышел из машины и направился к дому, он проводил меня взглядом, полным сомнений: приду ли обратно? Не сбегу ли, не расплатившись?

Чтобы успокоить его, я вернулся и как задаток положил на заднее сиденье букет, купленный для мамы на привокзальном базаре.

Потом я вошел в парадное. Все было так же... Только стены покрасили в другой цвет.

Подниматься на третий этаж я не стал: Олега и его родных там уже давно не было. Они уехали к себе домой, в Белоруссию. Мы переписывались.

Я вернулся к машине. И едва успел хлопнуть дверцей, как таксист резко рванул с места. Так он выразил свое недовольство. Я бы мог объяснить таксисту, что хочу хоть на время вернуть свое прошлое. Но вид его не располагал к откровенности.

4

В первое же утро после приезда, по дороге в школу, мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования. Так мы условились.

— Я чувствую: нас будет ждать письмо! — все четырнадцать дней в эшелоне говорила мне мама, без конца перечитывая те письма, которые мы успели получить от отца в Москве.

На почте ничего не было.

— Теперь мы с тобой так и будем жить: от письма до письма, — грустно сказала она. — Надо привыкать. Что тут поделаешь!

Она попросила, чтобы мне выдавали «корреспонденцию», которая будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до семи часов. Когда мы вышли на улицу, мама спросила:

— Тебе кажется, я часто огорчала его?

Я не знал, что ответить. Тогда она продолжала:

— Сейчас страшны только те раны, которые может получить он. Или получал прежде. От меня, например... Только те раны опасны. А мы с тобой неплохо устроились.

— Хорошо, что он может быть... абсолютно спокоен, — машинально повторил я то, что слышал от нее во дворе училища медсестер, где мы с отцом расставались.

— Спокоен? Разве там, где он... бывает спокойствие? Ты вообще представляешь, что там происходит?

— Представляю.

-- Это невозможно себе представить! — Мама резко остановилась, будто демонстративно поднялась с дивана или со стула, как это бывало раньше. — Каждый день заходи на почту. Каждый день! Я должна знать, есть письмо или нет.

— Я буду заходить. Обязательно!

Она пошла дальше.

— Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое — непрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдыха... ни на минуту!

— Ни на минуту?!

— Чтоб некогда было сходить с ума... — Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым. — Он всегда был беззащитней меня. Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся. Это известно. Я обязана быть... рядом с ним. Пусть даже здесь!

— И я тоже.

— Нет... Ты ребенок! Мы идем с тобой в школу. Прямо сейчас! Никто не может лишить тебя этого. Детство не повторяется.

— И старость не повторяется.

— Хватит с нее одного раза! А перед Алешей я все-таки виновата.

— В чем?

— Сильнее, чем я люблю его... особенно вот сейчас, любить, мне кажется, невозможно. Он не узнал этого.

— А меня? — тихо и бестактно любопытствовал я.

— Это другое. Материнство... выше любви.

Я успокоился.

— Мне всегда хотелось доказать ему... Дать почувствовать, — тихо и виновато продолжала она. — Но я не спешила. Из воспитательных целей. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда? Нет уж, Дима... С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен?

— Согласен.

— Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то... Я просто не вынесу.

5

Через двадцать дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживилась и сказала:

— Сегодня вам есть...

Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов. Было холодно, почти как на улице. Руки у девушки, конечно, замерзли, но не покраснели, как мои, а были прозрачными, обескровленными.

Она протянула конверт без марки.

Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт. Вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны чернилами, от руки. Я прочитал раза три или четыре спокойно. И только с пятого раза понял, что мой отец пропал без вести.

На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал... Нос его сморщился, словно от внезапного

света, глаза стали еще больше, круглее. У него было две младших сестры, и он умел утешать.

— Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни... «Пропал» в смысле «погиб» тут не подходит. Здесь другое значение: он исчез, о нем ничего не знают. И все...

Как старший брат, он умел втолковывать, объяснять.

— А если погиб... так и пишут: «погиб»? — спросил я.

— Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут — извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать...

Я знал, что даже родителей он никогда не обманывал.

Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо, до конца осознал, что отца моего уже нет. Совсем нет... навсегда...

Я не заплакал. Но понял, что это значит: «Не находить себе места». Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло это письмо.

— Сегодня, — ответила она. — Ты же вчера заходил.

Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку.

— Ты куда? — услышал я сзади его голос.

— К маме.

— Зачем?

— Показать...

— Да ты что?!

Мы оба остановились. «Я просто не вынесу», — тогда, возле почты, сказала мне мама. Как можно было это забыть?

— Что же делать? — спросил я Олега.

— А где твой портфель?

Портфеля действительно не было.

— Оставил на почте. Возле окошка...

Мы побежали обратно. Портфель уже был за стеклом, на столе у болезненной девушки.

— Ты что-нибудь такое... получил? — спросила она.

В ответ я ничего не смог выговорить.

— Отец пропал без вести, — объяснил ей Олег. — Не погиб... а просто нету вестей. Это же разные вещи.

— Вероятно, — сказала она. — Я не могу здесь больше работать...

И закрыла глаза болезненно белыми пальцами с припухшими сгибами на суставах.

Я вспомнил пальцы отца. Он часто, сидя за столом, перебирал лечебные травы, которые сам же выращивал. Травы были высохшие, напоминавшие сено, а пальцы у отца загорелые, крепкие, но осторожные. Мне чудилось, он боится, что с трав осыплется что-то нужное и они потеряют свою целебность.

Отец был нежным, застенчивым человеком. «Ленинградская интеллигентность!» — пояснял Николай Евдокимович, хотя сам был закоренелым и отчаянным москвичом.

Отец любил лес, но еще больше — поля и луга. «Высокая, густая трава — это здоровье, — говорил он. — Это символ простора и жизни!»

И жизни...

— Ты не прощайся с отцом, — угадав мои мысли, сказал сзади Олег. — Пойдем.

Мы вышли на улицу.

— Дай мне конверт, — попросил он.

Я протянул.

Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением. И так же неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле.

— Пусть будет у меня. А то мать найдет.

Я вновь затопал вверх по ступеням почтового отделения и заглянул в полукруглое окошко.

— Только маме не говорите, что было письмо. Если она зайдет... — попросил я девушку, которая все еще не отрывала рук от лица.

На почте никого не было, потому что весь город в это время работал.

— Олег говорит, что отец... еще может найтись...

— Не могу я здесь больше работать, — ответила девушка, должно быть, не веря Олегу.

* * *

— На две минуты... Остановитесь, пожалуйста, — опять попросил я таксиста.

Он тормознул так, что я ткнулся в его спину.

Почта была все там же. И из того же окошка выдавали корреспонденцию до востребования. Человек пять стояли в ожидании. Но на их лицах не было нетерпеливой тревоги.

Я издали заглянул в окошко. Конверты перебирала девушка, на которую стоявшие в очереди мужчины поглядывали с интересом. Она стояла этого.

Таксист снова рванул, будто участвовал в мотогонках и ему только что был дан старт.

6

Мама приходила с работы поздно вечером. А то и ночью. А то и под утро... Приподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей «стеной» был старый, облысевший ковер. Мама входила беззвучно, но я просыпался. Задавала мне несколько главных вопросов... Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами. Вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме «за вредность». Сидя на матрасе, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком.

— Так поздно ужинать вредно, — говорила мне мама. — Но война все поставила вверх ногами.

— А ты-то поела?

— Конечно, — отвечала она.

И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное «уютное местечко» для каких-нибудь многотонных «деталей», прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону «озера с лебедями» обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал.

— Все надо принять, выгрузить, рассортировать. Уберечь от дождя и снега, — шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать.

Усталой она не выглядела. Даже волосы накручивала на свернутые бумажки и смазывала лицо вазелином.

— Обветрилось... За собою надо следить. А то вернется отец — не узнает!

Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности.

— Торопиться, но соблюдать! Если бы это правило существовало там, где отец...

Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор.

Каждый раз прямо с порога мама спрашивала:

— На почте был?

— Был.

— Ничего нет?

— Пока нет.

Когда она возвращалась домой пораньше, к нам с другого конца барака заходил Николай Евдокимович.

Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек.

Даже Подкидышу я об извещении не рассказал — это было нашей с Олегом тайной. И еще тайной той болезненной девушки, которая все хотела покинуть свое окошко.

На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь.

— Воздухосборники мы с ним комплектуем. И насосы, — шептала мне ночью мама.

— Какие насосы?

— Которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает... А зачем мне? Чтобы стариться, чтобы толстеть? Отец вернется — и не узнает! Мы, женщины, куда выносливей, чем мужчины. Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача! — Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она «как у Любви Орловой». — Мужчинам нужно гораздо больше калорий!

Наверно, она имела в виду и меня.

7

Николая Евдокимовича маме «подкинули», когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках «инженером без диплома»: у него было незаконченное высшее образование.

— Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием, — говорил Подкидыш, — и в тридцать пять лет поступил на четвертый курс.

Там он встретил маму, которая была моложе его почти на тринадцать лет. Поэтому, я думаю, она называла Подкидыша на «вы». Он в ответ называл ее так же. Отец и по этой причине поглядывал на них с подозрением.

— Почему он не закончил институт в молодости? — спросил я однажды. — Плохо учился?

— Ты можешь представить себе, что он плохо учился?! — оскорбилась за Подкидыша мама. — У него были тяжелобольные родители: он содержал семью. Тебе это трудно понять.

Своих «стариков» Подкидыш любил беззаветно. Случилось, что оба они были прикованы к постели в течение долгих лет. В их семье все друг за друга болели. Так было в буквальном смысле: когда отца разбил паралич, мать не вынесла горя, и сердечные приступы уже не покидали ее. Врачи и лекарства как бы прописались в семье Елизаровых... Из-за этого Николай Евдокимович не женился. А потом он встретил маму и остался холостяком навсегда.

— Именно любовь сделала его вечным холостяком... Это выглядит старомодной историей, — при мне сказала маме наша соседка.

Она думала, что я, в то время еще первоклассник, ничего не пойму: взрослые нередко на этот счет ошибаются.

— Не называй старомодным то, что тебе недоступно, — ответила мама. — Мы часто смешиваем современность с самими собой. А рыцарство, учти, всегда современно!

Значит, она считала Подкидыша рыцарем... Он им и был.

Его родителей похоронили на Ваганьковском кладбище.

— И мое место там, — говорил Николай Евдокимович, будто поскорей добраться до этого места было его мечтой. — Только там... Других пунктов в моем завещании не будет.

Больше всего на свете Подкидыш любил Москву. А потом — мою маму... Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Веневитинов или Вяземский.

— Ты ходишь на лыжах по Гоголевскому бульвару? Не возражаешь, чтобы мы с тобой как-нибудь погуляли без лыж? Там, ближе к Кропоткинским воротам, есть такие святыни...

— А знаете, однажды зимой я лизнул бронзу на памятнике. Хотел попробовать снег!

— И язык остался на бронзе?

— Лучше бы он взял себе язык Гоголя, чем подарил ему свой! — заметила мама.

— И еще я катаюсь на этом бульваре с гор! — сообщил я Подкидышу.

— Горы!..— грустно воскликнул он.— Когда-нибудь они покажутся тебе небольшим возвышением. Наши представления со временем так меняются!

— Почему вы говорите об этом с печалью? — спросила мама.

— «Печаль моя светла...» Она вызвана сожалением, что зрелость так точно определяет разницу между горой и холмом.

Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете.

— В моем возрасте это уже можно постичь! — утверждал Подкидыш.

Цитаты он очень естественно вплетал в свою речь, потому что они выражали и его собственные суждения.

На фронт Подкидыша не взяли главным образом из-за плохого зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я никогда не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза.

Своего «белого билета» Подкидыш стыдился.

— У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней,— признался он мне.— Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». Не возражаешь против такого диагноза? Но Катюше не говори!

Маму он называл Катюшей.

— Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам? — спрашивал он у мамы.

— Если мы вернемся с объекта раньше двенадцати ночи, пожалуйста!

— Значит, не возражаете? А то, может быть, я наскучил: столько «сердца горестных замет»,— сказал он, я помню.

— У меня «ума холодные наблюдения», поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас «сердца горестные заметы». Получается искомое равновесие.

Назавтра они с мамой, как правило, возвращались позже двенадцати. И на второй, и на третий день тоже... А через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любил эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце...

Однажды утром, в начале седьмого, когда мама уже собиралась на работу, Подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения.

— Не возражаете? — И сразу вбежал. — Их разгромили под Москвой! Вы это предвидели, Катюша. И говорили об этом... Свершилось!

— А как вы узнали?

— По радио.

— Вдруг теперь... и письмо придет?

— Разумеется... Можно не сомневаться! И ты вставай, — тормозил меня интеллигентный Подкидыш.

А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.

Усталые, серые лица вроде бы оживились, и в бараке стало уютней. Мама всегда была гостеприимной хозяйкой. Если кто-нибудь приходил к нам в Москве неожиданно, без приглашения, она, произнеся в коридоре приветственные слова, не хваталась на кухне за голову, а говорила откровенно:

— Чем уж богаты...

Если у нас оказывался Подкидыш, духовное богатство семьи, естественно, увеличивалось. Он подробно сообщал о том, что было раньше на месте какой-нибудь станции метро или дома, в котором жили наши незваные гости, — и те были очень довольны. На стол мама выставляла все, что висело за форточкой, на крючке. И буфет она полностью очищала с таким видом, будто он оставался до краев переполненным. Она отдавала, делилась, но не отрывала от себя.

В тот вечер, в бараке, мама предложила всем «объединить продуктовые запасы», откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки, казавшиеся ненастоящими, буфторскими; покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры.

Кто-то принес полбутылки спирта и разбавил его водой до такой степени, что остался лишь запах.

— «Друзья мои, прекрасен наш союз»! — воскликнул Подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я

пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое.

Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала:

— За Москву! И чтобы наши мужья вернулись... — Посмотрела на женщин и поспешно добавила: — Братья и сыновья тоже!

Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимовича. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков.

8

На следующий день, когда я возвращался из школы, Подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. Морозный, сухой воздух потрескивал, точно кто-то баловался деревянным игрушечным пистолетом. Вокруг лежал снег, серый от золы, которую ТЭЦ, работавшая, как и люди, захлеб, через силу вываливала на город.

И снова толстые стекла очков, даже заиндевелившие, показались мне увеличительными: Николай Евдокимович хотел проникнуть в глубь моей тайны.

— Он... убит?

— Нет... Я думаю, нет.

— Что было в письме?

— Откуда вы...

— Катюша ничего не узнает, — впервые в жизни перебил он меня. — Но сейчас не скрывай! Что с отцом?

— Пропал без вести.

— «И от судеб защиты нет...» — прошептал Николай Евдокимович.

— Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение, — начал я успокаивать его и себя.

Я озираясь, прикрывал рот заштопанной, шершавой ватной ваткой.

— Ты прав, — согласился Подкидыш. — Наверно, ты прав... «Пропал» ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». А тот, кто потерялся, может найтись. — Он взглянул на меня с надеждой.

— Как мы находим силы? — Подкидыш снял и протер очки. — Где мы находим?

— Организм приспособляется.

— Весь... Кроме сердца,— ответил он. Съежился и побежал на работу.

«Но ведь мама может послать запрос,— подумал я вдруг.— И ей сообщат».

Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитала неведение. Могла, однако, не выдержать... В каком словаре искал бы я тогда утешительные определения слова «пропал»?

Надо было предпринимать что-то срочное!

Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки.

Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша.

— Отец печатает на машинке — и сестры спят.

— Обе?

— Они все делают коллективно!

— А отец, значит, печатает?

В голову мне пришла неожиданная идея.

— Сотрудников всех призвали,— стал объяснять Олег.— Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет... Но у нее муж и сын на войне. Карточки получать надо! А печатает плохо. Я и то лучше... Приходится помогать отцу: ему одной рукой трудно.

— А мне ты поможешь?

Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом. Огромные глаза его еще больше расширились.

— Объясни, пожалуйста.

— Объясню... Только тихо!

* * *

— Притормозите еще. Выходить я не буду. Издали посмотрю...— пообещал я таксисту.

Барака, в котором мы жили, уже не было. На его месте был парк, который назывался парком Победы.

«Первую победу,— вспомнил я,— мы отмечали зимой сорок первого именно здесь».

Таксист нажал на газ, боясь, должно быть, что я передумаю и захочу прогуляться по парку.

Сестры Олега действительно засыпали под пишущую машинку. Под эту странную колыбельную песню: организм приспособливается. Они уместались на одной тахте, обнесенной со всех сторон аккуратными досками, как забором.

— Это я придумал, — сказал Олег. — А иначе за ними не уследишь: расползутся, свалятся — не отыщешь.

Мать Олега тоже называлась «сестрой»: старшей медсестрой госпиталя, который был в трех километрах от города.

— Дома ночует два раза в неделю, — сообщил Олег.

— Взяла бы отпуск. Раз... дочери маленькие.

— Мы уговаривали. Но у нее двух братьев убили.

— Так... быстро? — спросил я.

— Одного в августе, на Украине. А другого недавно, возле Калинина... Оба моложе ее. Раньше была старшей сестрой в семье, а теперь только в госпитале. Если бы не они, — Олег кивнул на тахту, обнесенную досками, — на фронт бы ушла.

— Тебя бы оставила?

— Я уже взрослый.

«Тот, кто должен отвечать за других, раньше вырастет», — подумал я. Меня-то ведь мама считала ребенком.

— Брат ее, который погиб под Калинином, — продолжал Олег, — только что школу окончил. Непонятно, зачем учился. Готовил уроки, как мы с тобой. Мать, я боялся, с ума сойдет. Была старшей сестрой! Понимаешь?

Глядя на него, на старшего «многодетного брата», я понимал.

— Вам бы бабушек с дедушками на помощь!

— Они в Белоруссии остались. В деревне... «Здесь мы родились, здесь мы и будем...» А твой?

— У мамы давно уже нету. А папины в Ленинграде.

— И сам отец был... То есть, я хотел сказать, он тоже из Ленинграда?

— Подкидыш говорит, что «оттуда вся его потомственная интеллигентность».

Олег сел за машинку, медленно застучал — и сестры, которые уже были сонными, сразу затихли.

От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненный, попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозмож-

но. И что, как только освободят Украину, сразу придет письмо.

Олег достал со дна ящика, из-под газет, конверт, полученный мною из рук болезненной девушки. Там он его хранил... Мы заменили листок с типографским текстом на тот, который пришел «от командира воинской части». И я спрятал конверт в портфель.

Потом явился отец Олега.

Ни осень, ни зима не смыли, не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. А ушанка еле держалась на высоких, жестких волосах, словно на проволочных витках.

Движением левого плеча он ловко сбросил шинель. Плечо как бы обрывалось пустым рукавом, заправленным за пояс гимнастерки.

«Повезло Олегу,— подумал я.— Отца его больше никуда не отправят...» Я сразу же устыдился этой мысли. Но она все равно осталась со мной.

Будто прочитав ее, Кузьма Петрович сказал:

— Зачем демобилизовали? Правую руку вполне можно заставить и за левую потрудиться. Научить и заставить!

Он не гордился своим пустым рукавом, а поглядывал на него со смущением.

Правая рука, чувствуя ответственность и за левую, не знала покоя. Она то приглаживала волосы, которые пригладить было невозможно, то пробегала по клавишам машинки, точно по клавишам баяна или аккордеона, то перелистывала толстый блокнот.

— Стройматериал для завтрашнего номера! Время такое, что людям беседовать некогда. На лету ловлю факты, заказываю статьи и заметки. Привык уже!

— Организм приспособливается,— в очередной раз произнес Олег.

— Мирное время в этом полностью убедить нас не может,— ответил Кузьма Петрович.— А война за шесть месяцев доказала, что человек может вынести все. Только зачем ему все выносить?

В раннем детстве Олег называл отца «папой Кузей». Дома его и сейчас звали так.

— Радость может быть безграничной,— продолжал папа Кузя.— Я — за это! Но беда... Чтобы ее можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства. Какой

еще не бывало... Между чужими людьми! Вы заметили? — Мы с Олегом кивнули. — Между прочим, — обратился ко мне папа Кузя, — Екатерина Андреевна твоя мать?

— Моя...

— Да что ты говоришь! Не представлял себе. Слышу: «Дима Тихомиров... Дима Тихомиров...», а спросить, как зовут маму, все забывал. Стало быть, ты ее сын? Хорошо. Я — за это!

— Вы ее знаете?

— Недавно о ней писал. Неужели не показала?

— Нет.

— Значит, не так написал.

— Что вы! Просто не любит она...

— Не любит? Но ты почитай. Я принесу этот номер.

Он говорил и двигался так стремительно, точно хотел доказать самому себе, что потеря левой руки на нем вовсе не отразилась.

— А о чем вы писали? — спросил я.

— Они с инженером Елизаровым...

— С Николаем Евдокимовичем?

— Именно с ним... Так вот, они вместе придумали, как подавать оборудование на рабочие места новым способом. Предложили передвижные деревянные краны, кое-где опоясанные металлом.

— Деревянные?! — воскликнул я, будто разбирался в передвижных кранах.

— Они уже соорудили один такой кран. Представляете: дерево вместо металла. Я — за это! Решили проблему. И тихо, без шума.

— Не любят они...

— Не любят? Хорошо. Я — за это!

Правая рука его, не найдя себе дела, дважды стукнула по столу. Пишущая машинка слегка подпрыгнула. Обе сестры проснулись, испугались и сразу заплакали.

10

Пора детства не отягощена опытом и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственна. Она уверена, что добро должно порождать только добро, и причем сразу, незамедлительно.

Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб... «Вот сейчас покажу его маме,— думал я по дороге домой,— и она успокоится». Впопыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истинной, о которой мама не знала. В те далекие одиннадцать лет я любил мысленно ставить других на свое место и легко предсказывать таким образом чужие поступки, не сознавая, что на своем месте могу быть только я сам. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала.

«...Легко раненный попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно»,— напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести». Но ведь мама этих слов не читала.

Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу. И еще повторяла: «Треугольные письма люблю, а конвертов... боюсь. Особенно если тонкие и со штампом. Почему именно я должна их вручать?»

— Война — время писем,— сказал однажды Подкидыш.— Она всех раскидала в стороны. И люди пишут друг другу, как никогда! Разлучает, объединяет...— медленно повторил он свою старую мысль про войну.

На почте никого не было: весь город в это время работал. Увидев меня, девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемо-матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне.

— Треугольное письмо! — возбужденно кричала она на ходу, желая, чтоб я поскорей об этом услышал.— Треугольное... Значит, от него самого!

Я выхватил бумажный треугольник из ее тонких, ледяных пальцев. Торопливо развернул его... Щеки у девушки оставались такими же бледными, но глаза, казалось, в то мгновение их освещали.

Уважаемая Екатерина Андреевна,— прочитал я.— Пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, со-

общить. Вот я и выполняю... Муж ваш, Алексей Тихомиров, героически сражался с врагами и остался на поле боя...

— Что с тобой? — услышал я голос девушки. — Что с тобой?!

Я вернулся к Олегу.

Кузьмы Петровича уже не было. Сестры возились за дощатым забором, окружавшим тахту. Олег прочитал... Нос его сморщился, как от яркого света.

— Думай о матери, — сказал он. И больше не произнес ни одного слова.

Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика, под газеты. Но я возразил:

— Пусть будет со мной. Всегда... Если бы отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу... Даже сплю, когда в бараке не топят. Зашей... Ты умеешь.

Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу.

Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня:

— Матери все равно покажи то письмо... которое мы напечатали. И держись! — Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. — Я пойду с тобой.

— А они? — кивнул я на двух сестер.

— Позову соседку. Она остается с ними... иногда, в крайних случаях.

«Биология — женское дело», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил мне отец. Поэтому «мужским началом» в нашей семье он считал маму. И вдруг ее сила исчезла. Тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол. И стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты.

— Ничего еще не... — пробормотал Подкидыш. Но замолчал.

Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом.

Наконец она поднялась, взяла себя в руки.

— А где это письмо было целых полтора месяца? — спросила она.

— У меня, — ответил я.

— Мы вместе его получили, — заверил Олег.

Она изучила штемпель нашего города, перевернула конверт, чтобы найти штемпель отправителя. Он был московским.

— А почему же тут... — начала мама.

— Командир воинской части написал, наверно, в Москву, в наркомат обороны, — засеменил я словами. — А оттуда переслали. Ты же сообщила наш адрес.

Она осторожно уложила бумагу обратно в конверт.

— Я боялся тебе показать.

У меня зануло в животе. Я скрючился. Бумажный треугольник, зашитый в куртку, издал еле слышный хрустящий звук.

— Что-то мы сегодня в столовой съели, — объяснил всем Олег.

— Я ждала этого, — все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. — Пока мы тут живем припеваючи, он, раненный... не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу. — Она помолчала, набралась сил. — Раньше, когда он слегка простужался, я сразу укладывала его в постель. И при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась... Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться!

— Все вернется, — пообещал Николай Евдокимович.

— Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, — ответила мама. И обхватила руками голову: — В лесу... Без врачей, без лекарств...

— В партизанских отрядах есть врачи. Там делают операции, — напомнил Подкидыш.

— Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете... Когда это касается других — восхищаешься, а когда близких людей — ужасаешься и страдаешь.

— Но вы же не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют... — снова начал Подкидыш.

— Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать, — перебила она. — Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать.

Николаю Евдокимовичу и правда убеждать ее было легче, чем нам с Олегом: он не видел бумажного треугольника и не знал, не мог себе представить... что отца уже нет.

— Будем ждать. Что нам еще остается? — сказала мама. И, заметив на краю стола-сундука белую бутылку, спросила: — А почему ты утром не пил молоко?

— Сейчас выпью. Может быть, и ты...

— Я сыта.

— Не возражаете, если я принесу свое? — предложил Николай Евдокимович.

— Зачем? — удивилась мама. — В партизанский отряд я не смогу его переправить. Так что пейте: мужчинам нужно больше калорий.

Мама потерла виски, села на топчан, заменявший постель. А уши закрыла руками. Она не плакала. Просто ей не хотелось никого видеть и слышать.

Мы потихоньку вышли.

11

Правая рука папы Кузи бегала по клавишам пишущей машинки, не нажимая на них.

— Нервничает, а молчит, — пожаловался Олег. — Не пробьешься! Ну, чего он молчит? Надо разрядиться — и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами.

— Они тоже чувствуют?

— Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно.

— Плачет?

— Гораздо хуже.

Я понял.

— Мама умеет его разряжать, — продолжал Олег. — Но у нее новая партия раненых: пятые сутки домой не приходит... Что у тебя случилось? — обратился он к папе Кузе.

Тот с удивлением взглянул на него. Но ответил:

— Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю... Столько разных объектов! Расстояния километро-вые... Мало заказать горящий материал — надо его и забрать. А где же нынче курьеры?

— Поручи своей машинистке.

— Да болеет она...

Папа Кузя заметался по комнате.

— А если мы будем тебе помогать? — так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег.

— Что-что? — Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука.

— Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Что тут такого?

Кузьма Петрович, размышляя, еще немного пометался по комнате.

— Ну что же... Выхода нет.

— Договорились, — удовлетворенно сказал Олег.

— Что ты ликуешь? — набросился на него отец. — Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться. А вы воюете, голодаете... Теперь вот будете ходить по морозу. Ты думаешь, я — за это? Уродства военного времени!

Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверху и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров.

После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в «засекреченных».

Люди были так заняты и измучены, что у них не хватало сил удивляться. Увидев наше удостоверение, они спрашивали:

— Что нужно?

И, не отрываясь от чертежей или инструментов, говорили, к кому обратиться. Женщины устало сетовали, что мы в ботинках с галошами, а не в валенках. Валенки выдавали только тем, кто работал «на свежем воздухе».

Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его было трудно вдыхать. На сером от золы снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли и даже записывали окаменевшими пальцами.

«Все для фронта! Все для победы!» — читали мы на выцветшей, будто постиранной снегом и стужей материи или прямо на кирпичках. Но люди и так отдавали все...

Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи. Но вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле дотаскивались до объектов.

Заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок. А потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат.

Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник. А мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог.

— Варежками закройся,— посоветовал мне Олег.

Но я его не послушал.

— У тебя побелели щеки,— сказал он.— Надо потереть снегом.

Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега. И испуганно, изо всех сил стал тереть щеки.

— Не надо так сильно,— сказал Олег.

Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки.

Таким мама увидела меня поздно вечером.

В прежние, мирные времена она волновалась, если я задерживался во дворе или в кино. Или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым, напряженным спокойствием прищурилась — и я понял, что вид у меня ужасный.

— Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками,— сказала мама.— Прораб с женой ездили в район и достали гуся. Для дочери. У нее сильное истощение... Шкварки — для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо.

В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаруживался спасательный круг.

Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала:

— Я захватила из Москвы отцовские целебные травы. Два или три пакета... Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии.

— Но я ведь и так... съедаю все, что тебе дают на работе за «вредность».

— Ты растешь,— категорично заявила мама.— Закладывается фундамент здоровья. А мой фундамент был заложен в мирное время.

— Давай пить настой вместе,— предложил я.

— Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?

Ей всегда было противопоказано то, чего в доме у нас не хватало.

В тот же вечер к нам зашел Николай Евдокимович.

Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул:

— Кто тебя так?!

— Мороз,— ответил я.

— Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть две баночки.

— Я лечу его более дефицитным средством,— ответила мама.— Гусиный жир! А вазелин подарите мне: все же косметика.

Шкварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб.

— Я абсолютно...— начал Подкидыш.

— Только не делайте вид, что это — постоянное меню военного времени!

— А вы сами?

— Мне жирное противопоказано с детства,— ответила мама.

Смущенно покончив со шкварками, Подкидыш сказал мне:

— Тебе сейчас нельзя выходить на улицу.— Он с испугом разглядывал мои щеки.— Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад... связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье...

— Какое несчастье? — подбадривая меня, удивилась мама.— А шарф принесите. На всякий случай. Впрочем, а как же... вы сами?

— У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности.

— Кстати,— сказала мама и погрузила руку в пакет, где хранились отцовские травы,— здесь, на дне, я обнаружила немного грецких орехов. Когда-то люди ели орехи! Невозможно поверить.

Я достал молоток... Мы с Подкидышем кололи орехи, ядра которых напоминали маленькие полушария головного мозга с лабиринтами замысловатых извилин. Так, по крайней мере, их изображали в учебниках.

Я протянул первое ядро маме.

— Разве ты не знаешь, что орехи я никогда не ем? — тоном начальника стройконторы сказала она.

Потом Подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли «забавным вариантом».

Мама боялась высоких слов, и, если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила:

— Это забавно!

Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование «более легким способом»: с помощью тросов, лебедок, блоков и «других такелажных средств». Слушая их, я все торопливо и подробно записывал.

— Тише, Дима делает уроки, — предупредила Подкидыша мама.

Я не стал возражать. А после спросил:

— Можно об этом написать? В газете... Получится обмен опытом!

— Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе, — ответила мама.

— Если не возражаешь... прежде чем писать, надо проверить, — сказал Николай Евдокимович.

Папа Кузя был того же мнения, что и Подкидыш:

— Надо проверить! А вообще, перспективно... Сгружать с платформ многотонные грузы — сплошное мучение. Если они облегчат, я — за это! Но надо испытать, убедиться на практике.

— А та газета... с первой заметкой про маму и Николая Евдокимовича? — спросил я.

Он «развел» одну свою руку в сторону:

— Не нашел. Даже из подшивки выдрали. На курево, надо полагать. Трудно с бумагой.

— А с чем легко? — задумчиво произнес Олег.

12

В тот день прибыли платформы с «вращающимися печами».

— Как раз вовремя подоспели, — утром сказала мама. — Новый цех подвели под крышу. Так что квартира готова!

Она смазала мне лицо вазелином: гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав.

— Тебе нельзя заболеть дистрофией, — настойчиво и спокойно повторила она. — Пойми: закладывается фундамент!

Потом она закутала меня в шарф, который когда-то связала для своего сына мать Николая Евдокимовича. Мама по-прежнему старалась, чтобы я не испытывал тягот военного времени. Или испытывал их поменьше... Она и валенки мне раздобыла, которые я должен был натягивать рано утром, пока она не ушла на работу.

— Хочу убедиться... Не хватает еще обморозить и ноги! — сказала она в тот день.

Мама внимательно оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. И побежала встречать платформы с печами.

А я через полчаса отправился в школу.

Накануне где-то прорвало трубы, и мы занимались в шапках, в пальто. А я еще и в огромном шарфе, оставлявшем на виду только нос и глаза. Конечно, в классе я мог бы и снять этот шарф, но тогда бы меня наверняка вызвали отвечать. Учителя уже давно меня не тревожили: я находился как бы «на излечении».

С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей. Для платформ с теми самыми печами, которые умели «вращаться».

Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались: во-первых, приобщались к важному делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми.

Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу домой.

Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства.

Она была очень полной. «Последствия родов...» — объяснил мне Олег. Но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции.

Комната была завешана детскими рубашонками и трусиками. Пахло стиркой и чистотой.

Вера Дмитриевна встала, подсыпала в утюг горячих углей, деловито ощупала белье, сняла его с веревок. Затем дотронулась мокрым пальцем до металлического днища утюга, напоминавшего переднюю часть игрушечного корабля. Утюг зашипел, и она принялась гладить.

— Ты отдохнула? — спросил Олег.

— Чуть-чуть вздремнула. И хватит! — Она обратилась ко мне: — Чем сильнее устаю, тем больше полнею. Главврач говорит: нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?

Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными.

— Я бы сам погладил, — сказал Олег.

— А мне что прикажешь, сидеть без дела? — Она взглянула на ручные часы. — До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает...

Выгладив все с фантастической быстротой, она отправилась за дощатый забор, то есть к своим дочерям.

— Отвыкли, — сказала Вера Дмитриевна. — Дети любят тех, кто с ними возится. Скорей бы кончалась война!

Она не заигрывала с ними, а по-деловому проверяла, все ли в порядке. Сестры молча терпели, будто явилась ответственная комиссия.

Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя.

Он не поздоровался ни с женой, ни с нами. Стянул ушанку с высоких и жестких волос.

— Как раз сегодня мама и Николай Евдокимович испытывают новое приспособление. Очень забавное... — поспешил сообщить я. Потому что он просил меня вовремя об этом сказать.

— Знаю, — ответил папа Кузя. И резким движением левого плеча сбросил шинель. — Платформы пришли.

— Мы пути расчищали, — сказал Олег.

— Молодцы, — машинально похвалил он.

— А что случилось? — спросила Вера Дмитриевна.

— Что случилось?!

Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли. И даже сестры не посмели заплакать.

— Что, Кузьма? — повторила она.
— Трос не выдержал. Лопнул... И там, на платформе, инженера Елизарова...
— Ударило? — шепотом спросил я.
— Но со страшной силой. Со страшной!
— А что с ним сейчас? С Николаем Евдокимовичем?..
— Был жив.
— А... мама?
— Она стояла внизу.
Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою.
— Стояла внизу. Ты веришь мне?
— Да.
— А с Елизаровым плохо...
Он отошел.
— И куда же его отправили? — четко произнося слова, спросила Вера Дмитриевна.
— Советовались... Решили к вам в госпиталь. Поскольку недалеко... Я был за это.
— Ну, я пойду, — сказала Вера Дмитриевна.
И ужас, перехвативший горло, немного отпустил меня.
— Мне пора, — сказала она.

13

После операции Николая Евдокимовича положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна.

— Он смертельно ранен, — сказала она. — Но и смертельно раненные иногда выживают. Случаются чудеса.

Нас с мамой пустили к нему.

Запах госпиталя проникал и туда: запах крови, открытых ран, гноя, лекарств.

Вера Дмитриевна забегала каждые пятнадцать минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась бесшумно. Она действовала: проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы. И появлялась надежда...

Хотя говорила она только правду. Говорила так тихо, что даже стены не слышали.

— Все отбито внутри... Все отбито, — одними губами сообщила она.

...Когда Подкидыш очнулся, он попросил, чтоб ему вернули очки. Наверно, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает.

— Боль должна быть невыносимая, — опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна. И сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол.

— Теперь станет легче.

Он заснул. Внутри у него что-то скрежетало, переворачивалось. Странно... но это нас успокаивало: мы вроде бы с ним общались, прислушивались к нему.

Двигаться по комнате мы не имели права. Я сидел на белой табуретке, а мама стояла.

Один раз Николай Евдокимович, вновь очнувшись, позвал нас. И прошептал:

— Мне очень... вас жалко...

— Ты... наш дорогой! — ответила мама.

Никогда прежде она не называла его на «ты».

Услышав в этом отчаяние, Подкидыш захотел улыбнуться.

— «Учитесь... властвовать собой», — тихо посоветовал он. Или, верней сказать, попросил.

К вечеру в палату вошел милиционер в накинутах на форму халате. Я не мог определить его чина.

Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал:

— Мне разрешили... на пять минут. Дело требует! — Это напоминало сцену из кинофильма. — Так что несколько слов...

Николай Евдокимович весь как-то напрягся.

— Запишите, — с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. — Тросы проверял я. Лично я...

— Но ведь руководительница работ... — осторожно вставил милиционер.

— Нет, — перебил Николай Евдокимович. — За это отвечал я. И доложил ей, что все в полном порядке.

Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы. Но потом снова напрягся:

— Если не возражаете... я хочу подписать.

— Это еще не все, — с грубоватой неумелостью поправляя подушку, сказал следователь.

— Это все. Вы запишите, пожалуйста... Побыстрее.

Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело нервно совал в рот.

— Я подпишу это место,— настойчиво попросил Подкидыш.

— Когда мы кончим весь протокол...

— Нет, дайте сейчас. Это место... Помогите, пожалуйста.

Следователь послюнил карандаш, наклонился к Подкидышу. И тот подписал.

Мне показалось, что ему полегчало.

Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел.

Лицо Подкидыша в роговых очках затерялось на подушке.

— Устал,— сказала мама Олега.— Вы все выяснили?

— Надо бы...

— Да нельзя! — перебила она милиционера. И проверила у Подкидыша пульс.

Следователь махнул рукой и вышел в коридор. Мы с мамой, хоть он и не знал, тоже вышли.

— Я вам нужна? — спросила мама.

— Да чего тут!..

— Надо было перестраховаться,— сказала она.— Пере-
проверить!

— Он же докладывал вам, что все в порядке.

— Не помню... По-моему, не докладывал.

— Показания подписаны собственноручно. Так что... такое дело.

— Это я... его...

— Это война,— сказал милиционер. И захромал прочь от нас вдоль коридора: тоже, наверно, был ранен.

— Зачем ты так говоришь?! — набросился я на маму.

— Прости,— сказала она.— Я не должна была... ради тебя. А вообще следовало... проверить. Техника безопасности! Сколько раз я говорила: техника безопасности! А мне и тут отвечали: война. Тросы с ней не считаются.

Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер.

Его старики были в Москве, на Ваганьковском кладбище. Он мечтал лежать рядом с ними.

Как-то однажды он рассказал мне, что и Есенин лежит там же, неподалеку.

— Это был великий философ! — утверждал Николай Евдокимович. — «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье...» Если взять одни только эти строки! Или... «Ведь каждый в мире странник — пройдет, зайдет и вновь оставит дом...»

Подкидыш оставил наш дом навсегда.

«На Ваганьковском кладбище... Других пунктов в моем завещании не будет», — говорил он.

Кто в мире мог выполнить его просьбу?

— Солдат хоронят там, где они погибают, — сказал на следующий день Кузьма Петрович. — Он ведь и умер в госпитале... Среди солдат.

А старики ждали его на Ваганьковском кладбище.

* * *

Я приближался к маме... И тем более, перед встречей с ней, мне захотелось взглянуть на госпиталь, где умер Подкидыш.

Я вспомнил, что там, в комнате старшей медсестры, он раз или два с невероятным напряжением приподнимался на локтях. Вероятно, хотел сказать что-то маме. Но я не догадался выйти из комнаты. К тому же Вера Дмитриевна то и дело пыталась его спасти. А позже приковылял следователь...

Я попросил таксиста завернуть к бывшему военному госпиталю. Он первый раз обернулся и взглянул на меня с интересом и даже сочувствием.

— Вы в госпитале лежали?

— Да нет... я был тогда еще школьником.

— А-а, — разочарованно протянул он. И опять повернулся спиной.

«Этот парень, должно быть, еще не родился в ту пору, когда сюда привозили раненых», — подумал я.

Прежде госпиталь был в трех километрах от города. А теперь это здание наверняка находилось где-нибудь в центре. Да и что в нем сейчас? Школа, больница?.. Или какое-нибудь учреждение?

«Вряд ли найдем», — подумал я. И изменил маршрут.

После смерти Подкидыша мама без конца перечитывала письмо «командира воинской части», которое выстукал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам... уже пришла.

А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя. Мама делала это часто и исступленно:

— Что мне стоило перепроверить? Что стоило?

Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал:

— Я устала. Очень устала.

Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей: об отце, о Подкидыше. А стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел.

Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать... Но забот прибавлялось. Домой она приходила часов на шесть или семь. Укладывалась, когда радио кончало свои передачи, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день...

— Твоя мама уехала? — спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставлял ее дома.

— Она на стройке.

— И отец там. Но не всегда же...

— А мама всегда.

Город заполнялся похожими, как близнецы, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу. Нам с мамой дали восьмиметровую комнату в настоящем кирпичном доме.

Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами.

— Как я могла заставить Подкидыша тащить его? — продолжала терзать себя мама. — У него было столько болезней!

— Ты знала о них?

— Конечно... Ценим, когда теряем. И жалеем, когда теряем. Говорят: лучше поздно, чем никогда. Порой эта поговорка звучит бессмысленно. Поздно — значит, все... Поезд

ушел. И всегда-то мы наваливаемся на безотказность человеческую, на деликатность. Эксплуатируем их нещадно...

— Ты о чем?

— Все о том же.

Я никогда до той поры не догадывался, что душевные перегрузки подтачивают здоровье гораздо сильнее, чем физические. В физических мама искала спасение. И нагружала себя и нагружала...

Я редко встречался с нашими соседями по бараку: они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки, — я угадывал, сам того не подозревая, их лица. И помнил глаза... Оказалось, что мы с ними в этом бараке с р о д н и л и с ь.

Позже я понял: война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих «разнокалиберных» качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная, будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием.

Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась: «Большое видится на расстоянии...» Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно. Но ведь и героизм людей, живших с нами рядом, в бараке, тоже было высоким.

Тот сосед, что жил за «озером с лебедями» и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пяти-тонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными.

Прощаясь, все просили «не забывать». И мы обещали. Хотя тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда.

Заходить в гости никто не приглашал, потому что ни у кого не было времени принимать и наведываться.

...Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом.

— А что теперь не нарушено? — спросила как-то, переходя от своего обмена веществ к общим проблемам, Вера Дмитриевна.

В природе порядок не нарушался. Но отношение к временам года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя — и холода опять наступили.

Каждый день начинался со сводки Информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия. А если хорошей, то тем более надо утроить...

Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом «командира воинской части» и не могла забыть металлический трос, который бы не убил Подкидыша, если бы все вовремя «перепроверили». В конце концов, она заболела... Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе сорок третьего, на морозе.

Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо — болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно... И очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему «как у Любви Орловой».

— Обыкновенной простуды испугался? Чудак! — говорила она.

Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытной главного врача: практика очень большая.

Она заполнила нашу комнату собой... и уверенностью, успокоением.

— Воспаление легких. Организм истощен, конечно... Слабо сопротивляется. Но это не смертельное ранение. И даже не тяжелое. Уж поверь мне! Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчичники — и все как рукой снимет. Не сомневайся!

* * *

Таксист мрачно, уже выходя из терпения, притормозил возле нашего трехэтажного дома.

Дом казался мне раньше высоким, как и «горы» на

Гоголевском бульваре. «Да, представления о масштабах с годами меняются», — вновь согласился я с Николаем Евдокимовичем. Мамин адрес тоже давно изменился...

— Сколько мы еще будем останавливаться? — наконец выразил вслух свое недовольство таксист. — У меня — план!

— Почти приехали. Это последняя остановка, — ответил я.

До мамы оставалось всего два квартала.

Я сказал, куда надо ехать.

15

А в самом начале сорок четвертого года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня.

— Ты уже давно не приходишь. А вам вот... письмо.

Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах.

Я взял треугольник в руки. Уронил его... Поднял. Опустился на стул.

— Что с тобой? — как тогда, около двух лет назад, услышал я голос девушки.

Это было письмо от отца.

На столе стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение «командира воинской части». И вот теперь... Это было невероятно.

Дорогая Катенька! Дорогой Дима! — писал отец. — Родные мои, бесконечно любимые люди! Представляю, что вы из-за меня пережили, что передумали за эти два с лишним года.

Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом: к годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты!

В октябре сорок первого меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду. Это страшно, но уже позади! Мне с двумя солдатами удалось наконец бежать. Сейчас, когда прошло время, наш побег кажется детективной историей. Но на самом деле он был предельным напряжением всех сил и возможностей.

Попали мы к партизанам... А вчера (только вчера!) воссоединились с нашей армией.

Хожу с палкой. Меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь.

Дорогие, я чувствую, что победа близка. А это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас, в Гагаринском переулке. И расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша — и поэтому она не покажется нам непосильной.

О подробностях в следующем письме. Тороплюсь... Но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение: вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен! Хочу знать о каждом прожитом вами дне. Буквально о каждом!

Передайте привет Николаю Евдокимовичу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней.

Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу.

Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться...

** * **

«Екатерина Андреевна Тихомирова, — прочитал я на гранитной плите, — 1904—1943».

Я приехал к маме, у которой не был около десяти лет. Так уж случилось. Сперва я приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре.

«Николай Евдокимович Елизаров» — было написано на другой плите, почти рядом. И на могилах, что были вокруг, тоже стояли цифры — 1941, 1942, 1943...

«Организм истощен. Слабо сопротивляется...»

Прости меня, мама.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ



Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо «платить». Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю. И поверьте, проклиная тот день, когда в длинном списке, напечатанном на машинке, увидела свою фамилию и подумала, что свершилось главное счастье: я принята в университет. На самом-то деле... Разве может подобная строчка решить судьбу человека? За фактом последует другой, за праздником — болезнь, а за строчкой — следующая, быть может, совсем иная. Выслушайте меня!

* * *

Когда тот список, наконец, прикрепили к доске объявлений, а спина лаборантки из деканата перестала загораживать его и я узрела свою фамилию в числе принятых, мне уже

не слышны были чужие вздохи, не видны слезы. Я скатилась по лестнице, зная, что внизу меня ждет Павлуша. Если бы даже случилось землетрясение, я все равно увидела бы его возле университетских дверей.

— Все в порядке! — провозгласила я.

Он протянул мне букет, хотя остальные родители ничего, кроме волнения, с собою не принесли.

— Я тоже хотел подняться. Но вдруг бы мы разминутись?

Он всегда казался виноватым, когда преподносил что-нибудь мне или маме. А так как преподносил он почти каждый день, у него постоянно было лицо извиняющегося человека. «Или просто интеллигентного», — сказала мне как-то мама.

— Спасибо за цветы, — дежурно отреагировала я.

Трудно благодарить от души ежедневно. Все, наверно, может стать будничным: и заботы, и готовность пожертвовать за тебя жизнью. Несправедливые чувства... Но Павлуша другого отношения к себе и не ждал.

— Гладиолусов не было. Только гвоздики... Прости меня, — сказал он.

И мы направились к такси, которое, судя по счетчику, уже давно дожидалось моего появления.

— Вечером поедем в Дом художника! — сказал он. — Или журналиста...

— Журналиста? — переспросила я. — Будет пресс-конференция?

Он был вторым маминым мужем. Но на самом деле единственным, потому что первый, по мнению мамы, званий мужа и отца не заслуживал. Мама раз и навсегда присвоила ему титул: «эгоист». Она называла его так не со злостью, а, я бы сказала, с грустью, задумчиво, как бы сравнивая в этот момент с Павлушей.

— Он ни разу ничего не подарил тебе, — печально сообщила мама. — А ведь ты и сейчас обожаешь куклы!

Дарить мне куклы отцу было трудно: он работал инженером-нефтяником в каком-то сибирском поселке, где вряд ли был магазин игрушек.

Отец звонил в день моего рождения, то есть один раз в

году. Раздавались анархичные междугородные звонки, и мама говорила:

— Он вспомнил!

Отец поздравлял, спрашивал, как я учусь.

— Отметился,— не с осуждением, а с грустью произносила мама, жалея, мне казалось, отца, который лишил себя счастья отцовства. И благодарно поворачивала голову в Павлушину сторону.

— Я сделал что-то не то? — пугался Павлуша.

Он был высоким, полным — и от этого подвижность его проявлялась очень заметно. Он управлялся со своей тяжело-весностью, как хрупкий юный музыкант управляется с громоздкой виолончелью, созданной вроде бы для него. Пухлое лицо, наивно оттопыренные губы диссонировали с густой мужской сединой. Все эти неожиданные сочетания создавали образ. Который нам с мамой был дорог...

Отца моего мама нарекла «эгоистом», а Павлуше навсегда было дано звание «семьянин».

Расписание приемных экзаменов он знал наизусть. И перед каждым из них спрашивал меня по билетам, которые достал откуда-то из-под земли. Я любила, когда Павлуша доставал что-либо «из-под земли», потому что знала: именно там, под землей, таятся самые главные сокровища, именуемые полезными ископаемыми.

Называть его отцом я не могла, так как это слово, ассоциируясь с моим родителем, приобрело у нас в семье отрицательное звучание. Кроме того, мама однажды произнесла фразу, которую запомнили все... Указав на Павлушу, она сказала:

— Он — не отец, он — мать!

Павлуша от растерянности стянул с носа очки: получалось, что он посягнул на мамину роль в моей жизни.

Не подходило к нему и холодное слово «отчим». Я стала называть его просто Павлушей. Это панибратство входило в некоторое противоречие с тем, что я обращалась к нему на «вы». Но все на свете с чем-нибудь входит в противоречие. На «ты» я по необъяснимым причинам перейти не могла.

— Чувства благодарности не хватает,— с грустью сказала мама, жалея меня за эту «нехватку». — Отцовские гены!

...Определяющими свойствами Павлуши были безотказность и обязательность, а главным маминым качеством была незащитность. Слабость, я думаю, явилась той силой, которая и притянула к ней заботливого Павлушу.

Даже в натопленном помещении мама куталась в пуховый платок: ей всегда было холодно и немного не по себе. Она как бы давала Павлуше повод устремлять ей навстречу максимальное количество «внутреннего тепла». А то, что он представлял собой невиданный на земле источник такого тепла, мы с ней чувствовали в любую погоду.

Улыбка у мамы была до того женственной, что все вокруг начинали ощущать настоящую потребность в отважных мужских поступках. Она никого не осуждала, а лишь сожалела о людских несовершенствах, как, например, о папином эгоизме.

Голос у нее был мягкий, в телефонной трубке он растоплялся, как воск, и приходилось по многу раз переспрашивать ее об одном и том же.

Мама была искусной чертежницей. Но доска ее уже много лет находилась дома, возле окна, потому что Павлуша не любил, чтобы мама куда-нибудь отлучалась. Он не говорил об этом, он молча страдал. А мама дорожила его здоровьем и стала «надомницей».

Зная, что Павлуша молчаливо-ревнив, она в общественных местах усаживалась так, чтобы глаза ее, по возможности, не встречались с глазами посторонних мужчин. И в Доме художника она тоже села лицом к стене... В ответ на угодливые вопросы официанта мама кивала в сторону мужа: дескать, он знает. И он в самом деле безошибочно определял, что нам с ней хочется.

«Для дома, для семьи» — называли его мамины подруги. И всегда с безнадежным укором бросали взгляд на своих мужей.

Мама подчеркивала, что нельзя привыкать к добру, что надо неустанно ценить его — и тогда оно не исчезнет.

— Спасибо, Павлуша, — сказала я. — Еще раз спасибо.

— Нет, — возразил он, с наслаждением наблюдая, как мы едим, — подарок еще впереди!

Он любил, чтобы мы получали удовольствие от еды, от спектаклей, от фильмов.

— Уметь жить чужой радостью — самое редкое искусство, — уверяла мама. — Он им владеет.

Я соглашалась... Но так как мне, в отличие от Павлуши, нравилось жить своей собственной радостью, я, наполняя тарелку, спросила:

— А что еще... вы собрались мне подарить?

— Собственно говоря, это и не подарок, — ответил он. — Ты должна получить то, что тебе полагается.

— А что полагается?

— Отдых, — ответил он. — Обнаружилась горящая путевка! Ты едешь в «Березовый сок».

— Куда?

— Так называется санаторий. А вот и еще сюрприз!

К нашему столику приближалась немолодая блондинка... Прежде она, наверное, была стройной, но удержаться в этом состоянии не смогла. Было заметно также, что рестораны она посещала не часто: слишком уж независимой была ее походка, а грим на лице и прическа напомнили мне почему-то облицовку капитально отремонтированного дома. Павлуша, привычно вступив в конфликт со своей тяжеловесной фигурой, вскочил и подставил женщине стул.

— Ольга Борисовна, — объявил он. — Изумительный терапевт!

— Ну, что вы?! — зарделась она, нарушая продуманный цвет лица и с любопытством оглядывая зал Дома художника.

Я поняла, что завтра она будет рассказывать о нем в своей поликлинике.

— Ты, как я понимаю, Галя? — спросила женщина, чтобы сказать нечто, не относящееся к ресторану и еде.

— Галя, — ответила я.

— У тебя усталое лицо. Ты давно наблюдалась?

С этой минуты сладкий запах ее духов стал казаться мне запахом карболки: Ольга Борисовна погрузила наш стол в атмосферу врачебного кабинета.

— Простите, что опоздала, — сказала она.

— Я понимаю, — с глубоким сочувствием произнесла мама. — Прием больных, вызовы на дом!

Я, всегда отличавшаяся большой непосредственностью, спросила:

— А вы часто заражаетесь? Все время среди инфекций!

Мама зарылась в пуховый платок: ей стало не по себе. Но маминым здоровьем Ольга Борисовна не заинтересовалась. Она знала, что целью ее внимания должна быть я. И ответила:

— У нас вырабатывается иммунитет. А твой вид меня настораживает.

— В детстве ее не покидали ангины,— благодарно продолжая начатую Ольгой Борисовной тему, сказал Павлуша.— А от них — кратчайшее расстояние до порока сердца.

— Это мы проверим,— деловито пообещала Ольга Борисовна.

И я подумала, что сейчас она полезет столовой ложкой мне в рот. Но она зачерпнула ею салат.

Оказалось, что «Березовый сок» — санаторий кардиологический, то есть «сердечный». А я, хоть от ангин до порока сердца всего один шаг, как на зло, этого шага не сделала.

Раньше я знала, что карты бывают географические, игральные, топографические. Оказалось, есть еще и курортные.

На другой день Ольга Борисовна, освободившаяся от признаков капитального ремонта, сказала мне уже в настоящем врачебном кабинете:

— Все-таки бесследно эти ангины пройти не могли. Дай-ка я послушаю тебя... А потом заполним курортную карту!

Она стала прикасаться холодным металлическим кружком к моему телу. Я по ее команде то дышала, то прекращала дышать.

— Не старайся казаться тяжелоатлеткой,— попросил меня утром Павлуша.— На что-нибудь там... пожалуйста.

— Вы предлагаете мне симулировать? — с обычной непосредственностью спросила я.

— Он никогда не посоветует чего-либо дурного,— мягко напомнила мама.

— Положись на Ольгу Борисовну,— порекомендовал мне Павлуша.

И когда она сказала, что сердечные удары у меня «глуховаты», я подтвердила, что и сама не раз слышала это.

Павлуша сопровождал меня до самого санатория. Он вел себя так, будто диагноз, написанный рукой Ольги Борисовны в моей курортной карте, полностью соответствовал действительности: не разрешал поднимать чемодан, уложил меня на нижнюю полку, а сам забрался на верхнюю.

— Ехать около шести часов. Ты спи: тебе необходим отдых,— свешивая с верхней полки свое массивное тело, заботливо произнес Павлуша. — И ни о чем не волнуйся: я тебя заранее разбужу.

Проводница сообщила, что на станции, где находится «Березовый сок», поезд стоит всего две минуты.

— Мы успеем. Я вынесу чемодан заранее,— успокоил Павлуша.

Он все делал вовремя или немного «заранее».

Я заснула.

Мне приснился сон, который навязчиво преследовал меня всю неделю: нужно было сдавать экзамены, которые были уже благополучно сданы. Я проснулась с сердцебиением, вполне подходившим для кардиологического санатория.

Павлуша тревожно наблюдал за мной с верхней полки:

— Что тебе такое приснилось? Ты стонала.

— Война,— ответила я. И снова заснула.

В санатории Павлуша сам отдал путевку и мой паспорт в регистратуру. Убедился, что меня поселят в комнату на двух человек, и, успокоенный, пошел обратно на станцию, чтобы пораньше вернуться в Москву.

— Мама ждет! Если получилось что-то не то, извини. Горящая путевка! Другой не было...

«Березовый сок» находится в пяти километрах от города, который называли областным центром. В этом городе я никогда не была.

— Из областного центра привезли лекарства,— слышала я.— Из областного центра привезли фильм...

По березовым аллеям, окружавшим санаторий, не спеша, предписанным медициной шагом прогуливались люди весьма зрелого возраста.

Встречаясь со мной, мужчины делали походку более уверенной и пружинистой. В санатории сразу произошло некоторое оживление.

— Болезнь вас, мужчин, не исправит,— услышала я за своей спиной укоряющий женский голос.— Нет, болезнь не исправит... Только могила!

— Не огорчайтесь так откровенно! — возразил ей игривый тенор, старавшийся звучать баритоном.

Меня посадили за стол к «послеинфарктникам»: там было свободное место.

— Мы с вами и в комнате вместе! — восторженно сообщила за обедом женщина лет сорока пяти, которая до моего приезда, вероятно, считалась в санатории самой юной.

Лицо у нее было худое, темные глаза воспаленно блестели. Она пыталась выдать свою болезненную лихорадочность за признаки оптимизма.

— Нина Игнатьевна! — представилась она. И пожала мне руку так, будто мы уходили в разведку. Рука у нее была сухой и горячей.

До столика добрался согбенный, седой старичок, опиравшийся на палку, как на последнюю надежду в своей жизни.

— Такая молодая?.. — сочувственно вздохнул он, увидев меня.— А вон и холостяк движется...

— Такая молодая! — провозгласил мужчина, сочетавший объемистую фигуру с молодецкой выправкой. Он был в спортивном костюме и махровом халате, накинутом сверху, а в руках, как нечто значительное, нес бутылку минеральной воды, обернутую салфеткой.

Мужчина по-гусарски сбросил халат на спинку стула, приблизил к себе приборы, и я увидела, что на ногтях у него маникюр. Приятный запах мужской аккуратности, деликатесного одеколona поборол запах диетических щей.

— Вы присланы к нам в качестве больной или эффективно действующего лекарства? — поинтересовался тот, кого называли «холостяком».

— Онегинский тон... — пробурчал старичок, уткнувшись в тарелку. Он орудовал ложкой как-то по-крестьянски, словно она была деревянной.— А вы сразу будьте Татьяной Греминой, — порекомендовал он мне.— Потому что Ларину Геннадий Семенович задавит величием и нотациями.— Он оторвал глаза от щей и поднял на холостяка: — Так?

— Минуя Ларину, в Гремины не проскочишь,— возразил Геннадий Семенович. А мне посоветовал: — И не старайтесь!

Все называли меня на «вы». В этом, как и в моем обращении к Павлуше, была неестественность.

— Атака продолжается? Век нынешний наступает на век минувший! — Обратившись ко мне, Геннадий Семенович пояснил: — Профессор Печонкин, известный специалист в области кибернетики, понимает, что я со своими лекциями о классической музыке могу лишь поднять руки вверх.

Облокотившись о стол, он скорее развел в стороны, чем поднял, холеные руки, в меру покрытые растительностью, с отлакированными ногтями.

— За ними надо записывать! — восторженно заявила Нина Игнатьевна. — Диспут профессоров!..

— Не удивляйтесь, — сказал Геннадий Семенович, поглощавший щи как-то незаметно, будто он и не ел. — Нина Игнатьевна — директор лучшего в городе Дворца культуры. Так что диспуты — это ее стихия.

— Я работаю в клубе, — не меняя восторженного выражения лица, возразила она.

— Лучше называть дворец клубом, чем клуб дворцом. Так? — хрипловато поддержал Нину Игнатьевну профессор Печонкин.

Желая объединить наш стол в дружеский коллектив, Нина Игнатьевна сообщила, что Геннадий Семенович и Петр Петрович дали согласие выступить у нее в клубе.

— Через полмесяца будет годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков, — сказала она. — В этот день Геннадий Семенович выступит с лекцией «Музыка Великой Отечественной». И сам будет иллюстрировать... на рояле.

— Уже кончится срок вашей путевки? — спросила я у нее с сожалением, потому что быстро привыкала к людям.

— Нина Игнатьевна лечится без отрыва от производства, — ответил Геннадий Семенович. Он накапал в рюмку из пузырька желтоватое лекарство. Шевеля губами, взял на учет каждую каплю, потом смешал лекарство с минеральной водой. И выпил.

— Геннадий Семенович будет первопроходцем. Так? — сказал профессор Печонкин. — А уж я отправлюсь по проложенной им дороге.

— Петр Петрович расскажет о последних открытиях в кибернетике! — пояснила Нина Игнатьевна.

Фразы она произносила с таким подъемом и глаза ее при этом так лихорадочно блестели, словно она устремлялась на штурм неприступной крепости.

Наша комнатка располагалась на третьем этаже. Две кровати, тумбочки между ними, два стула, шкаф, умывальник... И чистота. Я ощутила себя в родной обстановке: маму называли «уютной женщиной» — она доводила чистоту до стерильности, будто жила в операционной. Гости сами, не дожидаясь намеков, снимали в коридоре туфли, ботинки, надевали тапочки, а если их не хватало, шлепали по комнате в чулках и носках.

Ствол березы как бы разделял окно комнаты ровно на две половины. Кто-то, отдышавшийся раньше, дотянулся до ствола и вырезал на нем: «Феоктистов».

— Сердца собственного не пожалел, — сказала Нина Игнатьевна. — Представляете, какое выдержал напряжение! Тщеславие человеческое надо всегда учитывать. Я по своему клубу знаю. Попробуй-ка не так представь со сцены артиста: звание его перепутай, забудь титул! Бывает, лишаются голоса: аккомпанемент звучит, а арии нет. Я за этим очень слежу! Зачем обижать людей? Раз им хочется...

— У вас был инфаркт? — спросила я.

— Думаю, что электрокардиограммы преувеличили. Но надо им подчиняться. Профессор Печонкин утверждает: ошибаются те, у кого есть сердце и разум. Из-за них-то и возникают варианты, разночтения. А машина ошибаться не может. Тут она беспощадней людей. Не умнее, говорит, а беспощадней... Крупнейший ученый!

— И Геннадий Семенович — тоже «крупнейший»?

— В своей области. Я слышала в Москве его лекцию «Музыка, музыка, музыка...». Часа два со сцены не отпускали! Он у нас в клубе выступит. В день освобождения города от фашистских захватчиков! Для ветеранов... Это будет событие. Я уже все продумала: ветераны прямо из зала называют любимые музыкальные произведения военной поры, а он рассказывает историю их создания... И иллюстрирует на рояле! — Она вновь пошла на штурм крепости: — Этот санаторий — главная, если так можно сказать, интеллектуальная база моего клуба. Тут лечатся знаменитые

деятели науки, культуры! Я их всех через свой клуб пропускаю.

— Врачи не сердятся?

— Наоборот, одобряют! Чтобы восстановить здоровье, надо ходить... Вот деятели и ходят: пять километров туда и пять километров обратно. Огромная культурная помощь городу!

— А профессор Печонкин не любит Геннадия Семеновича? — с непокидавшей меня прямолинейностью спросила я.

— Они не могут друг друга не уважать, — сказала Нина Игнатьевна. — Два таких человека! Они дискутируют... Как раз потому, что есть разум и сердце! У них, например, разные точки зрения на то, как человек должен строить свою личную жизнь.

— И как же ее строит Геннадий Семенович?

— Он холостяк.

Мне показалось, что Нина Игнатьевна испытующе взглянула на меня.

Незамужние женщины при слове «холостяк» внутренне вздрагивают. Но я не вздрогнула. И Нина Игнатьевна успокоилась. Однако все же сказала:

— Разрешите мне в течение всех этих дней быть вашей матерью. Оберегать вас... Здесь это необходимо.

— Почему?

— Санаторий! А вы слишком молоды.

— Бойтесь, что я настрою Геннадию Семеновичу Онегину необдуманное письмо?

— Профессор Печонкин считает всех холостяков эгоистами, — вместо ответа сообщила она. — «Жизнь на одного!» — говорит он. — Я рассказываю, потому что Петр Петрович и при вас это обязательно повторит. Он не совсем прав. Все любят себя... Но это ведь не мешает любить и других.

— Кому не мешает, а кому и мешает, — ответила я. Она взглянула на меня с удивлением. — А у самого Печонкина большая семья?

— Одних внуков и правнуков — девять. Он обязательно сообщит вам эту цифру.

— Девять Печонкиных, не считая сыновей и дочерей? Он всех помнит по именам?

— У него вообще память прекрасная: кибернетик! — сказала она. И добавила: — У меня еще одна просьба. Вер-

нее, вопрос. Ко мне из города часто приходит сын. Гриша... Он учится в шестом классе. Это не помешает?

— Да что вы?! Пусть приходит. А муж у вас есть?

Не услышав вопроса, она поблагодарила за Гришу:

— Отлегло от сердца... Спасибо. Теперь у меня временно будет двое детей!

Я подумала, что, если бы у людей почаще отлегло от сердца, меньше было бы на свете инфарктов.

На следующий день она объяснила почти всем мужчинам в санатории, что они мне годятся в отцы или деды.

— Я лично не могу быть отцом, потому что я холостяк, — возразил Геннадий Семенович.

Из всех обитателей санатория «Березовый сок» только Гриша был моложе меня.

В санатории к нему привыкли. И спрашивали у Нины Игнатьевны:

— Где ваш сын?

— Скоро придет.

Он действительно приходил.

Глаза у Гриши были такие же восторженные, как у его матери. Только без лихорадочного оттенка.

Во время тихого часа Гриша носился по опустевшим белоствольным аллеям. Он собирал грибы и сдавал их на кухню. После ужина Нина Игнатьевна провожала сына в город и возвращалась обратно: ей тоже полезно было ходить.

Потом Гриша перестал бегать по аллеям и искать грибы: он начал искать меня. А обнаружив, не отрывался ни на шаг. Это раздражало Геннадия Семеновича:

— У ребенка должны быть свои интересы!

Какие интересы были у самого Геннадия Семеновича, я не догадывалась, но Нина Игнатьевна объяснила мне:

— Они оба в вас влюблены.

Гриша заваливал меня земляникой и полевыми цветами. Геннадий Семенович же предлагал заморские таблетки и капли, с помощью которых намеревался «спасти» мое сердце.

Но так как спастись мне было не от чего, я однажды сказала:

— Это, наверно, для вашего возраста?

Геннадий Семенович не растерялся.

— Даже «Кармен» и «Травиата» были оценены не сразу. Я тоже не рассчитываю на молниеносный успех. Правда, Верди и Бизе не были ограничены сроками санаторной путевки.

У Гриши перед Геннадием Семеновичем имелись явные преимущества: он не должен был отлучаться на процедуры. Сопровождая меня, он не останавливался то и дело, чтобы определить пульс, и не возвращался в санаторий, чтобы проверить кровяное давление. Поскольку с давлением и пульсом у шестиклассника все было в порядке, он не отклонялся от своего «главного увлечения». А главным увлечением Геннадия Семеновича являлся все же он сам.

Так уверял профессор Печонкин... И я начинала с ним соглашаться. Но Нина Игнатьевна воспротивилась:

— Желать себе выздоровления — это не порок. Это естественно! Драматичность инфарктов именно в том, что после них надо к себе прислушиваться. Контролировать свое состояние! И хоть у Геннадия Семеновича был микроинфаркт, его обвинять нельзя.

— Вы пойдете на его лекцию?.. — спросил меня Гриша.

— Конечно! Это ведь будет праздник: день освобождения твоего города, — ответила я.

— Он его не освобождал, — ответил мальчик. Опустил голову и пошел ужинать.

Нина Игнатьевна была опечалена внезапно вспыхнувшей страстью сына:

— Я знала, что они влюбляются в учительниц...

— И в отдыхающих тоже! — успокоила я.

— Мы с вами не должны обнаруживать, что догадались, — взмолилась она. — Гриша очень раним!

Увидев как-то очередной букет полевых цветов у Гриши в руках, она сказала:

— Он любит дарить цветы. Всегда после концерта или лекции в моем клубе поднимается на сцену и преподносит...

— Тут не сцена! — ответил Гриша. И убежал.

Я, таким образом, покорила всех: от шестиклассника до профессоров, уже получивших инфаркт. Это было триумфальное шествие.

— Хоть выписывайся из санатория! — сказала Нина

Игнатьевна.— Я поручу Грише готовиться к лекции Геннадия Семеновича. К нашему празднику... Пусть собирает фотографии, разносит по домам ветеранов пригласительные билеты. Так он немного отвлечется.

Гриша стал будить ветеранов ни свет ни заря — и уже к завтраку прибегал в санаторий.

— Печорин и Грушницкий решили похожую проблему кардинальным путем,— сказал Геннадию Семеновичу за обедом профессор Печонкин.

Гриша еще не читал «Героя нашего времени» — и рассмеялся: быть может, фамилия Грушницкий показалась ему необычной.

— Я очень надеюсь, что ваших внуков и правнуков воспитывают другие члены семьи,— утратив свое вальяжное добродушие, ответил Геннадий Семенович.

Нине Игнатьевне этот диалог был неприятен. И она, взяв Гришу за руку, увела его, оставив без третьего блюда.

— Первые дни вашего санаторного бытия, наверно, кажутся вечностью? — спросил меня Геннадий Семенович.

— Как вы это почувствовали?

— В детстве каждый день и каждый год тоже кажутся бесконечными,— пояснил он.— Потому что в этом возрасте — вавилонское столпотворение впечатлений. Все незнакомо: события, люди. А потом, в мои годы, от одной встречи Нового года до следующей вот такое расстояние...— Он указал на отлакированный ноготь.— Привычность происходящего убыстряет бег времени. Только новизна и неожиданность фактов создают впечатление протяженности. Так и в санатории: первые дни — это детское восприятие, а последующие... Мой поезд уже мчался с бешеной скоростью, а я даже в окно не поглядывал: все пейзажи были известны заранее. И вдруг... вы! Кажется, я продлю путевку «по состоянию здоровья».

— А что у вас... теперь?

— Сердце! — перемешивая иронию с глубокой проникновенностью, ответил он.

Ирония неожиданно сближала его с мальчишками моего далекого четвертого класса, которые, скрывая чувства, толкали меня в спину на переменке. А проникновенность отдаляла от них...

Геннадий Семенович всегда нарочито подчеркивал возрастной разрыв, существовавший между нами. Этим он объяснял и повышенное внимание к своему пульсу, поглощение капель и пилюль в таком количестве, что я поражалась, как он не путал все свои многочисленные коробки, баночки и пузырьки.

«Сейчас, когда мне уже сто лет», — говорила одна пожилая и некогда обворожительная мамина подруга. «Когда уже сто лет»... Такое саморазоблачение, отчаянная гипербола молодили ее в глазах окружающих. Геннадий Семенович действовал тем же способом.

Если ему удавалось остаться со мной наедине, а это случалось после вечерних киносеансов, когда Гриша был уже в городе, рядом сразу же возникала Нина Игнатьевна.

— Мне кажется, она хочет сберечь вас для своего сына, — сказал мне Геннадий Семенович. — Но ведь и тут будет резкое возрастное несоответствие!

Он не смог отыскать ни одного случая в биографиях знаменитостей, когда бы женщины увлекались молокососами, но любовь юной девушки к семидесятипятилетнему Гёте неотлучно была у него на памяти. Быть может, по причине этой запоздалой страсти Иоганн Вольфганг Гёте и стал его самым любимым «философом от литературы».

— Вам должен быть ближе образец музыкальный, — заметила я. — Опера «Мазепа», к примеру...

— Одна из главных идей этого совместного творения двух гениев, — строго объяснил мне Геннадий Семенович, — состоит в том, что мы слишком часто верим Мазепам, а не Кочубеям. Большая и горькая истина! Разве я похож на предателя?

— Вам с ним интересно? — с тревогой спросила меня, укладываясь спать, Нина Игнатьевна.

— Интересно, — ответила я.

— Это самое страшное! У молодости есть качества, которых лишены «послеинфарктники», но у них, поверьте, есть достоинства, которых лишена молодость. И эти достоинства иногда берут верх. Вы не должны поддаваться! Так бы, я уверена, сказала и ваша мать. Но ее здесь нет, и поэтому я...

Она вновь устремилась на штурм.

...Через несколько дней Геннадий Семенович предложил мне утреннюю прогулку, воспользовавшись тем, что Гриша еще не примчался из города. Было время процедур, но Геннадий Семенович решил от одной из них отказаться.

Ситуация, по убеждению Нины Игнатьевны, приобретала катастрофический характер.

— Галя, вас просили зайти в кабинет к врачу, — сказала она.

— Врач принимает до тринадцати тридцати, — ответил Геннадий Семенович, увлекая меня в березовую аллею.

— Есть только одна опера в истории музыки, — сказал он, — которая, на мой взгляд, преодолела условность оперного жанра. Это — «Пиковая дама». Вы согласны? Мы воспринимаем трагедию Лизы и Германа, как абсолютно реалистическую.

— Галочка! — раздался вдруг за спиной срывающийся от бега голос Нины Игнатьевны. — К вам приехали! Совсем молодой человек. Высокий... хотя немного седой.

— Павлуша?! — изумленно воскликнула я: от Москвы до нашего санатория было около шести часов езды на поезде. — Что-то случилось!

— Кто это... Павлуша? — застыв на мгновение, спросил Геннадий Семенович.

— Муж моей мамы.

«Он покориł всех!» — как бы жалея Павлушу, часто сообщала о нем мама.

Вообще-то покорителей и победителей не жалеют. Их, как известно, даже не судят. Но Павлуша очаровывал окружающих заботами о «женской половине» нашей семьи, забывая о себе самом, — и мама ему сочувствовала.

Забывать о себе — это было Павлушиным талантом, призванием.

Он и в «Березовом соке» всех поголовно очаровал... Сначала он сделал это заочно: своими ежедневными междугородными звонками. По времени они, как правило, совпадали с наиболее захватывающими местами кинокартин, которые нам показывали почти каждый вечер. В дверях, разжижая темноту зала, появлялась дежурная и объявляла:

— Андросову к телефону!

Я, наконец, объяснила Павлуше, что он звонит слишком поздно. И он стал вызывать меня из столовой во время ужина, так что все равно санаторий был в курсе дела.

— Скучают? — напряженно поинтересовался Геннадий Семенович.

— Это муж моей мамы, — ответила я.

А потом объяснила это и остальным. Многозначительные ухмылки сменились восторгом:

— Родной отец так не будет!..

«Родной не будет», — подумала я о своем отце.

Дня за три до приезда в «Березовый сок» Павлуша, словно между прочим, — преподносит сюрпризы тоже было его призванием! — выяснил по телефону, с кем я сижу за столом. Поинтересовался характерами, склонностями этих людей и кто из них в чем нуждается.

Нине Игнатьевне он вручил тяжелый альбом репродукций знаменитых картин, поскольку она, как выразился Павлуша, занималась просветительской деятельностью. Профессору Печонкину достался футляр для очков: он плохо видел и надеялся главным образом на свою палку. Футляр был до такой степени оригинален, что его жалко было прятать в карман.

— Если бы можно было надеть его на нос! — посетовал профессор Печонкин.

Но более всего Павлуша угодил музыковеду-холостяку: он достал лекарство, которое врач Геннадию Семеновичу прописал, но добавил при этом:

— Если только из-под земли...

И даже возраст моего юного поклонника Гриши был учтен: он получил новый том детективов. От книги исходил клеевой и коленкорový запах, который всегда ассоциировался у меня с великой литературой.

— Жаль, что вы... на один только день! — в приступе благодарности пошла на штурм Нина Игнатьевна. — Я бы попросила вас выступить у нас в клубе!

— Кому я, начальник планового отдела, нужен?

— Как раз обсуждение вопросов планирования — у нас в плане! Вы так внимательны...

Конечно, о тех, кто ел за соседними столиками, Павлуша не беспокоился. Он интересовался теми, кто сидел рядом со мной. Ему важно было, чтобы ко мне хорошо относились.

«Для дома, для семьи...» Таков был девиз Павлушиной жизни.

Будто желая опровергнуть это мое убеждение, Павлуша сказал, что «из-под земли» достает путевку в «Березовый сок» своему заместителю.

— Сейчас я вижу, что ему необходимо сюда приехать. Только сюда!

— Как здоровье Алексея Митрофановича? Стыдно... Даже забыла спросить.

— Это я заморочил! Ты бы непременно спросила. Митрофаныч у нас молодцом. Ему нужно... только сюда! Я достану путевку,— как бы вымаливая прощение, пообещал мне Павлуша. Потому что все добрые дела он совершал с виноватым видом. Он и подарки в «Березовом соке» вручал столь застенчиво, что мне его было жаль.

— Муж вашей мамы... всегда так щедр? — поинтересовался после Павлушиного отъезда Геннадий Семенович.

— Вам это трудно понять,— отрываясь от рубленого бифштекса, пробурчал профессор Печонкин.— Вы-то, холостяки, больше ста граммов сыра никогда не берете. Жизнь для себя! Даже ягоды здесь, в санатории, покупаете «на одного». Так?

Я подумала: «Как, интересно, это любимое профессором и резкое, словно укол тока, словечко «так» действует на студентов во время экзаменов?»

Мама называла Павлушиного заместителя по фамилии. «Тебе Корягин звонил»,— говорила она сочувственно: опять министерство, опять дела!

Сам Павлуша называл его Митрофанычем, я — по имени и отчеству, а жена Корягина, Анна Васильевна, звала мужа «кормильцем».

У них было четверо детей.

— Четверо! — ужасалась мама, жалостливо поглядывая на Павлушу, будто речь шла о его многодетности.

— В нашей деревне меньше четырех ни у кого не было! — оправдывался Алексей Митрофанович.

Он и в городе продолжал жить по сельским законам.

— Чай пьет только вприкуску. Хрустит на всю комнату,— кутаясь в платок, тихим голосом изумлялась мама.— Живет в цивилизованной отдельной квартире — и каждую

неделю отправляется в баню. Простую, районную... С венником!

Мама пряталась в свой платок и при виде самодельной мебели корягинского производства, и при виде сельских пейзажей Алексея Митрофановича в простых, им же обструганных рамах.

Как бы от имени всей нашей семьи Павлуша каждый раз внимательно изучал пейзажи своего заместителя, то приближаясь, то отходя от них.

— Все сам! Своими руками...— восторгался Павлуша, усаживаясь с нами на длинную лавку, заменявшую стулья и всех сразу объединявшую.— Я бы в жизни не смог!

— Приходится,— объясняла Анна Васильевна.— Я-то не зарабатываю. А их — четверо! Все на нем, на кормильце, держится.

В ее словах звучали и благодарность кормильцу, и преклонение перед ним.

Мне казалось, что Анна Васильевна с утра до вечера не переставая стирала: выше локтя закатанные рукава, передник, распаренное лицо, стыдившееся своего цвета. Взгляд был такой, будто ее всегда заставляли врасплох, а не являлись по приглашению.

Анне Васильевне было на этом свете явно не до себя. А обрати она на себя внимание, может, и другие бы обратили. Каждый раз меня уверяли в этом ее круглые, как на старинных картинах, по-женски испуганные глаза.

Мы садились за стол, разговаривали, ели... А она все время прибегала и убегала, на ходу утираясь краем передника.

— Я к ним не в гости хожу, а на экскурсию: картины деревенского быта! — сказала, я помню, мама.

— Верность детству и местам, где родился,— это признак душевности, чистоты,— заступился Павлуша.— Я что-то не то сказал?

Мама взглянула на него сочувственно: всех ты стремишься понять!

— У нас — полная средняя школа на дому. Что ты поделаешь! — говорил Алексей Митрофанович.

Старший его сын перешел в десятый класс, а младший поступил в первый. Между ними умудрились протиснуться две дочери.

Все дети были до того похожи на отца, что Анна Васильевна любила шутить:

— Рождены без участия матери.

Алексей Митрофанович сразу принимался отыскивать у своего потомства материнские черты. Но их не было.

— Похожи на меня... Что ты поделаешь! — соглашался он. — Но улучшенный вариант! Как это говорится, в «экспортном исполнении».

И правда, дети, похожие на отца, были, в отличие от него, красивы. В этом, наверное, и проявился вклад Анны Васильевны. Как мастер слова, прополов фразу, из неуклюжей делает ее волшебной, так и она, что-то смягчив, разгладив, добила «улучшенного варианта».

Приземистый Алексей Митрофанович ходил косолапо, а дети были стройны и изящны.

— Акселерация! — объяснял Корягин.

Ему нравилось это экстравагантное слово и то, что дети были изящными.

Я видела, как Алексей Митрофанович разогревал им суп, кипятил чай. Только младший сын Митя просил:

— Можно, я зажгу газ?

— Хочешь помочь отцу? — непедagogично восхищался Корягин. — Ну, зажги.

Помню, Алексей Митрофанович долго склеивал раму, вставил в нее, как в окно, очередной свой пейзаж, а потом взялся за молоток.

— Можно мне забить гвоздь? — попросил Митя.

— Хочешь помочь? Ну, забей.

Ударить молотком по гвоздю Митя успел лишь раз: из-за двери смежной комнаты послышались два голоса, слившиеся в один раздраженный крик: «Да прекратите вы!»

— Не буду, не буду... Что ты поделаешь! — извинился себе под нос Алексей Митрофанович.

И тут я впервые увидела, как Анна Васильевна сердится. Ее круглые глаза стали длинными, утратили свой испуг. Дверь смежной комнаты не раскрылась, а распахнулась, стукнувшись ручкой о стену.

— Вам мешают?! Хорошо капризничать... за спиной у отца!

— Успокойся, Аннушка. Они же уроки делают! — Он повернулся ко мне: — Ты-то знаешь, сколько теперь задают!..

Младшие члены семьи притихли. Только Митя приподнялся на носках и прижался к отцу.

Я часто навещала Корягиных: Алексей Митрофанович помогал мне решать математические задачи, овладевать физикой. Павлуша справиться с этим не мог — и отправлял меня к своему заместителю.

— Наука теперь далеко ушла, — каждый раз предупреждал Алексей Митрофанович. — Что ты поделаешь!

Корягин, однако, ее догонял... По крайней мере, ту науку, которая была в моих школьных учебниках.

Он был самородком. И, подобно самородкам, извлекаемым из земных или горных пород, был небольшим, неотшлифованным, но бесценным.

Я сказала об этом Павлуше. Он согласился:

— Митрофаныч — это клад. Все на свете умеет.

Я подумала, что неплохо иметь заместителя, который умеет больше тебя самого... Стебель и корни незаметней цветка, но что он без них?

— Плановому отделу без Митрофаныча — просто конец, — угадал мои мысли Павлуша.

Мама стала прятаться в свой платок.

— Я что-то не то сказал?

Вскоре всем нам, к несчастью, пришлось убедиться, что Павлуша сказал «то», что он сказал правду.

Корягин надорвался... Ему стало плохо, и прямо с работы его увезли в больницу. Плохо стало и плановому отделу.

— Выяснилось, что формула «незаменимых нет»... цинична и неверна, — сказал нам Павлуша. — Единственная надежда, что он скоро вернется: все-таки здоровый организм. Деревенский!

Я тут же собралась навестить Корягина.

— К нему не пускают: карантин, — сказал мне Павлуша.

Я не стала пробиваться сквозь больничные правила и запреты. Тем более, что начались выпускные экзамены, а потом экзамены в университет. Павлуша носил передачи в больницу, а вернувшись, сообщал, что все идет «на поправку».

— Просто устал он. Переоценил человеческие возможности.

Несколько раз я забежала к Корягиным домой. Анны Васильевны не было: она переселилась в больницу. Никакой

карантин удержать ее не сумел... Дети, как заолудившиеся, ходили по комнатам. Сами разогревали чай, накрывали на стол. Предлагали мне ужинать.

— Папа с мамой скоро вернутся, — пообещал Митя. Присел на корточки и заплакал.

Накануне моего окончательного триумфа в университете Алексей Митрофанович и правда вернулся домой.

Я позвонила ему.

— Ложная тревога, — сказал он. — Ложная, а всех напугала. Что ты поделаешь!

Я переводила глаза с Геннадия Семеновича, величественно глотавшего привезенные Павлушей пилюли, на профессора Печонкина, который целеустремленно уничтожал свой гарнир. Мне было радостно, что никто не мог обвинить Павлушу в холостяцком эгоизме. Никто не мог сказать, что он ведет «жизнь на одного» или даже «жизнь на двоих», то есть ради меня и мамы. О том, что он не живет ради себя, я знала давно. Мне казалось, что он вполне утолял голод, наблюдая, как мы с мамой закусываем, и что организм его насыщался кислородом, если мы с ней совершали прогулки. Я ликовала оттого, что в заботах и привязанностях Павлуша не расплылся.

«Приписывала ему свой эгоизм! — думала я, проводив Павлушу из санатория. — Как часто мы смотрим на людей сквозь искажающие стекла собственных недостатков. Зрение наше от этого так ухудшается, что даже близких мы не в состоянии разглядеть... Я знала лишь о тех кладях Павлушиной доброты, которые лежали на самой поверхности. А ее, оказывается, хватало и на других людей, не прописанных в нашей квартире. Вот убедился, что в «Березовом соке» лечат и кормят, как надо, — и решил достать путевку Корягину. А может, он и подарки привез, вовсе не желая, чтобы за них расплачивались внимательным отношением ко мне? Просто привез — и все. Для людей... Зачем так сложно объяснять естественные человеческие поступки?»

«Мне дороги Алексей Митрофанович и Анна Васильевна, — продолжала размышлять я. — И сквозь добро, предназначенное для них, я, наконец, сумела увидеть те Павлушины качества, которых раньше не знала и не ценила».

Все эти мысли и психологические открытия так мне понравились, что я согласилась пройтись после ужина с Геннадием Семеновичем: а если и к нему я была не вполне справедлива?

Шестиклассник Гриша заметался между ревностью и желанием посмотреть новый фильм. Любовь к кинематографу победила, и мы отправились по аллее вдвоем.

— Мне смешно... — Геннадий Семенович по-мефистофельски захохотал. — Мне смешно, когда иные искусствоведы пытаются пересказывать содержание, так сказать, сюжет инструментальных произведений: «Симфония повествует о... Пьеса для скрипки и фортепиано рассказывает...» Ну, и так далее! Ставят знак равенства между музыкальной пьесой и пьесой, идущей на сцене. А ведь музыка должна лишь создавать настроение, влиять на эмоции. В этом смысле она гораздо ближе к стихам, чем к прозе. Попробуй-ка пересказать содержание самого гениального лирического стихотворения «Я вас любил, любовь еще, быть может...». Вот что получится: «Я вас любил и, вероятно, еще не остыл окончательно. Я робел, мучался ревностью... И пусть другой вас любит, как я!» Чепуха, да? Все дело в волшебной расстановке слов! «Я вас любил...»

Чем дальше мы углублялись в аллею, тем настойчивей Геннадий Семенович касался лирических тем.

— Благодаря мужу вашей мамы, — он потряс в воздухе пузырьком с пилюлями, — я окончательно воскрес «для слез, для жизни, для любви».

Цитаты освобождали его от необходимости подыскивать слова, напрягаться: он был «на отдыхе» и свято выполнял врачебные предписания.

— Превыше всего — простота! — уверял меня Геннадий Семенович. — Не та, которая хуже воровства, а та, к которой приходишь через сложность. Я не знаю ни одного великого творца, произведения которого были бы непонятны. Непонятностью иные заменяют талант. А у Пушкина, вспомните: «Пора пришла, она влюбилась...» Два подлежащих и два сказуемых. Всего-навсего! Но нам становится ясно, что от любви невозможно уйти, как от смены времен года или от другого чередования: за утром — день, а за ним — вечер. И от этого никуда не денешься! «Пора пришла, она влюбилась...»

Было похоже, что Геннадий Семенович готовился к лекции. Но я с ним соглашалась. Мне было интересно.

«Когда становится интересно, мы делаем первый шаг навстречу поражению,— объясняла мне подруга в Москве.— Этому надо сопротивляться!» Нечто похожее утверждала и Нина Игнатьевна.

— Удивительное создание! — сказал о ней Геннадий Семенович. — Из таких, как она, в чрезвычайных обстоятельствах рождаются Жанны д'Арк и Раймонды Дьен. Именно она, можете мне поверить, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

— Она войдет,— подтвердила я.

— Вообще же насчет женщин у меня есть своя теория,— приглушив голос, поделился со мной Геннадий Семенович. — Их душевные качества проявляются ярче, обостреннее, чем у нас. Поэтому благородная женщина благородней благородного мужчины, но скверная хуже скверного мужчины. Страшнее!

Он поежился, словно от какого-то воспоминания.

— Вы обжигались? — спросила я. И почувствовала, что за нарочитой иронией спрятались угрожающие признаки ревности.

Я знала, что своими лекциями с музыкальным сопровождением Геннадий Семенович завораживал целые залы. Мне ли было устоять перед ним!

— Я хочу завтра сделать упор на Седьмой симфонии Шостаковича,— снова поделился со мной Геннадий Семенович. — Она создана, как известно, в блокаде: голод, холод, замерзшие трубы. Когда мы чем-нибудь недовольны, надо вспоминать о том, что вынесли люди,— и станет легче. Седьмая симфония будет эпиграфом к моей лекции. Хотите, я расскажу о подробностях ее рождения?

Мне становилось все интереснее. Он замер, взяв запястье своей левой руки пальцами правой.

— Держать руку на пульсе истории — это необходимо! — оправдываясь, сострил он. И взглянул на меня, как мог бы взглянуть Иоганн Вольфганг Гёте: дескать, да, возрастная разница существует, но в данном случае это не помеха, а лишь еще одно мужское достоинство. — Пульс истории... Кстати, я ни разу не держал руку на вашем пульсе. Раз решите-ка...

Я разрешила.

В этот момент раздался голос Нины Игнатьевны:

— Да где же вы?! Ах, вот! Простите, я хотела напомнить вам, Геннадий Семенович, что как раз завтра годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков. И ваше выступление в клубе! Будут все ветераны... А сейчас, Галочка, идет потрясающая картина!

Картина действительно была потрясающей: Геннадий Семенович держал руку на моем пульсе, а Нина Игнатьевна с изумлением на это взирала. То, что ее взгляд был тоже на моем запястье, я видела и в полутьме.

Что касается Геннадия Семеновича, то он испепелял «удивительное создание» ненавидящими глазами. Они тоже были сильней темноты.

— После фильма мы с Гришей уйдем в город: я должна подготовиться к завтрашнему дню,— продолжала объяснять свое появление Нина Игнатьевна.— Гриша преподнесет вам, Геннадий Семенович, цветы!

Так как среди «послеинфарктников» было много деятелей науки и культуры, без которых не мог обойтись ее клуб, Нина Игнатьевна намного сокращала срок своего отдыха и лечения. Я поняла, что не только искусство, но и любой благородный фанатизм требует жертв.

— Ничто не возвращает ветеранов в минувшие годы с такой эмоциональной силой, как музыка, песни! — собираясь в город, говорила Нина Игнатьевна.— Я могу, Геннадий Семенович, прислать за вами машину. Заказать такси... Если надо, пожалуйста! — с лихорадочным блеском в глазах продолжала она.

— Зачем же такси? Мы с Галей после ужина совершим променады. Медленным шагом... Вы не оставите меня в одиночестве?

— Не оставлю,— сказала я.

Я была уверена, что в моем присутствии он будет выбиваться из сил, чтобы покорить зрителей и меня.

— Давай еще кого-нибудь пригласим! — попросил Нину Игнатьевну Гриша, не желавший, чтобы медленным шагом мы с Геннадием Семеновичем шли вдвоем.

— Это — мой вечер. И приглашаю на него я, — не глядя в Гришину сторону, возразил Геннадий Семенович.

— Зачем ты вмешиваешься? — одернула сына Нина Игнатьевна. — Ветераны послушают вас... споют. Сколько на это уйдет времени?

— Творчество трудно запрограммировать, — со снисходительным, вальяжным сарказмом ответил Геннадий Семенович. — Как уж я там разболтаюсь!

— А вот Достоевский иногда точно определял, к какому числу он закончит произведение, — проявляя не столько эрудицию, сколько свою обычную бесцеремонность, встряла я в разговор.

— Его пример — другим наука! — прикрылся цитатой Геннадий Семенович. — Следуя Федору Михайловичу, будем рассчитывать на полтора часа.

— Значит, ужин вам подадут на час раньше. Я договорилась!.. — пошла на приступ Нина Игнатьевна. — Четверти часа вам хватит?

— Хватит, — ответила я, хотя знала, что Геннадий Семенович за столом не торопится, так как врачи сказали ему, что это наносит жестокий удар по пищеварению.

— Отсюда до нашего клуба — час пятнадцать. Как раз медленным шагом! Начнем прямо в девятнадцать часов тридцать минут. А уже в двадцать один ветераны пойдут домой! Чтобы успеть к праздничному столу... День освобождения города от фашистских захватчиков они отмечают торжественно. Поэтому я рассчитываю по минутам! Обойдемся на этот раз без концерта: ваше выступление — это и литературный вечер, и научная лекция, и концерт.

— Не предупреждайте заранее, что в комнату войдет красивая женщина, если не хотите добиться эффекта разочарования, — посоветовал Геннадий Семенович. — Это известно, но истина не бывает банальной.

Назавтра позвонил Павлуша. Он просил поздравить Нину Игнатьевну и Гришу с годовщиной освобождения их города. Сказал, что с утра, как шахтер или строитель метро, начинает подземную работу, чтобы оттуда, «из-под земли», добыть путевку Корягину.

— Простите меня, — попросила я в телефонную трубку.

— За что?

— Знаю, за что! — ответила я. И вновь со стыдом призналась себе, что столько лет взирала на Павлушу сквозь искажавшие его облик очки.

Ровно в шесть часов вечера я спустилась в столовую. Ужин дисциплинированно ждал нас на столе. Прошло десять минут... Геннадий Семенович не появлялся.

Тогда я помчалась к лифту. Бегущий человек воспринимался в кардиологическом «Березовом соке», как мог бы восприниматься в толпе марафонских бегунов человек, присевший на землю.

Подбегая к комнате на четвертом этаже, я заметила, что стрелки ромбовидных электрических часов в коридоре показывали уже пятнадцать минут седьмого.

От волнения я открыла дверь, не постучавшись.

В комнате пахло смесью деликатесного одеколona, мужской аккуратности и многочисленных исцеляющих средств, на которые Геннадий Семенович всегда взирал не менее влюбленно, чем на меня.

Хозяин комнаты царственно полулежал на диване, на котором не вполне уместился. Все было исполнено страдальческого величия. Лицо было мрачным, почти обреченным.

Дежурная медсестра только что сделала Геннадию Семеновичу укол. Поскольку мое появление в такой момент не смутило его, я поняла, что он до крайности перепуган.

Выходя из комнаты с металлической посудинной, в которой лежал шприц, сестра шепнула:

— Легкие перебои... Ничего угрожающего. Может подняться!

Я облегченно вздохнула:

— Ну, идемте!

И указала на свои ручные часы.

— Куда? — прошептал Геннадий Семенович.

— Как... куда? В клуб. К ветеранам!

Он взглянул на меня со снисходительной жалостью, как на душевнобольную:

— О чем вы говорите? Какой клуб?

У меня по спине, как во время экзаменов, что-то начало передвигаться.

— Геннадий Семенович, возьмите себя в руки!

Он взял в правую руку запястье левой руки и стал шевелить губами.

— Опять перебои... Продолжаются.

О клубе и ветеранах он не помнил вообще. Я решила пробиться к его памяти:

— Сегодня — годовщина освобождения города! Это очень большой праздник для всех жителей. Уже мало осталось тех, кто сражался... Они старые и больные люди! С трудом придут, а вас нет... Это невозможно, Геннадий Семенович!

Он не слышал меня, ибо прислушивался к себе. Для него важны были только те процессы, которые происходили внутри его организма.

— Станный вы человек! — выкрикнула я, не находя слов, которые бы могли подействовать на него.

— Я странен? А не странен кто ж? — Геннадий Семенович прикрылся цитатой, как это часто бывало в невыгодные для него моменты.

— Вы хотели, чтобы я пошла с вами? — пришлось мне воспользоваться последним шансом. — Вы хотели? И я иду!

Геннадию Семеновичу было не до романтики. Я знала, что у людей, сильных духом, в минуты опасности обостряются лучшие качества. У слабых же, наоборот, обнажается то, что они скрывают от окружающих, чего сами стыдятся... Все у них происходит, как у неопытных шоферов, попавших в аварийные обстоятельства: не в ту сторону крутят руль, не в то мгновение нажимают на тормоза.

— Мы пойдем с вами... в двоём! — вновь понадеялась я на его сердце.

Но оно было способно лишь совершать перебои и сжиматься от страха.

У меня была привычка, которую мама, сочувственно вздыхая, называла дурной: в минуты волнения я принималась рвать бумажки, которые попадались мне под руку, и вскоре оказывалась в окружении мусора. Я и тут начала превращать в мелкие клочки бумажную салфетку и меню, лежавшие на столе.

Он не обратил на это внимания.

— Вы — не Гёте! — впадая в свою обычную прямолинейность, воскликнула я. — Нет, вы — не Гёте! И не Дмитрий Дмитриевич Шостакович!..

Он приподнялся с диванной подушки, как со смертного одра, и похлопал себя по груди:

— Этот насос, давая перебои, на миг останавливается... Я чувствую, как он замирает. Сердечная недостаточность! Если бы вы хоть раз ощутили это, вы бы не осуждали. В вашем возрасте и я тоже...

Я поняла, что, если он в таком смысле решил апеллировать к возрасту, значит, все мои доводы и чары бессильны.

И все же я продолжала:

— «Травиата», «Кармен»... «В горящую избу войдет...» А вы сейчас поджигаете избу. Поджигаете! «Простота превыше всего!» Человечность превыше всего... Запомните! Вы — не Шостакович. Вы — лектор! «Холод, голод, замерзшие трубы...» Перечислять чужие несчастья — не значит сострадать им, а произносить возвышенные слова — не значит им следовать. Спасибо за урок!

Я вообразила себе: к зданию клуба с разных сторон, преодолевая годы, опираясь на палку, подобно профессору Печонкину, сходятся ветераны, чтобы вспомнить минувшие дни и послушать музыку Великой Отечественной. Еще они представлялись мне похожими на Алексея Митрофановича Корягина: спасители и кормильцы.

Нина Игнатьевна, встречая их, будет лихорадочно выбегать на улицу: не показался ли Геннадий Семенович? И сердце ее, тоже не очень здоровое, начнет давать перебои... По спине у меня, как на экзаменах, вновь стало что-то передвигаться.

Вспомнив о профессоре Печонкине, я выбежала в коридор. Ромбовидные электрические часы показывали уже половину седьмого. Для ужина времени не осталось.

Минуя лифт, я сбежала по лестнице на второй этаж.

Петр Петрович вполне мог в это время прогуливаться, готовясь к вечерней трапезе. Но он, к счастью, оказался у себя.

Я сбивчиво объяснила ему ситуацию.

— Ягоды «на одного» покупает... Не угощает дам. А ведь любит их. Любит... Так? — Он колюче взглянул на меня. — Заботиться о судьбах музыки, литературы, даже всего человечества в целом гораздо легче, чем о судьбе одной конкретной Нины Игнатьевны. Так?

— Я это сказала ему.

— Чем могу быть полезен?

— Вы ведь хотели прочитать лекцию о кибернетике. Прочтите сегодня, а? И спасете конкретную Нину Игнатьевну. Она даже фильма не заказала. Понадеялась.

— В клубах любят тематические мероприятия,— пробурчал он.— Чтобы соответствовало текущему дню.

— Кибернетика вполне соответствует. В более широком смысле! — продолжала я уговаривать.

— Нынче праздник освобождения. Так?

— Не будь этого праздника, и наука бы не развивалась. Ничего бы не было... Ничего! Всё тематически сходится!

— Вашего Геннадия Семеновича выручать бы не стал. Холостяки живут сами по себе. Пусть сами и выкручиваются. Так?

— Так! — подтвердила я.

— А Нину Игнатьевну жаль. Дайте мне посох!

Мы спустились вниз. И заспешили по дороге, ведущей в город.

Петр Петрович с такой силой опирался на палку, словно хотел вогнать ее в землю. Иногда он присаживался то на пенек, то на скамейку. А если их не было, останавливался и, всем телом навалившись на свой посох, шумно, со свистом дышал. Одновременно он покашливал, чтоб заглушить этот свист: не хотел пугать меня.

Вскоре я поняла, однако, что после такого физического испытания он читать лекцию не сумеет. А скорей всего, вообще не дотянет до клуба...

— Петр Петрович, вернитесь в «Березовый сок». Я прошу вас.

— Переоценил силы? Так?

— Мы взяли слишком уж быстрый темп. Вот и...

В действительности мы приближались к цели очень медленно. И я, холодея, представляла себе Нину Игнатьевну, застывшую с лихорадочным взглядом на пороге клуба.

— Ведь предлагали же прислать такси. Так?

— Предлагали,— ответила я.

— А он не захотел отменить прогулку после ужина? Так?

— Вероятно.

— И из-за этого Нина Игнатьевна должна получить второй инфаркт? Эгоизм — не только любовь к самому себе.

Это еще и равнодушие ко всем остальным. Вот в чем его злобность! Так?

Я согласилась.

Он говорил это, навалившись на палку и будучи не в силах оторвать от нее худое, согбенное тело.

Вечер в клубе уже должен был начаться.

— Возвращайтесь в «Березовый сок», — опять попросила я. — Мы все равно не успеем. Идите осторожно: уже некуда торопиться. А я все-таки доберусь до города. Надо ей чем-то помочь.

Ничего не ответив, он повернулся и угрюмо побрел назад, стремясь вогнать свою палку в землю.

Несколько раз мне доводилось провожать Нину Игнатьевну в город. И я знала дорогу... Но тут я сообразила, что можно сократить время, если не огибать худенькие деревья-подростки, редкий, сквозной лесок, а пересечь его напрямую. И побежала, царапаясь о кусты... Я забыла старую истину: торопясь, надо бежать только знакомой дорогой. Лес оборвался — и я очутилась у пруда с ненадежными, заболоченными берегами. Пришлось возвращаться и огибать молодой лесок.

Я уже не смотрела на часы. Протяженность минут многолика: она меняется в зависимости от нашего душевного состояния. Если мы с нетерпением чего-то ждем, минуты невыносимо тягучи, а если боимся опоздать и торопимся, они тают мгновенно, как снежинки, падающие на теплую руку.

Я понимала, что спешить уже незачем. Но спешила... Путь был длинней, чем всегда, а минуты короче.

Наконец, как сторожевые, показались первые разбросанные вдоль дороги домики. Этажи росли по мере моего углубления в город. Я пересекла несколько улиц в неположенных местах... Согласно «закону подлости» меня должны были остановить и оштрафовать, но все обошлось. Перейдя с бега на утомленную иноходь, я миновала квартал, напоминавший выставку новых домов. «Экспонаты» завершались трехэтажным клубом, вокруг которого, хоть сумерки только начинали сгущаться, беззаботно, не мигая, сверкали лампы. «Может быть, все хорошо?» — подумала я.

«Добро пожаловать, ветераны!» — взывал плакат над входной дверью. Вестибюль был пуст. Гардероб тоже...

Я взбежала на второй этаж. В зрительном зале издевательски ярко сияла люстра, озаряя ряды пустых стульев.

Я взглянула на сцену... Возле длинного стола, украшенного стеклянными вазами с ромашками и васильками, опустив голову, стоял Гриша. В руках у него тоже были цветы.

— А где... ветераны? — спросила я.

Он очнулся и, ничуть не удивившись моему появлению, ответил:

— Они разошлись.

— Их было много?

— Полный зал.

— А мама где?

— Поехала в санаторий. Телефон там все время был занят.

— Отдыхающие разговаривают.

— Геннадий Семенович умер? — спросил Гриша.

— Что ты!? Откуда ты взял?

— Почему же он не пришел?

Я вошла в свою комнату. Было темно и тихо. Я зажгла свет... Нина Игнатьевна лежала на кровати с открытыми глазами. Мне показалось, она не дышит. Я дотронулась до нее. Она вздрогнула. Вблизи было видно, что глаза ее блестят так же воспаленно, как всегда.

— Что с вами? — спросила я.

— Ничего. Я устала.

— А где Геннадий Семенович?

— Он в кино.

Я бросилась в кинозал.

Меня вновь провожали недоуменные взоры: в «Березовом соке» бегали только с кислородными подушками и шприцами.

Я возникла в дверях кинозала, чуть разжижив густую тьму, как возникала дежурная, вызывавшая к телефону. И ее же голосом произнесла:

— Геннадий Семенович Горностаев!

Заскрипел стул... Поднялась величественная фигура и двинулась к выходу.

— Быстрее. Вы мешаете! — раздался обязательный в таких случаях голос.

Движение фигуры осталось величественным.

До березовой рощи мы шли молча, словно все еще боялись ворчливого голоса.

— Мне стало легче, — объявил Геннадий Семенович. И попытался доверительно взять меня под руку.

Но я вырвалась.

— Вы не знаете, что такое сердечные перебои... — продолжал он. — Не знаете, что такое сердечная недостаточность. Это болезнь века! — Кажется, ему льстило, что и тут он был «с веком наравне». — Сердечная недостаточность... Эхо инфаркта... Как эхо войны!

— Хотя бы не вспоминайте о войне!

— Почему?

— Вы сказали, что возродились «для слез, для жизни, для любви». Нет, только для слез! Для чужих... На которые вам наплевать. Для слез Нины Игнатьевны, Гриши... — Я рывками вытаскивала из карманов бумажки, вероятно нужные мне, и ожесточенно рвала их. — Вы гораздо старше меня... Но я все равно скажу, что вы поступили отвратительно, подло. Испортили людям праздник. И каким людям! Они освобождали этот город, эту землю, по которой вы сейчас ходите. На которой спасаете свое здоровье! «Жизнь на одного»? А они сражались и погибали ради всех нас. Слышите? Ради всех!..

— Вы женщина... и я по этой причине лишен возможности... — проговорил он.

На следующее утро, когда «Березовый сок» по традиции собрался в столовой, место Геннадия Семеновича пустовало.

— Неужели он опять заболел? — с виноватым беспокойством сказала Нина Игнатьевна. — Надо подняться к нему.

— Он стесняется, — пробурчал профессор Печонкин. — Люди ведь только делают вид, что не осознают своих подлых поступков. Они все осознают: хорошее — вслух, а скверное — молча, про себя. Так?

Я представила, что после вчерашнего разговора в аллее Геннадия Семеновичу стало совсем плохо.

— Помните, в повести «Спутники» одного солдата... кажется, это был солдат... принимают за симулянта? — сказала я. — Все с презрением отворачиваются от него. А он в это

время умирает на верхней полке санитарного поезда. Помните?

— Горностаев — не солдат, — глядя в тарелку, процедил Петр Петрович.

— Вы не правы. Надо подняться! — повторила Нина Игнатьевна.

— Надо, — согласилась я.

Мы долго ждали лифта, потому что опаздывавшие к завтраку «послеинфарктники» перехватывали его на этажах. Кабина, не успев нас впустить, уплывала вверх: отдыхающие покидали ее слишком медленно, неуклюже, так что двери прихватывали их пиджаки и пижамы. Лишь некоторые, увидев меня, молодцевато приободрились.

— Пойдемте пешком, — предложила Нина Игнатьевна: она очень беспокоилась.

И у меня по спине, как обычно в такие минуты, что-то задвигалось.

— Я могу сбегать. А вам нельзя.

Наконец мы добрались в кабине до четвертого этажа.

В комнате Горностаева шла уборка. Дежурная нянечка меняла белье. Вещей Геннадия Семеновича не было.

— Где он? — спросила Нина Игнатьевна.

— Уехал в Москву, — сбрасывая на пол пододеяльник, ответила нянечка.

— А когда вернется?

— Совсем он уехал. До срока не дожил.

Вошла медсестра и, по-хозяйски оглядев комнату, сообщила, что сейчас явится «вновь прибывший».

— А почему Горностаев не дожил до срока? — таким голосом спросила Нина Игнатьевна, что фраза приобрела совсем иной, трагический смысл.

— По семейным обстоятельствам.

— У него нет семьи, — зачем-то сказала я.

— Это нас не касается! — с мимоходной строгостью заметила сестра. — Полотенца заменили?

— Заменила, — ответила нянечка.

По поводу отъезда Горностаева ликовал только Гриша.

Он явился из города в полдень и, узнав, что Геннадия Семеновича больше не будет, воскликнул:

— Пойдем на пруд!

Из всех обитателей «Березового сока» купаться было разрешено только мне.

Я, по совету Павлуши, время от времени жаловалась на покалывания в груди и спине.

— Острый невроз! — установил лечащий врач.

Профессор Печонкин, услышав про этот диагноз, сказал:

— Самое лучшее — ограничиваться болезнями, которые есть у всех. Так?

— Безусловно, — согласилась Нина Игнатьевна.

— Невроз, расстройство вегетативной системы... Нормальный человек обязан иметь все это!

Отъезд Горностаева профессор одобрил:

— Не долечился? Значит, есть совесть. Это хорошо. Так? — Он стал вгонять свою палку в землю, что свидетельствовало о волнении или глубоком раздумье. — Освежите невроз в пруду, — посоветовал он мне. — А мы с Ниной Игнатьевной постоим на берегу и подышим. Значит, не долечился?..

К обеду мы с Гришей вбежали в столовую столь бодрые, как если бы отдыхали в пионерлагере под названием «Березовый сок».

Нина Игнатьевна всегда опасалась, что присутствие сына вызовет чье-либо недовольство.

— Потихе, — сказала она.

— Воспоминания о молодости полезней укола, — возразил ей профессор Печонкин. — Пусть смотрят на них и вылечиваются!

Я предложила, чтобы Нина Игнатьевна в ближайшие четыре дня, которые не дожил Геннадий Семенович, кормила Гришу его обедами, а не делила свои на две части.

— Я его обед не хочу! — обиделся Гриша.

— Горностаев должен был оставить в бухгалтерии соответствующее завещание, — объяснил мне профессор. — А так... нельзя.

Нина Игнатьевна решила прервать этот разговор:

— Мне запрещено много есть.

Гриша, словно врач, немедленно подтвердил.

В дверях возникла гардеробщица и, заставив всех оторваться от тарелок и повернуть головы в ее сторону, провозгласила:

— Андросову к телефону!

Конечно, звонил Павлуша. Прежде всего, он поинтересовался, как прошел вечер ветеранов в день освобождения города. Я ответила, что вечер пришлось отменить. Но по какой причине — не стала объяснять, потому что видела за стеклом нервно ожидающее лицо «послеинфарктницы», которая проводила в душной телефонной кабине половину срока своей путевки.

Павлуша расстроился, посетовал на беспощадную силу обстоятельств. Потом «отошел» и радостным тоном извещил меня, что почти уже достал «из-под земли» путевку для Алексея Митрофановича.

— Буквально из-под земли!

— Спасибо,— сказала я ему. И почувствовала, что могу расплакаться.— Спасибо вам...

— Ну, что ты! Это мой долг.

«Нет, не только «для дома, для семьи» старается Павлуша,— еще раз подумала я.— Как же мы бываем несправедливы!»

В заключение он рассказал, что из далекого сибирского города звонил мой отец, которого Павлуша всегда называл моим «папой».

— Интересовался, как ты сдала экзамены в университет. Очень был рад... Просил передать поздравление и привет. Они там еще в одном месте обнаружили нефть.

«Тоже подземных дел мастер!» — безразлично подумала я об отце.

Павлуша обещал позвонить на другой день в час ужина.

Но Павлуша не позвонил.

— Человеку свойственно искать причины для тревог,— сказал профессор Печонкин.— Пойдемте все вместе в кино. Он позвонит завтра. Ведь так?

— Он позвонит! — пообещала и Нина Игнатьевна.

Я нервно кромсала в столовой салфетки и вскоре восседала посреди мусора. Гриша нагнулся, собрал все бумажки и положил их на стол.

— Пойдем в кино... — попросил он меня.

Но я не пошла.

Профессор Печонкин дал мне талончик на пятиминутный разговор с Москвой.

Когда я направилась в сторону гардероба, он постучал палкой по полу. Я обернулась.

— Возьмите еще талон, — сказал он. — Можете разговаривать о чем-нибудь. Так? И назовите телефонистке мою фамилию. Печонкин!

— Я знаю.

— В кабине можно запоминать. Я, например, когда слышу междугородных телефонисток, теряюсь.

Я знала, что Павлуша не мог забыть о своем обещании, не мог нарушить его без причины. Без какой-то о с о б о й причины!

Женщина, проводившая свой отдых в телефонной кабине, и на этот раз была там.

Она долго выясняла, покупают ли кому-то творог на рынке. Потом объясняла, как надо делать компресс.

Я смотрела ей в спину со злым нетерпением... Когда нас волнует что-то свое, мы глухи к чужим заботам и бедам. Я, по крайней мере, была глуха.

«Почему так долго не дают Москву?» — придерживая рукой вдруг обнаружившееся сердце, думала я.

К телефону подошла мама. Голос ее всегда был еле слышным, будто она говорила сквозь свой платок.

— Почему Павлуша не позвонил? — сразу спросила я.

— Он у Корягиных.

— А что у них?

— Алексей Митрофанович умер.

Утром я примчалась в контору «Березового сока» и сообщила, что уезжаю в Москву.

— Что за эпидемия? Вчера один уехал, сегодня еще... — без укора, а с огорчением сказала пожилая сердобольная женщина, явно не желавшая меня отпускать. — Для лечения определенный срок установлен.

— Мне очень нужно!

— А с врачом ты это согласовала? — по-матерински заинтересованно спросила она.

— Мне все равно очень нужно!

Она взглянула на меня повнимательней и сразу достала из ящика толстую, разлохмаченную пачку путевок.

— Как твоя фамилия?

Я ответила.

Она отыскала путевку. Стала разглядывать ее. Я тоже взглянула... И увидела, что на первой, второй и третьей строках были зачеркнуты какие-то слова.

— Можно мне посмотреть?

Она протянула путевку.

«Корягин Алексей Митрофанович» — было написано лиловыми чернилами и зачеркнуто черными. А сверху было втиснуто: «Андросова Галина Евгеньевна».

— Заявление напиши. С объяснением причины, — все тем же огорченным голосом попросила женщина.

В отчаянные минуты мысли путаются. Но одновременно всплывают факты, словно желающие усугубить, обострить отчаяние. И жестоко все проясняющие... Я вспомнила, как в поезде, заботливо провожая меня, Павлуша объяснял:

— Это редкостное везение, что подвернулась путевка. Горящая!.. Один человек должен был ехать. Но я объяснил, что ему после больницы можно и дома побыть, а уж потом — в санаторий. Куда торопиться? Он согласился. Тебе ведь первого сентября в университет надо. Я объяснил... И он, можно сказать, сам предложил.

— Сам? — переспросила я.

— Сам! Я что-то не то сказал?

«Не то сказал? Не то сделал. Не то!.. Не то! — билось в висках. — Зачеркнули фамилию? Жизнь человеческую перечеркнули! Для дома, для семьи? Горящая путевка?..»

Она горела в руках... От моего стыда, от моего ужаса.

— Напиши заявление, — повторила сердобольная женщина.

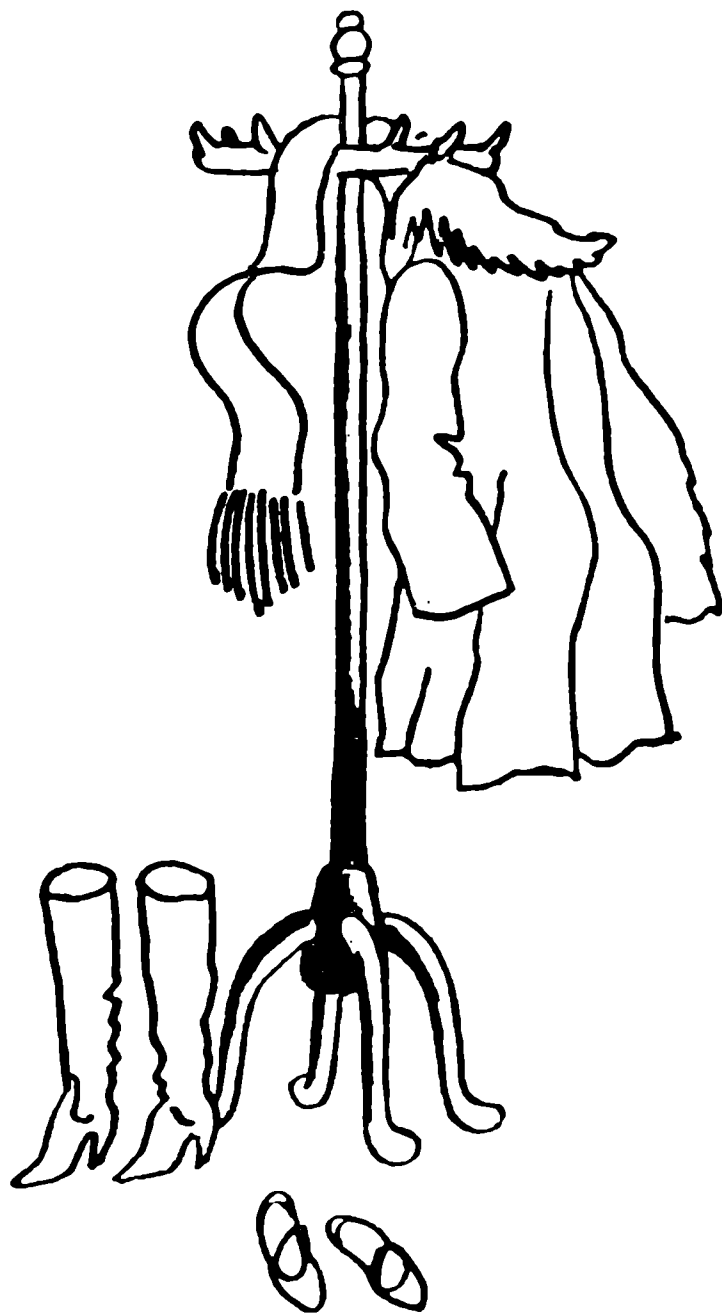
Она не знала, что из-за меня умер человек. Человек умер...

* * *

Дорогая Анна Васильевна!

Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо платить. Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю... Выслушайте меня!

РАССКАЗЫ



ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ



Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов.

— Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? — спросила мама у папы.

— Запирать книги — это кощунство! — ответил папа. — Они еще никому не приносили вреда.

— А может, вообще отменить это понятие — «ребенок»? — спросила мама. — Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в тридцать пять!

За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке. В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил: «Ну, скажи ты!..» И спор немедленно обрывался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться. Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора.

— В каком классе ты сама-то прочитала «Анну Каренину»? — спросила она у мамы.

— Не помню.

— А я помню. В шестом...

— Вот видите! — воскликнул Дима. — А я еще не читал!..

— Дети не обязаны повторять ошибки родителей, — отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не вовремя, может навсегда отбить вкус к себе самой.

— Это бывает, — согласилась бабушка. — Но ты не волнуйся... Я присмотрю.

Прежде всего Дима принялся за «Большую энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, что, если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком.

Осилив за десять дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно.

Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные годы и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, насккивали друг на друга.

И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки... И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в lined чечку: «Письмо 1970 году. Домашнее сочинение ученика 9-го класса «Б» Владимира Платова».

— Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима.

— Что тебе? — раздался из другой комнаты бабушкин голос.

— Ничего... Я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет.

— К счастью, не сплю. А то бы ты меня разбудил.

— Прости, пожалуйста...

Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы...

Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году!

Прошло тридцать лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь... Представь себе, что я стою рядом — вот здорово! — и разговариваю с тобой.

За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменках я думал: «Кого же она все-таки любит — Лешку Филиппова или меня?» Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю...

Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова! Хотя он хороший парень. (Теперь-то уж хороший пожилой человек!) Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что поделаешь, Валечка! Раз ты любишь меня... Тут уж ничего не поделаешь!

Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью! Мы работаем с тобой в одной больнице — ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом...

Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: «Все в порядке!» Она не поверила, зарыдала... А мы стали уверять ее: «Опасности нет. Опасности больше нет!..» Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле! Ты согласна?

Потом мы вернулись домой... Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком... Но это не имеет значения! А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца!.. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня...

На этом домашнее сочинение обрывалось.

— Бабушка! — крикнул Дима.

— Что тебе?

Дима молчал. Бабушка появилась на пороге... Говорили, что когда-то она была очень веселой. И даже любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала... Она стала такой в тот февральский день сорок пятого года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи.

Она всегда была уверена: единственное, чего пережить невозможно, — это гибель детей. Она и не пережила... Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая... Она стала бабушкой.

— Это... его сочинение, — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок.

Бабушка прочитала. Потом еще раз... Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда.

— А где эта Валя? — спросил он тихо.

— Валя Филиппова? Как и раньше... живет над нами, на шестом этаже.

— Филиппова?! — переспросил Дима.

— Ну да...

— Она вышла замуж за Лешку?

— Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, — ответила бабушка.

— Это тот... который всем уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудака!

— Интеллигентный человек, — возразила бабушка. — И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол. Помнишь?

— Еще бы! — Дима погладил себя по тому самому месту. — Она стала хирургом?

— Нет, педиатром.

— Кем?

— Детским врачом.

— И он тоже врач?

— Он преподает литературу. Кажется, в институте.

— Ну да... он же занимался в литературном кружке! А сын их такой высоченный и неуклюжий?

— Очень талантливый мальчик, — сказала бабушка.

— Откуда ты знаешь?

— Учится в аспирантуре. Его зовут Володей.

Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались с работы... Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами.

«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем... — вспомнил Дима. — Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна!»

Она подъехала на белой машине с красным крестом.

— Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались — и сразу обратно, — сообщила она шоферу.

— Поешьте, — посоветовал он.

— Тогда, может, и вы?

— Я уж поел.

Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал:

— Простите, пожалуйста...

— Что с тобой? — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.

— Вам письмо!

— Мне?!

Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло.

Глаза были добрые, удивленные.

— Письмо?.. Мне? — Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая — Дима это давно заметил! — очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу.

«Все еще красивая...» — почему-то с огорчением подумал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочинение.

— Прочтите.

— Что это? — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.

— Это письмо. Прочтите...

— Хорошо! Только поднимемся к нам, — предложила она. — А то здесь темно.

— Нет, лучше тут... — ответил ей Дима.

Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.

«Лишь бы никто не вошел и не помешал ей! — думал Дима. — Лишь бы никто...» Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошеного жильца.

Она сняла очки... Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.

— Скажите, пожалуйста... — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима. — Вы любили его?

Она обернулась.

— Вы любили его? — почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.

— Я любила его, — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: — И я ему навсегда благодарна.

— За что? — спросил Дима.

— За все, — тихо сказала она. — За все...

1972 г.

НЕПРАВДА



Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста: значит, для взрослых!

И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать.

Зазвучал скучный голос, к которому диктор прикрепил длинное звание — «доктор педагогических наук». Генка всегда старался представить себе людей, голоса которых он слышал по радио. Сейчас ему почему-то представилась сухопарая женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала, как рецепт.

Первый рецепт был такой: «Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится!» Генка даже испугался: он рос явно не

по правилам. Если он изредка и получал двойки, так, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за обедом и за ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая сперва важно подбоченивалась двумя тонкими ручками, потом — одной ручкой и, наконец, при Генкиной помощи стала вовсе безрукой.

Не подходил и другой рецепт: «Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их!..»

А вот Генка своего отца одновременно и уважал и побаивался.

Это отец первый объявил войну Генкиному «книгоглотательству». Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку... И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов безнадежно перемешались в Генкиной голове. Он путал Купера с Куприным, а Станюковича с Григоровичем. Затем отец начал решительную атаку: он стал высмеивать сына, и даже в присутствии товарищей. Генка растерялся... И тогда в образовавшийся «прорыв» отец устремил главные силы.

Он тяжело опустил на стол руку, такую огромную, что вилки и ложки казались в ней игрушечными.

— Теперь мы будем читать вместе!

— Как — вместе? — удивился Генка. — Вслух, что ли?

— Не вслух... Но и не слишком «про себя». Брать книги ты будешь по моему совету, а потом будем устраивать дискуссии.

На первом этаже расположилась детская библиотека. Библиотекарша, добрая полная женщина, по прозвищу «Смотри не разорви», доставала Генке книги, которые советовал ему прочитать отец. А за ужином начинался экзамен.

— Ты опять пропускаешь описания природы? — спрашивал отец.

— Я ничего не пропускаю, — оправдывался Генка.

— Не лги! Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Ну, с чем, например, здесь сравнивается запах первого снега?

Генка ерзал на стуле. Ему хотелось сбегать на улицу и понюхать снег: может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец.

— Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза! Это очень образно и очень точно. А ты это место пропустил!

Иногда в спор вмешивалась и мама. Отец сразу же соглашался с ней. А мама начинала сердиться:

— Женщине только в трамвае положено уступать место. А в спорах эта вежливость ни к чему!..

Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Ей казалось, что отлучись она из квартиры на день — и случится что-то ужасное, произойдет какая-нибудь непоправимая катастрофа.

По утрам маме некуда было спешить, но вставала она раньше всех. Готовила завтрак отцу и Генке. Прощаясь с мамой, отец целовал ее в голову и говорил каждый раз одни и те же слова:

— До свидания, малыш мой родной!

А мама вдруг менялась в лице, краснела. И Генке начинало казаться, что она вставала так рано только для того, чтобы услышать эту фразу.

Слово «малыш» не подходило к маме: она вовсе не была маленького роста. Может быть, она казалась такой с высоты ста восьмидесяти восьми сантиметров могучего отцовского роста? Эти сантиметры были предметом особой Генкиной гордости. Но ведь сына, мальчишку, отец именовал строго и просто — Геннадием...

Они вместе выходили на улицу, вместе шли до угла.

Это было очень приятно — идти рядом с отцом: мама осталась дома, а они, мужчины, деловые люди, спешат, торопятся...

На углу они прощались — коротко, по-мужски.

— Ну, иди, — говорил отец.

А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу узнавал его шаги. Отец поднимался так не спеша, словно, сделав шаг, раздумывал, идти ли ему дальше или, может быть, вернуться вниз. Один неторопливый звонок... Генке очень хотелось открыть отцу дверь. Но он чувствовал, что еще больше этого хочет мама. И он уступал ей дорогу. Отец вновь целовал мать в голову и говорил почти те же самые слова, что и утром: «Здравствуй, малыш мой родной!» Но звучали эти слова еще ласковее, потому что отец, видно, успевал сильно соскучиться за день.

Генка терпеть не мог нежностей. Но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то спокойно и хорошо...

Отец заглядывал маме в лицо.

— Какие у тебя глаза воспаленные! И зачем нам нужна эта трещотка? (Так он называл пишущую машинку.)

— Это не она — это все враги мои виноваты, — полушутливо оправдывалась мать. Своими «врагами» она называла неразборчивые почерки. Мама говорила, что даже по ночам ей снятся разные нечеткие буквы и особенно часто буква «т», которая гонится за ней по пятам на трех тонких ножках.

У Генки отец будто мимоходом спрашивал:

— Ну, как дела с науками?

Он никогда не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли говорит сын. И может быть, именно поэтому Генка не мог солгать. Если он приносил домой плохую отметку, то так прямо и говорил. Отец не поднимал шума. Генка не слышал упреков, но зато не слышал он в такие вечера и рассказов о спорте, о работе инженеров, которых отец, как и всех других людей, делил на «толковых» и «нетолковых».

Мама поступала совсем иначе. Она раскрывала дневник и глядела на злосчастную тройку так, словно читала трагическое известие. Потом она шла к соседке, у которой дочь тоже училась в шестом классе. Начинался разговор, в котором имена Генки и соседкиной дочери ни разу не назывались: о нем говорили «наш», о ней — «моя».

— Наш-то сегодня опять троечку принес. А отец говорит, что это хуже двойки: ни богу свечка ни черту кочерга, — жаловалась мать. Она любила повторять слова отца: они казались ей самыми верными и убедительными.

— Ну, уж не будьте слишком строги: ваш-то зато сколько книг проглотил! А мою не усадишь за книжку.

— Нет-нет, вы нашего не защищайте. Он мог бы прекрасно учиться: у него ведь такие способности!

— Так ведь и моя тоже способная!..

«И почему это все родители воображают, что их дети такие способные?» — недоумевал Генка. Мама еще долго вздыхала... Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. И он в тот же вечер садился за учебники.

И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог справиться. Этой слабостью была его неистребимая страсть к кино. Кажется, если бы существовали кинокартины, на ко-

торые почему-либо не допускались люди моложе ш е с т и д е - с я т и лет, Генка бы и на них попадал. Сидеть дальше второго ряда он считал непростительной роскошью. Таким образом, на девяносто копеек Генка умудрялся сходить в кино три раза!... Немного денег ему давала мама, а остальные он добывал в результате строжайшего режима экономии: в школе завтракал через день, в трамвае и троллейбусе ездил без билетов.

Когда Генка приходил домой возбужденный, с «отсутствующими» глазами, отец взглядом предупреждал его: «Не вздумай что-нибудь сочинять. Я прекрасно вижу, что ты был в кино».

А за ужином он, ни к кому определенно не обращаясь, задумчиво произносил:

— Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она? И Генке приходилось рассказывать содержание.

Иногда мама говорила отцу:

— Может, вечером сами сходим в кино? Генка достал бы билеты: он ведь специалист по этой части.

Отец смущенно разводил руками:

— Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но как раз сегодня у меня неотложное дело...

Отец называл фамилию одного из «толковых» инженеров, с которым ему необходимо было посоветоваться.

А Генка сердито смотрел на маму: неужели она не понимает, как сильно занят отец?

Однажды Генка узнал, что за три квартала от их дома идет старый фильм, о котором приятели отзывались коротко, но выразительно: «Мировой!»

Картину эту Генка раньше посмотреть не успел по той причине, что в дни ее первого выхода на экран он еще не родился.

Вообще Генка не решился бы пойти на вечерний сеанс. Но он знал, что отец должен вернуться поздно: у него важный и торжественный день — испытание новой машины. Отец говорил, что еще возможны всякие неожиданности, что кое-кто из «нетолковых» инженеров может выступить против... Отец волновался! А как же тогда волновалась мама, ожидая его возвращения? Она места себе не находила: то садилась за машинку, то шла беседовать с соседкой, то при каждом звуке шагов выбегала на лестницу.

И Генке особенно хотелось пойти в кино еще и для того, чтобы скорей пролетели часы ожидания. Чтобы вернуться домой, увидеть отца и по лицу мамы (именно мамы!) понять, что всё в порядке, всё в полном порядке...

Генка захватил с собой долговязого семиклассника Жору, которому беспрепятственно продавали билеты на любой сеанс. Жора доставал билеты всем мальчишкам во дворе, за что собирал с них немалый оброк: редкие книги и треугольные марки.

Ребята помчались по вечерним улицам, толкая прохожих и шепча себе под нос торопливые извинения, которые слышали только они сами. Когда добрались до кинотеатра, оказалось, что уже поздно: билеты проданы. Кончился предыдущий сеанс... Из кинозала выходили люди, щурясь от света, на ходу натягивая пальто и так же на ходу обмениваясь впечатлениями. Генка глядел на них с завистью.

И вдруг он услышал такой знакомый голос:

— Тебе не холодно, малыш?

Генка повернул голову — и увидел отца. Отец, пригнувшись, помогал какой-то незнакомой белокурой женщине закутаться в пестрый платок.

Генка хотел шмыгнуть в сторону: ему ведь было строго запрещено ходить на вечерние сеансы. Но глаза его сами собой, помимо воли, поднялись, встретились с глазами отца — и Генка изумленно отступил на шаг: он вдруг увидел, что отец сам его испугался. Да, да, отец испугался! Он, всегда такой сдержанный, неторопливый в движениях, вдруг засуетился, стал неловко вытаскивать свою руку из-под руки белокурой женщины и даже, как показалось Генке, хотел спрятаться за колонну, которая никак не могла скрыть его, потому что она была тонкая, узкая, а отец — огромный и широкоплечий.

Генка помог отцу: он выскочил на улицу и побежал так быстро, что даже длинноногий Жора не поспевал за ним.

Но где-то на перекрестке Генка остановился — в его ушах звучали слова: «Тебе не холодно, малыш?» Белокурая женщина, которую отец закутывал в пестрый платок, была в самом деле невысока ростом, но Генке казалось диким, что и к ней тоже могут относиться слова, которые всегда принадлежали маме, одной только маме...

А как же испытание машины? Значит, это неправда?

А может, никакой машины вовсе и нет? Отец сказал неправду... Генка не мог понять этого, это не умещалось в его сознании. Тогда, может быть, все неправда: и разговоры о книгах, и советы отца, и споры за ужином? Все, все неправда!

Библиотекарша, по прозвищу «Смотри не разорви», крикнула:

— Зайди, Гена! Я достала книгу, которую ты просил!

Но Генка только махнул рукой: он не хотел брать книгу, которую советовал ему прочитать отец. Он почему-то не верил этой книге...

Вернувшись домой, Генка сразу же лег в постель.

— Что с тобой? Ты такой горячий... Нет ли у тебя температуры? — тревожно спросила мама.

Больше всего она волновалась, когда отцу или Генке нездоровилось: всякая, даже самая пустяковая, болезнь казалась ей тогда неизлечимой.

— Не волнуйся, мамочка... Я очень устал, и все! — как никогда ласково ответил Генка.

А на самом деле он просто не хотел, он не мог слышать, что сегодня скажет отец, когда мама откроет ему дверь.

1954 г.

АКТРИСА



В. А. СПЕРАНТОВОЙ

Я ждал ее у служебного театрального входа. Актеры, не до конца, второпях разгримированные, выбегали на улицу и с поспешностью учеников-выскочек задирали вверх руку, надеясь остановить какую-нибудь машину. А убедившись в бесполезности этих надежд, устремлялись в метро.

Она вышла не торопясь. Маленькая, закутанная в платок.

— Простите... Я хочу вам сказать... Вы... волшебная актриса!

— Я?! Почему?

— Потому что сегодня вы были моей бабушкой. Вы продлили ее жизнь. Для меня... Понимаете? Последний раз я был в вашем театре именно с ней. Давно... Еще до войны.

— И тоже под Новый год?

— Поверьте мне: тоже! Я хотел бы вам рассказать...

— Знаете,— перебила она,— это хорошо, что вы оказа-

лись под рукой. В буквальном смысле! На улице гололед, а я вечно падаю. Поддержите-ка свою старую бабушку. Если вы не торопитесь. А заодно и расскажете!

* * *

Дóма, в котором жила бабушка, уже нет. За его счет расширили улицу. Я думаю, бабушка была бы этому рада. Вообще характер у нее был удивительный... К примеру, ей нравилось, что ее старинный балкон выходил не в тихий двор, а как бы нависал над тротуаром, не умолкавшим ни ночью, ни днем.

— Есть на что свалить свою старческую бессонницу! — говорила бабушка.

У нее было четверо дочерей. Но только моя мама жила в одном городе с бабушкой. И не просто в одном городе, а за углом, в трех шагах. Точнее сказать, в двадцати семи... Я подсчитал однажды количество шагов от бабушкиного дома до нашего.

— Хорошо, что мы не живем вместе, в одной квартире, — говорила бабушка. — С детства люблю ходить в гости. Встречают, провожают... Ухаживают!

В гости она любила не только ходить, но и ездить. Она часто вспоминала о том, как ездила много лет подряд на лето в деревню к своему брату — учителю. Брат был двоюродный. Но, судя по рассказам бабушки, встречал ее, как родной. Это было еще до войны... А после войны она к брату уже не ездила, потому что он погиб.

— Он был самым добрым в нашей семье, — говорила бабушка. — И не потому, что погиб... Я и раньше о нем так говорила.

Под Новый год бабушка всегда почему-то ждала, что дочери, жившие в других городах, позовут ее к себе. Она даже присматривала в магазинах игрушки, которые повезет своим внукам.

Дочери присылали поздравительные открытки. Они писали, что очень скучают. Они любили ее. И наверное, просто не догадывались... Конечно, я мог бы им обо всем написать. И однажды совсем уж собрался... Но бабушка остановила меня:

— За подсказки, я слышала, ставят двойки?

— Ставят,— ответил я.

В канун того далекого года, о котором я сейчас вспомнил, шестые классы нашей школы отправились в культпоход. И хотя путь лежал в детский театр, у нас, как и во всяком походе, были свои командиры: мамаша из родительского совета и две классные руководительницы.

Дня за три до этого выяснилось, что шестому «Б», то есть мне, достались билеты в партер, а шестому «А» — в бельэтаж, хотя он был ничуть не хуже нашего класса. Мне даже казалось, что он был лучше, потому что в нем училась Галя Козлова.

Она была старостой изокружка. И хоть я рисовать не умел, но записался в этот кружок. За все шесть лет моей школьной жизни она обратилась ко мне всего один раз. Составляя список юных художников школы, она спросила: «Где ты живешь?» И я забыл название нашей улицы... Вот до чего дошло!

Вскоре я покинул изокружок, потому что понял: нельзя быть последним на глазах любимого существа. А хуже меня в кружке не рисовал, к сожалению, никто...

На спектакль детского театра я купил два билета. «Подойду к Гале,— думал я,— и как бы между прочим скажу: «У меня оказался лишний билет. В партере сидеть лучше, чем в бельэтаже. Возьми, если хочешь...» И весь спектакль буду сидеть рядом с ней! Так закончится год... И я буду считать его самым счастливым во всей своей жизни!»

На уроках и даже по ночам я мысленно репетировал: «Пройду мимо, поздороваюсь... Вспомню о чем-то, вернусь... А там, в партере, я предложу ей свою программку. Она прочитает ее, подержит в руках. А потом я спрячу эту программку. И каждый раз перед Новым годом буду вынимать ее, разглядывать, вспоминать...»

В конце декабря, словно сговорившись, пришли открытки от всех маминых сестер. Они поздравляли бабушку, маму с папой и даже меня. Опять писали, что очень скучают и никак не дождутся встречи!

— В ожидании тоже есть прелесть: все еще впереди...— тихо сказала бабушка.

Мама и папа стали объяснять, что им очень не хочется идти завтра в какую-то компанию, но не пойти они просто не могут. И я в тон им с грустью сказал:

— А мне завтра придется пойти в театр.

Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке.

Тогда я вдруг... неожиданно для самого себя произнес:

— Пойдем со мной, бабушка. У меня есть лишний билет.

Мои родители очень обрадовались. Оказалось, что они и сами отправились бы со мной, потому что в детском театре взрослым гораздо интересней, чем детям. Они бы с удовольствием поменялись с бабушкой, если бы она могла вместо них пойти в ту компанию... А бабушка еще ниже склонилась над своей сумкой. Она продолжала что-то искать в ней. Но теперь уже, мне казалось, от радости.

— Надо будет сделать прическу, — сказала она. — Но в парикмахерскую завтра не попадешь! Я надену свое черное платье. А? Как вы считаете? Оно не будет выглядеть траурным?

— Черный цвет — это цвет торжества! — радостно возразил папа.

И бабушкин театральный бинокль тоже был торжественно-черного цвета.

— Хочешь посмотреть? — спросила она еще до начала спектакля.

Я взял бинокль... И навел его на Галю Козлову, сидевшую в бельэтаже.

«Как здорово! — думал я. — Как здорово... Я от нее далеко, а она — рядом со мной, совсем близко. Но этого не замечает! Я могу тайно разглядывать ее подбородок...»

В это время бабушка обратилась к моему соседу по парте, который и в театре оказался нашим соседом:

— Дай-ка мне на минуту твои очки. Я думаю, оправка для тебя неудобна... Велика! Совсем не видно лица. И стекла плохо протерты. При такой люстре это сразу заметно! Протирать нужно вот так...

По профессии бабушка была глазным врачом. Если рядом с ней оказывались люди в очках, она обязательно проверяла, хороша ли оправка, годятся ли стекла. Мечтая поехать к своим дочерям, она говорила:

— Посмотрю там... какое у внуков зрение!

Ей хотелось, чтоб все на свете хорошо видели.

«Вот если бы у Гали Козловой слегка заболели глаза... — мечтал я тогда. — Чуть-чуть заболели бы и всего на несколько дней... я отвел бы ее к своей бабушке!»

Огромная, словно добела раскаленная люстра начала остывать, остывать... Неторопливо раздвинулся занавес. И на сцене появился мальчишка. Он шел, останавливался, думал. И снова шел... И я верил, что он идет к старой женщине, которая полвека была учительницей, а потом заболела, ушла из школы. А жить без ребят не могла. И мальчишка решил победить ее одиночество...

Когда огромная люстра под потолком стала вновь раскаляться, бабушка ткнула пальцем в программку, ту самую, которую я собирался хранить всю жизнь, и сказала:

— Она... волшебная актриса!

— Которая играет мальчишку?

— Да... — Бабушка помолчала. И тихо добавила: — Потому что она — это ты. Сегодня, по крайней мере...

— Ну что ты?! — скромно возразил я.

— Пойдем в буфет, — предложила бабушка. — Я обожаю толкаться в театральных буфетах!

Мы вошли в фойе. Я думал, что ребята будут молча посмеиваться, увидев меня с бабушкой. Но никто не посмеивался.

В буфете на нас налетела мамаша из родительского совета и воскликнула:

— Это замечательно, что ты пришел с бабушкой. Не постеснялся!

— Бабушка, идем скорей. Вон какая очередь! — сказал я.

— Ну, нет! — возразила она. — Старуху в детском театре должны пропустить вне очереди.

Ее пропустили... Уже добравшись до самой буфетной стойки, она обернулась и крикнула мне:

— Ты любишь яблочные пирожные?

— Люблю, — неискренне ответил я. Потому что понял, что бабушка их очень любит.

Сейчас, через много лет, я думаю: «Как жаль, что бабушку не видели в тот вечер ее дочери, жившие в других городах... Они бы поняли, как легко было сделать ее счастливой!»

* * *

— Теперь уже мой сын ходит в школу...

— А я стала бабушкой!

— На сцене...

— И в жизни,— сказала она, опираясь на мою руку.—
Как скользко...

— Мы живем в другом городе... Я приехал в командировку. Вечером подошел к театру. Вижу: все — как раньше! Классная руководительница привела на спектакль шестой класс. Один мальчишка у нее заболел, и она предложила билет.— Помолчав, я добавил: — Спасибо вам...

— За что, в самом деле?

— Вы продлили для меня ее жизнь! Вы заставили меня вспомнить... А ей в тот далекий вечер вы помогли... ясней разглядеть меня. И она стала счастливее. Разве это не чудо?

Актриса крепче оперлась на мою руку, хотя льда в тот момент у нас под ногами не было.

1975 г.

«БАБОЧКА»



Валерию казалось, что в учреждении, где работает мать, существует некое вечное, раз и навсегда утвержденное штатное расписание.

Коллектив всегда состоял из четырех человек.

Всегда там работали Варвара Михайловна и Елена Гавриловна. Сейчас это были уже пожилые женщины, не легкие на подъем, с одышкой и стенокардией, но мама-то знала их совсем другими — по старой привычке одну до сих пор называла Варенькой, а другую Лелей. Валерий же, как в детстве, продолжал называть их тетей Варей и тетей Лелей. И только начальника учреждения Никодима Сергеича все называли по имени-отчеству.

Минувшая война принесла всем четверым такое горе и такие потери, которые не могли забыться со временем. Жена Никодима Сергеича в сорок втором году умерла от голода в Ленинграде; вскоре он, тяжело контуженный, вернулся

домой, но не смог жить в опустевшей квартире, уехал в другой город, да так больше и не женился.

Варенька и Леля потеряли на войне своих сыновей, а мать Валерия потеряла мужа. Вот и получилось, что на всех четверых уже много лет приходился один-единственный сын Валерий. «Наш общий сын» — так и звали его в «микро-учреждении».

С детства Валерий писал стихи. Мама аккуратно перепечатывала их на пишущей машинке, а Никодим Сергеич с выражением читал вслух... Сам он, еще будучи студентом, тоже «грешил стишками» и даже однажды послал их по почте Александру Блоку. Стихи Блоку не понравились, но Никодим Сергеич по сию пору так бережно хранил трехстрочный ответ великого поэта, словно он заключал в себе самую высокую и восторженную похвалу.

Никодим Сергеич утверждал, что стихи Валерия порадовали бы Блока «своей юношеской непосредственностью и чистотой».

Проверить это было довольно трудно, но весь коллектив на слово верил своему начальнику: все-таки у него были более тесные отношения с великим поэтом, чем у всех остальных.

В свое время в мамином учреждении начала выходить стенгазета под названием «За точный учет». Поскольку коллектив был очень маленький, на каждого приходилось много разных общественных поручений. Только мама еще не имела нагрузки — ее и назначили редактором. Почти все заметки писал и редактировал за маму Валерий. А она и не скрывала этого — напротив, она этим гордилась. У мамы, по ее собственным словам, не было никаких способностей «к политическому мышлению и обобщениям». А у Валерия такие способности были.

Поэтом Валерий не стал. Это немного огорчило всех маминых сотрудников.

Но зато он стал журналистом. Окончив московский институт, он получил направление в свой родной город, в редакцию областной молодежной газеты.

Редактор пришел в газету недавно. Говорили, что он был отличным мастером в цехе, потом гораздо хуже справлялся с работой комсорга завода, а в редакции пока отличился

лишь тем, что несколько раз называл гранки «вагранками», а газетные полосы упорно именовал страницами, чем повергал в трепет выпускающего, проработавшего в разных газетах более сорока лет.

Все это и выдвинуло на передний рубеж ответственного секретаря редакции Гуськова.

Над столом Гуськова висел плакат, нарисованный редакционным художником по личному эскизу хозяина кабинета: остро отточенное перо, как стрела, пущенная амуром, поражало сердце читателя, вызывая в нем любовь к областной молодежной газете, название которой было тушью выведено посреди пера. Стихотворные строки гласили:

Точи свое перо —
И выступай остро!

Это был девиз Гуськова.

— Соседняя областная газета обошла нас! — шумел он на редакционной летучке. — Они поместили вместо передовой статьи фельетон. Это новаторство, это глубокий творческий поиск! А мы?..

— А мы давайте двинем на первую полосу отдел объявлений: какой спектакль отменили ввиду болезни исполнителя главной роли и какую утерянную сберкнижку считать недействительной!.. — съязвил Кеша Соколов, заведующий отделом комсомольской жизни.

Возражать Кеше было рискованно: он был любимцем редакционного коллектива. И Гуськов промолчал.

Поскольку ответственный секретарь пока еще не придумал, что именно помещать вместо передовых статей, передовицы в газете по-прежнему публиковались, и писал их Валерий по личному заданию Гуськова: тот с первого взгляда угадал в нем журналиста «с тонким политическим чутьем».

В маленьком учреждении, где работала мама, теперь ежедневно и очень подробно изучали передовицы молодежной газеты.

Никодим Сергеич читал их вслух не спеша, слегка нараспев, как читают стихи, и дважды повторял те фразы, которые, по его мнению, свидетельствовали о глубокомыслии и тонкости молодого автора.

Особенно понравилась всем передовая статья о внимании к человеку. Никодим Сергеич сказал, что она исполнена «воинствующего гуманизма» и «высокой поэзии любви к людям». Статья была перепечатана на пишущей машинке и помещена в очередном номере стенгазеты «За точный учет». Внизу, в отличие от газетного первоисточника, были поставлены имя и фамилия автора. Вообще всех четверых сотрудников угнетало то обстоятельство, что передовые статьи в газетах не подписываются. «Это несправедливо! — заявил Никодим Сергеич. — Вдохновение не может выступать анонимно!» И в самом деле: никто в городе не знал, что газета чуть ли не каждый день открывается статьями Валерия, и х Валерия! Все четверо хотели даже написать по этому поводу протест в вышестоящие инстанции, но писать протесты было слишком уж непривычно для этих милых, добрых людей, и они передумали.

Валерий с детства любил всех четверых. Он знал, что они ревниво и пристально следят за каждым его шагом. Они преувеличивали значение его поступков, хороших и плохих. Но что поделаешь: так всегда поступают любящие сердца. Эти люди, с которыми неимоверно жестоко обошлась война, вложили в своего «общего сына» очень много надежд... Казалось, они ждали, что Валерий, его будущее, его успехи хоть в малой доле возместят их потери, вернут им радость и смысл бытия.

И Валерию хотелось, чтобы эти люди могли им гордиться.

Когда, еще будучи школьником Валерий получал пятерку или очередной раз избирался редактором стенгазеты, он мчался в одноэтажный особняк, где помещалось мамино учреждение: сообщить, скорее сообщить!.. К сожалению, никто из четырех никогда не обнаруживал при Валерии своей радости. Никодим Сергеич говорил обычно, что отметка отметке рознь, что дело вообще не в отметках, а в знаниях. Валерий охотно и весело соглашался с этим, потому что чувствовал: нет, дело и в отметках тоже, и, конечно же, как только он закроет за собой дверь, Никодим Сергеич похвалит его вдогонку, и всем им будет легче и радостнее работать в этот день.

Сейчас Валерий чувствовал, что все четверо с нетерпением ждут его настоящего бенефиса в газете — такого вы-

ступления, которое они могли бы гордо прославлять среди своих родных и соседей: «Это наш общий сын написал. Наш Валерий!» Они очень ждали...

А он писал эти скучные передовые статьи, да еще и без подписи!

Валерий искал удобного случая, чтобы по-настоящему проявить себя на газетной полосе. Но случай отыскал его сам.

Однажды утром, когда Валерий отдыхал после ночного дежурства в типографии, его срочно вызвали к Гуськову.

— Ни сна, ни отдыха измученной душе!.. — фальшиво, на какой-то свой собственный мотив, пропел Гуськов, плотно закрывая за Валерием дверь. — Так вот, хочу сделать из тебя настоящего мастера «пуха и пера». В том смысле, что своим пером ты будешь выпускать пух и, между прочим, дух из наших местных родиков.

— Из кого? — не понял Валерий.

— Ну из «родиков»... Сразу видно, что ты у нас в редакции новичок. «Родиками» я называю людей, у которых наличествуют, увы, родимые пятна прошлого. Понял? Так вот, хочу дать тебе ответственное задание. Дело в том, что во вчерашней редакционной почте тихонько лежала «мина замедленного действия» в обыкновенном голубом конверте с маркой и штемпелем. Эта «мина» должна при твоей помощи разорваться и нанести большой урон лагерю, с которым мы, журналисты, призваны бороться.

Гуськов вынул из верхнего ящика стола голубую бумажную «мину», погрузил в нее два пальца и достал небольшой белый лист с ровными, аккуратными тропинками строк.

— Вот послушай, что пишет нам одна студентка — Сусанна Д., как ты назовешь ее в своем будущем фельетоне. «Дорогая редакция! Я долго думала перед тем, как взяться за ручку с пером. И все-таки через несколько минут я опушу в почтовый ящик этот голубой конверт, который поведаст вам об одной черной истории. И черной душе. Нет, не о себе думаю я сейчас! Я хочу, чтобы другие люди, и особенно дети, не стали в будущем жертвами этого человека — вернее сказать, этого субъекта во фраке с узкой «бабочкой» вместо галстука и с узкими, мещанскими взглядами на жизнь. В таком виде, представьте себе, он появляется на студенческих вечерах! Почему я упомянула о том, что дети

в опасности? Да потому, что субъект этот — студент педагогического института, он готовится стать учителем и воспитывать (точнее сказать, калечить!) наших ребят. Субъект особенно опасен по той причине, что обаятелен. Он — душа общества, организатор разного рода балов и танцулек. И кроме того, он отличник! Есть еще у нас слепцы, которые думают, что отметки определяют весь комплекс человеческих качеств. Если отвечает у доски на пятерку, значит-де и человек — на пятерку...» Не новая мысль! — прервал Гуськов чтение. — Но посмотри, как художественно выражена! Можешь ее прямо, так сказать, живым куском взять в свой будущий фельетон. И не забудь о фраке. Его фрак — это как бы заявка на особое положение в обществе, в коллективе. Пойдем дальше...

«Старков ухаживал за мной, говорил о любви, даже стихи читал — выдавал за свои, но, по-моему, это были чужие — вот только не знаю, чьи именно. Предлагал выйти за него замуж. Я рассказала об этом своим подругам, родителям, соседям по квартире, всем нашим знакомым. Я верила ему, как могут ему поверить сотни других людей, и особенно детей: вы знаете, как они беззащитны! И он обманул меня, как обманет и тех, других... Может ли такой человек воспитывать в будущем наше подрастающее поколение?!»

Гуськов читал письмо с таким выражением, так прочувствованно, словно он сам был Сусанной Д., словно это ему предлагали выйти замуж и это над его первым чувством надругался некий студент педагогического института.

— Так вот, на этом письме можно поставить грандиозную проблему. Таковую, знаешь, тему поднять, что соседнюю областную газету инфаркт хватит! — Гуськов вскочил из-за стола и забегал по кабинету. — Может быть, этих фактов будет не вполне достаточно. Так можешь кое-что домыслить. Творческий домысел — это закон жанра. Художник имеет на него право! А ведь не только писателям именовать себя художниками — мы, журналисты, тоже имеем для этого веские основания. Сегодня же отправляйся в педагогический институт!

— Но сейчас каникулы. Я там никого не застаю... Впрочем, бывают студенческие вечера! — спохватился Валерий. — Я всех разыщу, раскопаю все факты!

Он уже дорожил этими фактами, потому что почувствовал, что его журналистский бенефис не за горами. Он напишет острую статью, такой фельетон, о котором заговорят все. И Никодим Сергеич прочтет его вслух, а мама, тетя Леля и тетя Варя купят десятки экземпляров газеты (он это ясно представлял себе!) и будут раздавать их друзьям и знакомым.

— Особенно разыскивать и раскапывать не стоит! — посоветовал Гуськов, возвращаясь в свое кресло. — Не трать на это время: фельетон мне нужно завтра к вечеру. Тиснем его в воскресный номер! И главное, помни: ты можешь кое-что заострить, преувеличить. Заострение и преувеличение — это тоже, знаешь, закон жанра! Художник имеет на это право. И дело вовсе не в Старкове и не в Сусанне Д., а в том, чтобы на этом примере научить тысячи. Понял? Зря ты, брат, эти мои мысли в блокнот не записываешь. Ведь забудешь еще, чего доброго. И самое последнее: подумай о хлестком заголовке. Это очень важно. Что-нибудь такое... вроде «Плесени», чтобы тянуло на обобщение и сразу запоминалось. Понимаешь? Я даже думал, не обыграть ли в заголовке его фамилию. Все-таки, знаешь, «Старков»... Старое, устаревшее... пережитки... Как-то само собой ассоциируется. А можно обыграть фрак — тоже, знаешь, деталь с фалдами! Ну, в общем, гонорар будешь получать сам и заголовков тоже сам придумывай!

Выйдя в коридор, Валерий пробежал глазами по первым строчкам письма, остановился и вслух прочитал:

— «...во фраке с узкой «бабочкой» вместо галстука и узкими, мещанскими взглядами на жизнь».

«Вот он, заголовок будущего фельетона! — подумал Валерий. — «Бабочка»!.. Этот заголовок будет не просто связан с образом главного персонажа, а прямо-таки «привязан» к его шее — точен, иносказателен, полон обобщений. Итак, решено: «Бабочка»!..»

В тот день трудно было достать областную молодежную газету — и не только в киосках «Союзпечати», но даже читальнях.

В автобусах и троллейбусах люди пересказывали друг другу содержание фельетона, обменивались впечатлениями:

— Подумайте: и мог же такой прохвост в будущем стать учителем?!

— А как же: получил бы диплом — и прямым к детям! Вместе со всем своим аморальным обликом! Прямо во фраке! Шалишь, не вышло!..

— А девушка-то какую проявила принципиальность: не побоялась раскрыть свою глубоко личную драму!..

— Ну, уж не преувеличивайте: ведь фамилию ее не называли. «Сусанна Д.» — и только!

В одноэтажном особнячке фельетон, как стихотворение, к вечеру выучили наизусть. И всем знакомым советовали по телефону: «Обязательно прочтите сегодня молодежную газету. Там, на третьей странице... В общем, сами увидите!»

Всех четверых огорчало лишь то, что люди, запомнив название фельетона и взволновавшись его содержанием, не обращали никакого внимания на фамилию автора. Это, конечно, было обидно.

Вечером в трамвае Варвара Михайловна громко, чтобы все слышали, сказала Елене Гавриловне:

— Великолепно написан этот фельетон! Ну, про «Бабочку»... Кто его автор? Ты не помнишь?

Елена Гавриловна смутилась и ничего не ответила. Тогда Варвара Михайловна сама вдруг вспомнила:

— Ах да! Валерий Заботин! Видимо, талантливый журналист! И должно быть, из молодых... Надо теперь следить за его статьями.

Возвращаясь с работы, мама и Никодим Сергеич слышали, как пожилой мужчина очень интеллигентного вида назвал двух бравых молодых людей «бабочками».

— Видите? Уже пошло в народ! — с гордостью сказал Никодим Сергеич. — Теперь всех молодых шалопаев будут называть «бабочками».

И начали называть, слово «бабочка» за каких-нибудь два дня стало популярно во всем городе. Валерия пригласили в клуб тонкосуконной фабрики на дискуссию: «Бабочки и откуда они прилетают». Никодим Сергеич, Варенька и Леля помчались на дискуссию прямо с работы, не успев даже отдохнуть и поужинать.

Так было и раньше, когда Валерий выступал в школьных самодеятельных спектаклях. И так же, как в те дни, они

обещали, что рассядутся в разных концах зала, чтобы никто не обратил внимания на присутствие незнакомых людей и, не дай бог, не подумал бы, что это его, Валерия, родственники, дружно явившиеся «переживать». А мама не пошла — она слишком уж волновалась, могла выдать себя и поставить Валерия в неловкое положение: на дискуссию с мамой пришел!

Мать, оставшись дома одна, принялась было за стирку, но тут раздались три нерешительных, застенчиво коротких звонка.

На пороге стояла пожилая женщина в платке.

— Мне нужен Валерий Заботин, — тихо выговорила она.

— Его нет дома. Я его мать. А вы...

— Я... мать «Бабочки».

— Что вы сказали?

— Мать Владимира Старкова. Того самого... Ну, которого ваш сын сделал «Бабочкой».

Они вошли в комнату. Сели...

— Я понимаю, что нам с Володей будет трудно, очень трудно доказать... Потому что с виду все в этом фельетоне правильно. С виду... Володя мой и правда носит «бабочку». Эти смешные галстуки остались у нас от отца. И фрак тоже. Отец его был музыкантом, играл на виолончели, а потом ушел в ополчение и не вернулся. Музыканты носят такие «бабочки» и фраки, вы знаете. А другого выходного костюма у Володи нет... И еще эта девушка, Сусанна... Володя очень любил ее и предлагал выйти за него замуж. Она сказала, что ничего определенного ответить не может, что полагает. А потом Володю стали то и дело спрашивать: «Ты собрался жениться? Ты сделал предложение?» Она рассказала об этом всем и со всеми советовалась, стоит ли ей выходить за Володю. И это было как-то неприятно. Вы понимаете?

— Да, да... Конечно...

— И как бы это сказать? Ну в общем, я думаю, что иногда самый простой факт может показаться преступлением, если взглянуть на него... как-то предвзято. Если предвзято его подать, если увидеть одну только внешнюю сторо-

ну. И вообще... Даже если у Володи и есть какая-то вина, так это из-за меня. Все случилось из-за меня...

— Из-за вас?!

— Так вроде получается... Я воспитала Володю без отца, и, может быть, еще поэтому я любила и заботилась о нем... ну, что ли, за двоих. Володя стал уже большой, но он и сейчас звонит мне по телефону, если хоть немного задерживается. Может быть, это неразумно, но я волнуюсь, когда его долго нет... Что можно с собой поделать? И вот однажды Сусанна высмеяла его и сказала, что он «маменькин сынок», что ей противны его «отчеты» по телефону. А еще через несколько дней она сказала, что ему вообще предстоит выбор: или стать «мужем» или остаться «сыном». Он выбрал...

— Я понимаю.

— И как-то странно все получилось. Несколько дней я слышала на улице слово «бабочка» — и не знала, что это новое имя моего Володи. Один раз я даже сама назвала «бабьчкой» молодого человека, который расталкивал всех на автобусной остановке. Но мне и в голову не приходило, что я назвала его именем сына...

— Вы не знали?

— Да, так получилось... Володя сделал все, чтобы газета не попала ко мне в руки. Он боялся этого больше всего: у меня не очень ладно с сердцем. Но он не знал, что в такие дни... когда нашим детям плохо, мы забываем о своих болезнях...

— Я знаю это.

— Володя просил соседей, чтобы они не рассказывали мне. И те выполнили его просьбу. Они знали Володю с детства — и не верили этой статье. Сын просил и моих сослуживцев на работе, и они тоже всячески отвлекали меня в тот день. Очень милые люди.

— Но как же вы в конце концов?...

— Володю выдала Галочка, моя племянница. Они с матерью живут в десяти километрах от нашего города, в Ясных Озерах.

— Я знаю это место. Валерий был там в пионерском лагере. Уже давно...

— Галя прислала мне письмо...

На листке в клеточку, вырванном из ученической те-

традки, круглыми буквами, с особой старательностью человека, не так уж давно овладевшего грамотой, было написано: «Дорогая тетя Наташа! Я прочитала в газете, что ваш Володя очень плохой человек. Но это неправда. Володя два раза приезжал к нам летом. И мы все знаем, что это неправда. У нас в классе тоже есть стенгазета, но мы бы никогда не поместили такую статью. Пусть он приезжает к нам летом. Мы опять выберем его главным спортивным судьей, потому что он справедливый. Ему у нас будет хорошо!»

Это был обыкновенный тетрадный листок в клеточку, на каких ребята решают задачи по арифметике. На нем не было круглой печати и фирмы учреждения. Но для матери Валерия это был документ. Она знала, что дети подчас точней взрослых отличают хорошее от плохого.

— Володя и сейчас думает, что я не читала статью. Он не должен знать, что я была здесь.

— Он не узнает.

— Я верю вам.

— Я вам тоже...

Весь коллектив «микроучреждения» во главе с Никодимом Сергеичем собрался за обеденным столом. Но еды на столе не было.

Валерий не мог объяснить, как все получилось... Он пришел в педагогический институт в разгар студенческого бала.

«Сусанна Д.», со слезами на длинных, слегка подкрашенных ресницах, почти слово в слово повторила ему содержание своего собственного письма, приговаривая: «Ведь должна же быть правда на свете! Ведь должна быть!..» Он пожалел ее и веско пообещал восстановить справедливость. А потом вошел в зал и увидел лихо танцующего молодого человека во фраке и с «бабочкой».

Никто, кроме него, во фраке на бал не пришел. «Заявка на особое положение...» — вспомнил Валерий слова Гуськова. Молодой человек вдруг оставил девушку, с которой кружился по залу, подбежал к другой, стал на одно колено, а обе руки приложил к сердцу, приглашая на вальс.

Быть может, это была шутка, но в ту минуту она решила все. «Вот видите — так и порхает, так и порхает!» — шепнула на ухо Валерию Сусанна. Ему было приятно, что она ищет у него защиты и что он может ее защитить. Твердо, словно убеждая самого себя, он сказал: «Все ясно! Больше можно не проверять!» И еще в ушах у него звучали слова Гуськова: «Творческий домysel — это закон жанра!»

Сейчас, вспомнив эти слова, Валерий тихо и неуверенно произнес:

— Мы имеем право на преувеличение и заострение...

— Преувеличение? Заострение? — удивился Никодим Сергеич. — Да ты ведь не роман сочиняешь, не повесть, а о живых людях пишешь! О живых!.. Сам ты оказался «бабочкой» — легковерной и легкокрылой... А передовая статья о внимании к человеку? Чего она теперь стоит?! Я-то, старый идеалист, раскудахтался: «Воинствующий гуманизм! Поэзия любви к людям!..» Ты видел только что эту женщину?

Валерий видел мать Владимира Старкова: она дождалась его. Трудно было ей не поверить... Глаза ее переполняли такое горе, что в них не было, просто не могло остаться места для хитрости. И все-таки...

— Да поймите: дело вовсе не в Старкове! — Валерий продолжал отбиваться словами и мыслями Гуськова. — Дело в десятках тысяч читателей, которые воспитываются на этих фактах. Дело в проблеме!..

— Что ты говоришь, Валерий? Разве можно?.. Разве можно кого-нибудь воспитать... неправдой?

Это сказала мама. Мама, не умевшая писать заметки в стенгазету и лишенная, по ее собственным словам, всяких способностей к «политическому мышлению и обобщениям».

Часа два назад она собиралась заняться стиркой, у нее все еще были засучены рукава, и от этого она казалась особенно решительной и непримиримой.

Никодим Сергеич скинул пиджак словно для того, чтобы легче было идти в атаку.

— Проблема?.. Разве есть на свете такая проблема, ради которой можно было бы опорочить одного — хотя бы только одного! — честного человека?

Валерий с детства верил этим людям. И он ждал, что они подскажут ему выход из положения.

— Ты говорил, что комитет комсомола института будет обсуждать твой фельетон,— сказал Никодим Сергеич.— И вот я считаю, что к этому дню...

Он протянул самопишущую ручку.

На миг Валерий представил себе, что́ будет, если он сам напишет опровержение. Нет, он, конечно, не понесет его ответственному секретарю. Он отдаст Кеше Соколову, только ему...

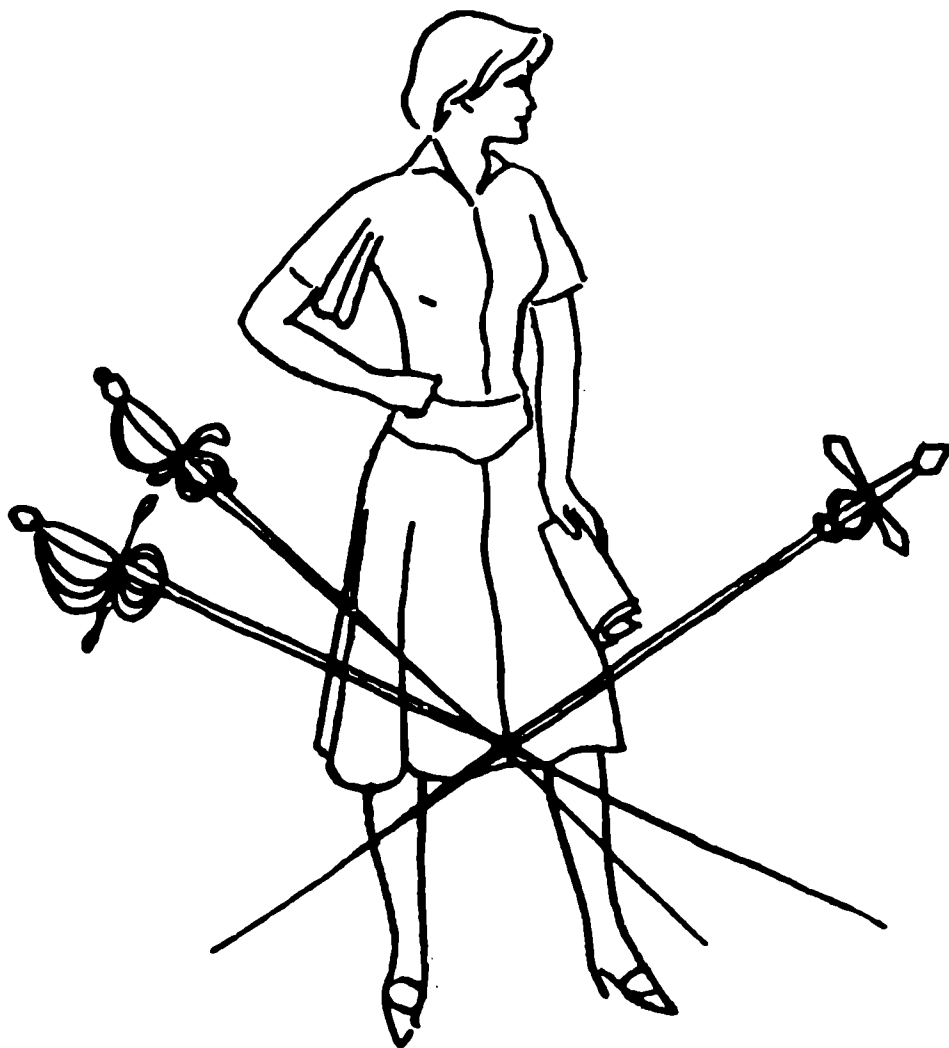
А Гуськов? О, именно Гуськов заявит на летучке, что Валерий споткнулся при первом же самостоятельном шаге, что он не оправдал надежд, подвел газету.

— Я еще потом... кое-что проверю,— тихо сказал Валерий. И все же взял перо, протянутое ему Никодимом Сергеичем.

«Письмо в редакцию. Копия: в комитет ВЛКСМ педагогического института. Считаю своим долгом сообщить...» — написал Валерий на белом листе, который тетя Варя как-то незаметно успела подложить ему под руку.

1960 г.

ТРИ МУШКЕТЕРА В ОДНОМ КУПЕ



В черном репродукторе на столбе, обклеенном объявлениями, что-то захрипело, заурчало, медленно заворочалось, и, хотя никто не расслышал ни одного слова, все сразу поняли: начинается посадка! Я с трудом оторвала от пола два своих тяжелых чемодана, и в голову мне пришла неожиданная мысль: «А мама, пожалуй, права: пора выходить замуж!..»

Хрипение в репродукторе подействовало на всех, как свисток судьи на старте, и началось своеобразное спортивное состязание: бег и быстрая ходьба с чемоданами и узлами. Все устремились к вагонам, стараясь обогнать друг друга, хотя до отхода поезда было еще целых полчаса. Мой третий вагон находился, как говорят железнодорожники, в голове состава. И, добираясь от хвоста к этой самой голове, я несколько раз опускала свои чемоданы, набитые книгами, на деревянную платформу, отдыхала и думала: «Да, знания и мудрость человеческая кое-что весят!»

Курортные пассажиры — своеобразный народ. Они весело оживлены и одновременно озабочены. Прощаясь на перроне, возле вагонов, они старательно записывают телефоны своих новых приятелей, искренне веря, что будут созваниваться и встречаться. Но они уже думают и о тех, с кем связали их не отдых, не безмятежность, а работа и беспокойство.

Солнечный городок всем выдал свой традиционный подарок на память: прилипчивый южный загар. У одних он был ровным и бронзовым, у других — каким-то болезненно-желтым, у третьих — грубым, темно-коричневым. И только одна я, кажется, возвращалась в том самом виде, в каком полтора месяца назад выехала из Москвы: ни разу на пляж не выбралась.

Когда я подходила уже к своему купе, меня сзади нагнал молодой, неуловимо насмешливый голос:

— И вы в моей кают-компании? Как жаль, что не угадал сразу!

— А что бы тогда произошло?

— Я бы просто помог вам тащить чемоданы. За такое счастливое соседство надо платить!

Незнакомец был до наивности твердо убежден, что помогать надо лишь той женщине, которая едет с ним в одном купе. Это был ладный, стройный парень лет двадцати семи, в модном клетчатом пиджаке, в рубашке с двумя пуговицами вверху, под самой шеей. Эти пуговицы выглядели маленькими игрушечными фарами, словно потухшими на время, между двумя тупыми крыльями воротника. Волосы у молодого человека были не то обесцвечены солнцем, не то перекрашены в рыжеватый цвет.

— Работа заставляет, вы же понимаете!.. — сказал он, нежно погладив себя по волосам. Сказал так, будто и представить не мог, что я не знаю, какая именно у него работа.

Я подставила под ноги шаткую лесенку, чтобы забросить наверх один из своих чемоданов и самой забраться туда. В глазах молодого человека возникло выражение благородного ужаса.

— Что вы! Что вы! Я уступаю вам свое нижнее место!

— Я люблю верхнюю полку...

— Хотите смотреть на меня сверху вниз? — сострил, как ему показалось, молодой человек. — Но вам придется карабкаться...

— А я, представьте себе, альпинистка.

Он легко пропустил мое сообщение мимо ушей. Он вообще принадлежал к тем людям, которые интересуются только своими собственными мыслями и умеют прислушиваться лишь к звукам собственного голоса.

— Умный в гору не пойдет — умный гору обойдет, — продолжал мой сосед в том же духе. — Но по крайней мере, свои чемоданы вы оставьте здесь, внизу, под моей полкой. Это нас хоть немного объединит...

У него был какой-то непробиваемый, раз и навсегда усвоенный стиль разговора, очень, видимо, удобный для него, потому что стиль этот не требовал никакого напряжения ума, никакого движения мысли, а вполне обходился одним лишь движением губ и языка. Еще не зная даже моего имени, молодой человек походя успел сообщить, что личная жизнь его не удалась, потому что «всякий генерал женится, еще будучи лейтенантом, и жену себе выбирает по лейтенантскому чину».

Из этого я должна была заключить, что в своей области он уже достиг генеральских высот.

И все же, видя, что на меня этот стиль не действует, молодой человек решил временно от него отказаться:

— Вот я вам сказал, что работа заставила меня перекрасить волосы. И не только волосы... Я весь должен был «перекраситься» месяца на три: в новом фильме, который снимали здесь на побережье, я исполнял очень необычную для меня роль — школьного учителя. В сценарии написано полторы строки: «Прошел месяц, и вот уже весь «трудный класс» поддался обаянию нового педагога». Но зритель должен в это поверить. Он должен, стало быть, поддаться моему обаянию. И на все это завоевание «трудного класса» и еще более трудного зрительного зала мне дано сценаристом не больше пяти-шести коротких эпизодов. К счастью, у хозяйки, в доме которой меня поселили, было трое ребят-школьников. На них-то я и экспериментировал. Дома я — не поверите! — ходил в гриме и общался со всеми троими так, будто они были моими учениками. И вот однажды хозяйка сказала: «Что ж это будет, если вы в Москву-то уедете, Вадим Николаевич? Ведь ребята мои скучают без вас. Как уйдете, места себе не находят!» В тот вечер, когда хозяйка мне это сказала, я понял: пора в павильон, к кинокамере!

Стало быть, вжился в роль! Но самое трудное было не это. Там, в сценарии, имелась еще одна строчка, которую нелегко было оживить: «Десятиклассница Тамара, комсорг класса, ждала только его уроков...» То есть моих уроков! Она влюбилась в молодого учителя, то есть в меня, потому что влюбиться в персонаж — это значит влюбиться и в актера. И вот я должен был по ходу фильма умно и тонко избавить Тамару от ее переживаний...

Я, все еще держась за полку и не покидая шаткой лесенки, уже смотрела на актера другими глазами: нет, он не так уж примитивен, как показался мне с первого взгляда. Заговорил о любимом деле — и сразу преобразился.

— Жаль, что мы не встретились с вами на побережье, — сказала я.

— Но быть может, все еще впереди?..

— Простите, вы меня не так поняли... Я могла бы, вероятно, помочь вам в работе над ролью: педагогика — это моя профессия.

Но моя профессия, как и моя страсть к альпинизму, совершенно не интересовала молодого актера. Он уже вернулся в свое прежнее состояние и игривым тоном сообщил:

— Кстати, конфликт с десятиклассницей Тамарой и его разрешение были для меня не столь уж трудны: сколько раз не на экране, а в жизни приходилось отваживать от себя влюбчивых девиц, представить себе не можете!

Он устало вздохнул.

Я с любопытством изучала актера. Нет, он решительно не видел во мне человека. Должно быть, он вообще не представлял себе, что можно ехать в одном купе с молодой женщиной и не обольщать ее своей популярностью, что можно иметь с ней какие бы то ни было отношения, кроме «романических». Он, видимо, четко делил свою жизнь на две части: на творческую и личную, между которыми не было ничего общего, которые были даже противоположны друг другу.

Я смотрела на актера и думала, что он вполне мог бы стать героем моего будущего рассказа... Рассказы я писала давно и безуспешно. Я хорошо усвоила уже, что самый удобный принцип, по которому редакции могут отказывать начинающему автору-педагогу, — это возрастной принцип. Из толстых, солидных журналов писали, что рассказы мои «очень интересны по теме и материалу», но что они посвя-

щены проблемам воспитания, и поэтому лучше мне обратиться в периодические издания для детей. Детские и юношеские журналы тоже хвалили меня за «тему и материал», но утверждали, что мои рассказы — «о детях для взрослых», а что такие произведения еще более не детские, чем просто взрослые, и поэтому мне лучше послать их в толстый журнал. Впрочем, я не особенно огорчилась...

Работая над рассказами, я видела в этом лишь очень удобную и приятную форму поразмышлять о жизни, о своем деле. Ну, а в редакции рассказы мои отправляла мама, которая была искренне убеждена, что я пишу «не хуже других», а не печатают меня потому, что нет нужных связей в литературном мире.

Мама изучала буквально все, что писали о школе в толстых и тонких журналах. Нередко она восклицала: «Этот автор наверняка читал твои рукописи и очень многое у тебя взял! Это же видно невооруженным глазом!»

Темы я находила всюду: в школе, в квартире и даже в поезде. Я, должно быть, так пристально смотрела на молодого актера, мысленно перенося его в свой будущий рассказ, что он очень оживился и пригласил меня в вагон-ресторан. Я ничего не успела ответить, потому что в эту минуту на пороге появился грузный мужчина в синем, наглухо застегнутом костюме и зеленой велюровой шляпе. Этот наряд был довольно оригинален, если учесть, что за окном сиял жаркий южный полдень и в купе было душно.

— Тут уже семейная пара! — хриплым голосом прямо с порога произнес новый пассажир. — Только еще детей не хватает!

Я не поняла, в шутку он это сказал или всерьез, но киноартист отреагировал немедленно. На экране он, по его собственным словам, выступал в самых различных амплуа, но в жизни, и особенно в обществе женщин, его амплуа было удручающе однообразным. Он томно прошептал мне в самое ухо:

— Нас приняли за семейную пару! Не кажется ли вам, что это символично?

Новый пассажир бухнул на нижнюю полку свой громоздкий чемодан в сером чехле с красными выцветшими цветочками. Затем он, не снимая шляпы, протянул руку сперва киноартисту, а потом уже мне. И представился. Фамилия

нового пассажира удивительно гармонировала с его внешним обликом:

— Бирюков!..

Поздоровавшись, Бирюков попросил нас с артистом на две минуты отвернуться в сторону или «зажмурить глаза». Мы предпочли отвернуться, а уже через две минуты он был в полосатой зеленой пижаме под цвет своей велюровой шляпы, которую почему-то решил нахлобучить на абажур миниатюрной настольной лампы.

Затем, порывшись в чемодане, Бирюков вытащил множество папок с белыми тесемками, завязанными бантиком. Воздвигнув на столике целую пирамиду из этих папок, он взял верхнюю, развязал тесемки и погрузился в чтение.

Потом оторвался от бумаг, вправил в желтый обгрызанный мундштук сигарету и закурил. В купе стало совсем уж нечем дышать.

— Все-таки здесь дама...— Киноартист удивленно приподнял и опустил свои атлетические плечи.

— Вот поэтому и не люблю с ними ездить! — проворчал Бирюков, загасил сигарету, с досады поломал ее и выкинул за окно.

— Но ведь там же люди! Провожающие! — Артист еще раз приподнял и опустил свои плечи.

— Ничего... Сейчас тронемся — и разойдутся.

У него была странная логика. Хотя вскоре поезд действительно тронулся и все провожающие в самом деле разошлись.

Несколько часов Бирюков молчал. Он шелестел бумагами, вздыхал, укоризненно покачивал головой, снимал с носа очки и чертил ими в воздухе разные замысловатые фигуры, размышляя и советуясь сам с собой. Наконец он громко, хрипло зевнул, взглянул на свои большие старомодные часы и, желая проверить их, спросил у нас с артистом, «сколько сейчас будет». Он вообще не обращался к нам порознь, а только к обоим сразу, решительно объединив нас в одну семью.

Затем Бирюков сообщил, что скоро будет первая остановка, а как только поезд отойдет от нее, он обязательно «задаст храпака», потому что вообще любит поспать в дороге. Я с ужасом представила себе, какого «храпака» он может

«задать». Но спать Бирюкову не пришлось: на станции произошла неожиданная сцена.

К нам в купе вошел спортивного вида молодой человек с плоским, квадратным чемоданчиком. Если бы нужно было описать его в рассказе, пришлось бы сказать, что у него было открытое лицо, высокий лоб, русые волосы и серые веселые глаза. Банальный портрет абстрактного положительного героя...

Но что поделаешь, если лоб у него действительно был высоким, глаза серыми и приветливыми, а лицо открытым и загорелым?

Казалось, молодой человек не заметил, что в купе трое пассажиров, — он обратил внимание на одного только Бирюкова. «Везет же мне в этот раз на рыцарей и мушкетеров!» — подумала я.

Уставившись на Бирюкова, молодой человек удовлетворенно произнес:

— Все же догнал!

А Бирюков просто оцепенел... Глаза его блуждали по лицу молодого человека, по его сдержанно модному костюму, по всей его спортивной фигуре, которую критики тоже могли бы посчитать слишком уж «образцово-показательной».

— Ты-ы?! — изумленно проговорил наконец Бирюков, снимая очки, точно они могли обмануть его.

— Я, Тихон Петрович! Конечно, я!

— Откуда же? Из Заполярска?..

— В принципе да... Но в данный момент — из вашего санатория. Мне сказали, каким поездом вы отбываете и в каком вагоне. Я помчался на вокзал, но не успел. Тогда схватил такси — и вот, слава богу, догнал!

При одном воспоминании о том, как он торопился, молодой человек с трудом перевел дух.

— И в честь чего же это ты пожаловал? И погоню устроил? — предчувствуя недоброе, осведомился Бирюков.

— А в честь того, что я всему нашему рудоуправлению священную клятву дал: не вернусь из отпуска без вашей визы! Без разрешения на новый бурильный станок... Клятву дал!

— А какой у тебя, позволь узнать, отпуск?

— Два года не отдыхал — стало быть, четыре месяца.

— И ты что же, все четыре месяца день за днем будешь мне душу терзать?

— Да что вы, Тихон Петрович? К чему такая жестокость? Вы сегодня визу дадите, сейчас!

— Ты уверен?

— Абсолютно. Вы же, Тихон Петрович, у нас на комбинате семь лет проработали. Неужели не помните, что это за наказание такое — старый станок ударно-канатного бурения?

— Да зна-аю я...

— А я вам все-таки напомним: в пургу, в мороз, в полярную ночь машинист должен орудовать этим горе-станочком прямо на улице. Ватник мешает, сковывает, тормозит движения, а помощник машиниста то и дело ведра с водой таскает, чтобы обогреть... Ничего не скажешь, веселая была работенка у нас на открытых рудниках! А теперь этот новый станок посмотрите. Мы его знаете как прозвали? «СБ номер два», что в расшифрованном виде означает: «Счастье бурильщиков номер два».

Он вынул из плоского чемоданчика папку с белыми тесемками — словно близнеца тех папок, из которых была сложена пирамида на нашем столике.

— Это у вас в отделе наш станок в папку замуровали. Ох и непробиваемый же картон оказался — крепче любого железобетона! И тесемочки эти похитрее любых секретных замков: никак к ним ключи не подыщешь. А вы все в командировках, в отъезде. Ну и пришлось вас на отдыхе ловить.

— На отдыхе! — Бирюков хрипло вздохнул и ткнул пальцем в картонную пирамиду. — Вот он, мой отдых! Такая у людей фантазия разыгралась: каждый изобретает, придумывает что-то. Туда ехал — читал, домой еду — некогда в преферанс перекинуться: все читаю, читаю... Поверишь ли, на курорте в минеральную ванну залезу, из мохнатой простыни тайком папочку вытащу — лежу читаю, красным карандашом резолюции накладываю. Потом уж врачах меня засекла: проверять стала. Сердце-то у меня давно уж не на полных оборотах работает.

— Знаю, Тихон Петрович. Вы ведь из-за сердца, собственно говоря, в столицу перебазировались. Но у нас, на комбинате, вас часто вспоминают.

— Вспоминают? — оживился Бирюков. — Ну и как?

— За тот период вашей деятельности, который в Заполярске протекал, хвалят. Ну, а за московский... В общем, вот он, наш новый бурильный станок. Хорош, а?

— Сейчас разберемся!..

Глаза Бирюкова стали вдруг придирчивыми, цепкими. Постепенно, по мере погружения в чертежи, взгляд его светлел и становился даже каким-то восторженно-вдохновенным, что противоречило всему суровому, угловатому облику этого человека. Казалось, он испытывал истинное удовольствие и даже наслаждение, роясь в листках ватмана, в шелестящих кальках, в объяснительных записках. Молодой человек воспрял духом:

— Да разве можно сравнить его со старым станком? Скорость бурения увеличивается раза в два с половиной. А главное: застекленная кабина! В ней же тепло, уютно. Сиди себе в одном пиджачке перед электрокнопочным пультом управления и следи за сигнальными лампочками!

— Так это, значит, бурильщик там и чай вскипятить может? И ужин себе приготовить? — радуясь такому райскому житью-бытью, осведомился Бирюков.

— Конечно! Он и заночевать там может, если непогода уж особенно разгуляется. И помощник совсем не нужен: ведра с водой таскать незачем.

— Нда-а... Так это же первый сорт!

— Еще бы! Вот и поставьте свою визу, Тихон Петрович. Остальные подписи уже есть. Видите, какой бюрократический орнамент со всех сторон чертежа?

Взгляд Бирюкова как-то потускнел.

— Э-э, брат, уж очень ты скорый! Надо еще проверить, посоветоваться.

— Где вы будете проверять? Мы уже на рудниках тысячу раз проверили! И кто же, в самом деле, больше нас заинтересован, чтобы станок был хороший? Ведь нам работать на нем? Нам!.. Со мной, честное слово, любой человек согласится. — Он, кажется, тут только вспомнил, что они с Бирюковым вовсе не наедине. — Ну, вот вы скажите!.. Как ваше мнение?

Я уверенно согласилась. Артист же все это время разглядывал какой-то цветастый киножурнал и толком ничего не понял. Но ему было не жалко согласиться, ему вообще

было решительно все равно, какой там станок будет работать на открытых рудниках, и он кивнул:

— Да, конечно. Вполне согласен.

— Простите, пожалуйста. Я даже не представился вам. Кирилл Барабанщиков! — Молодой человек покраснел, по-детски виновато и смущенно пожал плечами. — А почему не представился? От Тихона Петровича глаз не мог оторвать: боялся, что в окно выпрыгнет, спасаясь от меня. Честное слово!..

— И что ж, тебе командировку выписали, чтобы за мной по курортам гоняться? Или ты здесь сам отдыхать собираешься?

— Да нет, я пока в Москве остановился. Там все мои вещи в гостинице лежат. А отдыхать к матери поеду. И командировку мне никто не давал.

— Так ты, значит, за свои кровные на поездах и такси раскатываешь?

— За свои...

Бирюков с недоверчивым восхищением оглядел Кирилла.

— Нда-а... Молодец ты все-таки. Первый сорт!..

Он быстро, словно боясь передумать, поставил визу в самом уголке чертежа и еще расписался на какой-то бумаге.

Кирилл Барабанщиков спрятал чертежи и бумагу в чемоданчик.

Покончив с деловой частью, Бирюков и Кирилл сели рядом и облегченно предались воспоминаниям.

— А это правда, что меня вспоминают в Заполярске?

— Честно говорю: вспоминают, Тихон Петрович.

— Ну, а ты-то помнишь, как мы эту самую электропечь строили? Первый сорт! Самую большую в Европе!

— Помню, как же!

— Морозище такой стоял, что транспортные ленты лопались. Кислородный шланг бросишь на землю — он рассыпается, как стеклянный. А мы с тобой, брат, работали и не рассыпались! Сейчас-то, как вообразишь все это, не верится даже.

— А знаете, Тихон Петрович, кто вас недобрым словом поминает и даже частенько приводит вас в качестве отрицательного примера? Раиса Кузьминична. Председатель нашего месткома. Помните, как вы ей культурные мероприятия срывали?

— Что-то не припомню.

— Ну как же! Это я всем рассказать должен... У нас, понимаете ли, там, в Заполярске, народ особый. Сорок градусов мороза, ветер тридцать метров в секунду, ночь непроглядная, а люди идут в театр на какую-нибудь там... «Филумену Мартурано». Только вот Тихон Петрович в театры ходить не любил. И в кино тоже... Удерет, бывало, домой, уткнется в чертежи — и точка! И подчиненных с собой заберет... У Раисы Кузьминичны из-за этого «полного охвата» не получалось. До сих пор ворчит: «Ограниченный человек!»

— Это я?

— Вы.

Бирюков беспомощно ухмыльнулся. А Кирилл обратился к киноартисту:

— Да-а, плохо бы вам, артистам, пришлось, если бы все зрители были такие, как Тихон Петрович. Вы ведь артист, да? Я вас сразу узнал. Вадим Померанцев, кажется?

Артист ликуяще взглянул на меня: вот видите!

— А я в этом году, между прочим, журнал «Искусство кино» выписал,— продолжал Кирилл.— Девушка на нашем почтамте даже удивилась немного: откуда, мол, и что это за географические новости? Или, верней сказать, кинематографические! Интересуюсь я вашим искусством. И даже хотел бы с вами поспорить!..

Кирилл подсел на полку к киноартисту, и мне неожиданно показалось, что они очень похожи друг на друга: оба плечистые, загорелые, крепкие. Я подумала, что Вадим Померанцев, должно быть, играет в кино именно таких вот «положительных героев современности», как Кирилл Барбанщиков.

По всему поезду разнеслась весть о том, что «среди нас находится» знаменитый киноартист. Всполошенные девицы прибегали из других вагонов, словно бы случайно заглядывали в наше купе, испуганно вскрикивали: «Ах, простите!..» — и потом долго хихикали и шушукались в коридоре: «Он! Неужели не узнала? Конечно, он!» Киноартист утомленно вздыхал, изнемогая от своей популярности. И украдкой поглядывал на меня: производит ли все это должное впечатление?

На станциях он прогуливался по перрону так скромно, с

таким самым обыкновенным видом, что это обращало на себя всеобщее внимание.

Однажды, вернувшись со станции, он небрежно, а в душе по-женски радуясь своему успеху, сообщил:

— Иду — и слышу: «Он едет с молодой женой. Говорят, у них брачное путешествие. Счастливая!» — Артист интимно уперся подбородком в мою верхнюю полку и тихо, грустно добавил: — А вы, между прочим, не испытываете никакого счастья...

Я и в самом деле не испытывала ничего, кроме досады. Постоянное внимание артиста мешало мне разговориться с Кириллом Барабанщиковым и разузнать у него кое-что о Заполярске. Эти сведения нужны были мне по весьма конкретным причинам.

Вечером Кирилл Барабанщиков, переодевшись в тренировочный костюм, беззвучно спал на верхней полке, прямо напротив меня: должно быть, совсем измотался в погоне за Бирюковым.

А сам Бирюков работал. Картонная пирамида на столике становилась все ниже: просмотренные папки вновь погружались в громоздкий чемодан. Как только вспыхнула настольная лампа, по-прежнему накрытая зеленой велюровой шляпой, Бирюков шумно потянулся и крякнул не то что на все купе, а едва ли не на весь наш вагон.

— Есть у меня одно предложение! — воскликнул он так, будто желал самого себя наградить за долгий и нелегкий дневной труд да и нам собирался преподнести неожиданный сюрприз.

Даже Кирилл Барабанщиков проснулся и свесил голову с верхней полки.

— А не забить ли нам, братцы, «козла»? — торжественно, с расстановкой произнес Бирюков.

Кирилл возвел руки к потолку и взмолился:

— Пощадите, Тихон Петрович! Не надо!.. Вы же такой стук и треск поднимете, что все поклонницы киноискусства разбегутся по своим вагонам.

Артист метнул на Кирилла укоризненный взгляд. Взгляд говорил: «Зачем так шутить? Я и сам ведь от них страдаю!» Хотя в душе он был, конечно, благодарен этим девицам. Он, по-моему, уже не мог жить без их истерического поклонения.

— Ну, положим, поклонницы выдержат, — словно не поняв укоризненного взгляда, продолжал Кирилл. — Но наш бедный, хрупкий столик разлетится вдребезги. Я просто ручаюсь!

— Тогда давайте, что ли, на моем чемодане... — рассудительно предложил Бирюков. — Он привык принимать на себя такие удары.

— Не-ет, Тихон Петрович! Придумаем лучше другое «культмероприятие». Ну вот, к примеру... не прочтет ли нам артист прозу... или стихи?

Я терпеть не могла, когда в обществе просили какую-нибудь знаменитость «порадовать своим талантом». Кирилл заметил мою гримасу и спросил:

— А что ж тут особенного? Я просто люблю стихи, честное слово. Если бы его не было, я бы сам почитал...

Я подумала, что Вадим Померанцев не любит стихов... Но он любил их, знал наизусть и читал негромко, вполголоса. Казалось, он рассказывал о своих собственных тревогах, надеждах и разочарованиях в любви.

Мы с Кириллом настороженно притихли на своих верхних полках.

В купе было так тихо, что колеса, казалось, стали отчетливее и громче выстукивать дробь на стыках шпал. И только Бирюков время от времени отвлекал нас своими замечаниями.

Он реагировал главным образом на те строки, которые были связаны с определенными географическими понятиями. Услышав, что «На хólмах Грузии лежит ночная мгла», он радостно, словно встретив старого знакомого, воскликнул:

— Видел я эти хólмы! И горы видел! Комбинат мы там новый открываем, в Грузии... Штаты никак утрясти не можем!

Вступление к «Цыганам» он решительно прервал в самом начале:

— По Бессарабии кочуют?.. Теперь уж не кочуют! Был я в Молдавии недавно, видел... Трест у нас там один. Вполне, я бы сказал, передовой!

Кирилл тихо взмолился сверху:

— Тихон Петрович, вы бы отдохнули от дел, а то опять то же самое: тресты, комбинаты...

Бирюков удивился, пожал плечами и притих.

Вадим Померанцев как-то незаметно, почти не делая пауз, переходил из одного стихотворения в другое. Страстно, но вполголоса он обращался к женщине, которая была единственной на всем белом свете и как будто бы находилась где-то тут, совсем близко, в нашем купе.

Я даже смущалась немного: ведь, кроме меня, женщин в купе не было.

Заметив, что он «произвел впечатление», киноартист решил тут же, не теряя времени и не дав мне опомниться, закрепить свой успех. Доверительно и все так же вполголоса, будто о каком-нибудь своем товарище по «Мосфильму», он поведал нам о том, что Пушкин в жизни был не всегда так лиричен, как в стихах, что он «дьявольски любил женщин»; а потом все так же проникновенно рассказал несколько старых анекдотов из жизни поэта. Дальше он незаметно соскользнул на другие анекдоты, уже не связанные с литературой, и пошел, и пошел...

Кирилл отвернулся к окну. И я тоже стала смотреть в окно, за которым летние южные пейзажи постепенно сменялись осенними. Дождевые капли маленькими прозрачными жуками, дрожа от холода, ползли по стеклу. На станциях пассажиры спешили к телеграфным окошкам и срочно сообщали родственникам в Москву: «Встречайте осенним пальто». Люди, спасаясь от холода, потеплее одевались, а в природе все шло наоборот: там, на юге, деревья были погружены в такие добротные зеленые наряды, что и ветвей было не разглядеть, а тут, в осеннюю непогоду, ветер срывал с деревьев последние одежды, и они стояли нагие, трепетавшие под мелким серым дождем.

Померанцев затих: видимо, задремал.

— Вы кем работаете? — тихо, не отрываясь от окна, спросил Кирилл.

— Я учительница.

— Учительница?! Я так сперва и подумал. А потом засомневался: все-таки уже октябрь, занятия в школе давно начались, а вы едете с курорта.

— Сейчас я в аспирантуре. На юге была по делам. Только вы, как говорит Бирюков, «за свои кровные» ездили, а я по самой обыкновенной командировке.

— Это здорово, что мы с вами оба оказались на верхних полках! — искренне обрадовался Кирилл, уже не

глядя в окно.— Я не педагог, я работаю инженером в рудоуправлении, но меня интересуют некоторые вещи... некоторые, как пишут в газетах, «проблемы сегодняшней педагогики».

Я вообще заметила, что его интересовали очень многие вещи: и бурильные станки, и проблемы кино, а теперь вот еще и педагогика.

— Вы о трудовом воспитании что думаете? — спросил он.

Я понимала: рассказывать ему о том, что все уже давно знали из газет и журналов, нельзя. Он ждал моих мыслей. Мне очень хотелось обосновать необходимость трудового воспитания так же доказательно, как он недавно обосновал полезность нового бурильного станка. Но я волновалась и не могла просто, по-человечески объяснить то, что хотела.

— Трудовое воспитание — это как раз тема моей диссертации. Я ездила сейчас в детский виноградарский совхоз: там и председатель — школьник, и бухгалтер — школьник, и все бригадиры — ребята. Но я не уверена в целесообразности такой формы. Все это показалось мне игрой в труд, а не настоящей работой. Я думаю: лучше, когда ребята работают рука об руку со взрослыми и видят, что это всерьез, по-настоящему. Элементы игры, конечно, присутствуют во всем, что делают дети, но, мне кажется, опасно превращать настоящее дело в этакую забаву. Об этом мы после еще поговорим...

Фразы помимо моей воли получались какие-то наукообразные и сухие, точно я отчитывалась на заседании ученого совета. Но он, кажется, этого не заметил.

— Мы обязательно с вами еще поговорим! Я уж теперь не отстану, пока все не выскажете.

— Потом выскажу. А у вас я тоже кое-что хотела разузнать... Раньше, до аспирантуры, я три года работала в школе. И вот один десятый класс, над которым я шефствовала, после окончания в полном составе отправился в Заполярск. Это я подсказала ребятам такую идею... Мы переписываемся. И скоро я, быть может, поеду к ним: очень хочется узнать, как ваш заполярный климат подействовал на их характеры, судьбы. Ведь в классе было тридцать три ученика — и каждый из них человек! Вы знаете их?

— Не очень хорошо: они в Западном поселке работают, а я на рудниках. Теперь-то уж я с ними познакомлюсь!

— Поинтересуйтесь, пожалуйста. Может, тоже возьмете шефство. Хотя в шефах они не очень нуждаются: руки у них золотые!

Он добродушно усмехнулся.

— Золотые руки!.. Об этом я и хотел с вами посоветоваться. Мы очень много шумим о «золотых руках». И это, с одной стороны, верно: белоручкам трудно приходится в жизни. Но только с одной стороны! Ведь можно же замечательно работать, по всем производственным показателям вихрем вырваться на первое место, а в душе быть самым что ни на есть...

— Да, это конечно... Это вполне может быть,— сказала я каким-то не своим голосом, еще не вполне улавливая его мысль.

— Стало быть, нельзя отрывать воспитание этих самых нашумевших «золотых рук» от воспитания «золотых душ», если так можно выразиться,— продолжал Кирилл.— Я часто бываю в одной школе...

«Должно быть, там учится его сын... или дочь»,— неожиданно подумала я.

— Я вот помню, когда сам в школе учился, мы о Базарове дискутировали. Я был безнадежно влюблен в Татьяну Ларину, а потом — в Катю Рощину... Ну, а в этой заполярской школе, которая чуть не на самом первом месте по трудовому воспитанию, Татьяна Ларина в глубокой опале. Там все больше о новых фильмах разговаривают.

— Трудовое воспитание никак нельзя отрывать от эстетического! — провозгласила я. И, устыдившись этой железной формулировки, стала с преувеличенным вниманием разглядывать то, что было внизу.

Хотя ничего нового там не происходило: киноартист очнулся от дремы и вновь завел свои анекдоты. Бирюков оглушительно хохотал, всем телом наваливаясь на столик и чуть не опрокидывал настольную лампу. Несколько раз он тоже пытался «проявить себя», но анекдоты его были невыносимо длинны, тягучи, и, главное, он почти всегда забывал концовку, в которой, по его словам, «и был самый смак».

— Странно... Как-то даже не верится,— сказал самому себе Кирилл, кивнув на артиста.

— О чем вы?

— Да вот не верится, что это он... читал недавно Пушкина...

Кирилл с любопытством и удивлением смотрел на Померанцева и Бирюкова.

И мне тоже не верилось, что один из этих людей недавно стихами говорил, будто бы о своих собственных чувствах... Мне не верилось, что другой тоже совсем недавно с таким увлечением и таким завидным знанием дела говорил о новом станке и об электропечи, которую он сам строил и которая самая большая в Европе!..

На наш вагон надвигался вирусный грипп. Причиной неожиданного бедствия была высокая сознательность и принципиальность нашего проводника. Проверая билеты на перроне курортного городка, он уже кашлял и чихал прямо в лица своим будущим пассажирам. А потом успокаивал:

— Чтобы я слег в пути — не будет этого!

У проводника были красные, воспаленные глаза, горло он обвязал вафельным полотенцем, но, заходя в каждое купе, бодро сообщал:

— Он думает, я ему сдамся, грипп окаянный! А я если бы и скарлатиной заболел, не оставил бы своих пассажиров. В пути я — на посту. И не покину его ни при какой температуре!

Он разносил кипяток, крепко настоянный на грузинском чае и вирусах. Пассажиры с опаской брали стаканы, а он успокаивал их:

— Я вас не брошу! Держусь из последнего! Не могу же я доверить вагон своему напарнику: зеленый еще...

Напарник его был не только зеленым, но и довольно ленивым пареньком, который на все просьбы и претензии пассажиров неизменно отвечал:

— Ничего-о, как-нибудь доедем.

На следующий день утром я почувствовала сильный озноб.

Киноартиста раздражали наши долгие разговоры с Кириллом. Накануне вечером, когда Кирилл вышел в коридор покурить, Померанцев вновь интимно прижался подбород-

ком к моей верхней полке и вполголоса насмешливо произнес:

— Ну, как вам беседуется в «подвешенном состоянии»? Я вижу, что вы не на второй полке, а прямо-таки на седьмом небе от такого соседства.

Но утром киноартист уже не прижимался подбородком к моей полке.

— И так этот грипп некстати,— процедил он, зябко поживаясь, набрасывая на плечи свой клетчатый пиджак и дыша в платок, продезинфицированный одеколоном.— У меня в первый же день приезда съемка. Еще не хватает заразиться и заболеть.

Бирюков, на минуту оторвавшись от своих папок, успокоил меня тем, что «грипп — это не рак и не скоротечная чахотка» и что «от гриппа никто еще из его знакомых не умирал».

Приняв какое-то решение, Кирилл подтянулся на руках и спрыгнул вниз.

— К сожалению, от гриппа еще иногда умирают,— сказал он, обращаясь ко мне.— Бывают такие случаи. Но вы не умрете. Ручаюсь! Сейчас мы вас будем лечить...

Он обвел глазами купе, раздумывая, с чего бы начать.

— Ваш чемодан, Тихон Петрович, мы оставим внизу. Наверху его держать опасно: упадет — разнесет вагон на кусочки. А папки ваши мы для начала переправим на вторую полку и вас самого туда же.

— А я что? Я ничего... Мне просто в голову не пришло. Я очень рад,— с кислым видом проговорил Бирюков.

Артист медленным, задумчивым шагом, делая вид, что погружен в свои мысли, отбыл в коридор. Лицо он до самых глаз занавесил платком, будто яркой, пестрой чадрой: он очень боялся вирусов.

Кирилл отправился к проводнику за градусником и лекарствами. Но ни градусника, ни лекарств в вагоне не оказалось.

— Микробы разносить вы умеете, а вот аптечка пустым-пуста,— слышался из коридора необычно раздраженный голос Кирилла.

— Вы напрасно, товарищ пассажир, волнуетесь. Я за аптечку не отвечаю. А по своей части я всегда на посту! — оправдывался проводник.

— Так вот запомните: с этой минуты ваш пост — в постели. И попробуйте только его покинуть!

Кирилл вошел в купе, нагнулся и без всякого предупреждения припал губами к моему лбу.

— У вас — тридцать девять, не меньше, — уверенно сказал он. — Когда я был мальчишкой, мама всегда так определяла температуру: губами...

— Эту часть медицинского обслуживания вы можете поручить мне, — сострил из коридора артист.

Кирилл строго-настрого запретил мне подниматься и снова куда-то ушел. Вернулся он минут через двадцать, неся в одной руке дымящийся котелок, а в другой — аккуратные пакетики.

— Это горячая картошка в мундире, — объяснил он. — Будем делать ингаляцию. А тут вот сода и соль — будем полоскать горло.

С детства я не любила, чтобы в дни болезни ко мне проявляли слишком большое внимание. Мама всегда шумно и нервно хлопотала у моей постели, без конца напоминая о лекарствах, тысячу раз спрашивая, не стало ли мне хуже, и во всем видя признаки грозно надвигающихся осложнений. Кирилл же проявлял свои заботы спокойно, уверенно и даже весело. Но все равно не хотелось, чтобы он видел мои воспаленные глаза, распухший нос и лихорадку на верхней губе. Мне очень хотелось в одиночку справляться с гриппом и температурой.

— Не надо, Кирилл... Отдохните, — просила я.

Но он не слышал моих просьб. И эта его бесцеремонность начинала раздражать меня. Я должна была испытывать чувство благодарности, а на самом деле злилась из-за невозможности хоть на время скрыться от его глаз и забот.

Последней большой остановкой была Тула. За окном летела на землю еле заметная дождевая пыль. Дождь был редким, мелким, но безнадежно долгим и нудным. Как только лязг сцеплений и буферов возвестил об остановке, Кирилл сразу направился к двери.

— Сбегаю за жаропонижающим. Дома я лечил бы вас нашими заполярными средствами: навсегда избавились бы

от простуд! А здесь, что делать, обратимся к старику-аспирину или к вашему излюбленному норсульфазолу. Нельзя же с такой температурой выходить в Москве из вагона! Надо сбить градусы.

Я была рада тому, что он хотя бы на двадцать минут исчезнет из вагона: мне нужно было встать, причесаться, умыться. Присутствие артиста и Бирюкова почему-то меня не смущало. Я попросила Кирилла заодно уж дать срочную телеграмму маме, чтобы она принесла на вокзал теплые вещи.

В окно я видела, как он без шапки, в своем тренировочном спортивном костюме легко перепрыгивал через лужи. «Обо всех ли он заботится так же, как обо мне?» — подумала я. Мне вдруг захотелось поверить, что ради другой женщины он не стал бы выпрашивать у повара в вагоне-ресторане котелок с картошкой или по крайней мере не забыл бы надеть кепку, выскакивая на станцию под дождем.

В дверях, под прикрытием своего платка, появился Вадим Померанцев.

— Наш «брат милосердия» умчался... В Тулу без своего самовара?

Сам покраснев от этой остроты, Померанцев с наигранным интересом осведомился:

— Ну, а здоровье-то как? Легче не стало? Все-таки ведь были брошены все новейшие средства исцеления, включая «картофельную ингаляцию».

Прошло еще несколько минут... И где-то совсем близко простуженным голосом, в тон погоде, прокричал тепловоз. Я так стремительно приподнялась на локте, что даже Вадим Померанцев поспешил успокоить меня:

— Это не мы...

Но в то же мгновение, желая возразить ему, негромко звякнули сцепления, и вокзал медленно поплыл назад, к хвосту нашего поезда. Я прильнула к окну... Я видела, как пассажиры, в одной руке зажав пирожки или бутылки с минеральной водой, другой хватались за поручни и на ходу вскакивали в вагоны. Но Кирилла среди них не было.

«Может быть, успел в другой вагон?» — с надеждой думала я. Но прошло минут двадцать, а Кирилл не появлялся.

Поезд набрал скорость, давно миновал привокзальные стрелки.

И вдруг мне стало не хватать его присутствия, его забот, от которых я еще недавно мечтала скрыться. Нет, он не мог отстать, он должен был услышать гудок и догнать поезд: ведь он спортсмен, такой сильный и ловкий!.. И ладно уж: пусть он видит мою лихорадку на верхней губе, пусть заставляет меня, с головой накрывшись одеялом, дышать парами горячей картошки... Я все думала, что вот сейчас, как это бывает в кино, появится весь промокший, но счастливо улыбающийся Кирилл и скажет: «Я вскочил на подножку последнего вагона!» Но он не вскочил... Он остался под осенним дождем без шапки, в лыжных брюках, в спортивной куртке и тапочках.

По вагону немедленно разнесся слух, что в Туле отстал от поезда артист Померанцев. Пассажиры то и дело всовывались к нам в купе:

— Ах, вы здесь? Как хорошо!

— А мы с подругой думали, не остановить ли поезд стоп-краном?

Бирюков неожиданно вспыхнул:

— Да, он жив, здоров и не кашляет! А Кирилл остался под дождем. Вот в чем задача!..

Он свесил ноги вниз, с моей бывшей полки, потом тяжело, всем телом, повис в воздухе, неловко ища точку опоры. Вадим Померанцев с виноватой поспешностью подставил ему под ноги лесенку.

Припелся высокосообразный проводник с завязанным горлом, которого Кирилл уложил в постель.

— Остался, значит, этот... оголтелый? Так я и знал: нельзя было мне с поста уходить! Приеду в Москву — рапорт напишу: стоянку-то сократили из-за опоздания, а по радио ничего не объявили. Заснула небось эта девица, которая объявляет... Она заснула, а он теперь под дождем бежит, несчастный... Обязательно напишу рапорт!

У дверей он задержался:

— А вещи-то его где?

— Здесь его вещи. Здесь! — вперегонки бросились к чемоданчику Кирилла Бирюков и Померанцев.

— Надо будет сдать в багажное отделение, — сказал проводник, вздыхая и горестно покачивая головой: как же это я допустил?!

— Нет уж, простите, вы заразили полвагона своими вирусами, и выходит, что Кирилл из-за вас от поезда отстал. Так что не вмешивайтесь! — внезапно и несправедливо, как мне показалось, набросился на проводника раздосадованный Бирюков.

Тот отступил к двери, испуганно поправляя на шее вафельное полотенце.

— Мы с ним, можно сказать, товарищи по работе, и я сам отвезу чемодан. И все остальное... Узнаю, в какой он гостинице остановился. Туда и отвезу! — Бирюков открыл плоский, квадратный чемоданчик. — Вынужденное, так сказать, вторжение, — смущенно объяснил он.

Внутри были чертежи бурильного станка «СБ номер два», папка с белыми тесемками и тщательно отглаженные рубашки Кирилла.

— И как это у их брата холостяка все аккуратно получается, — хрипло подивился Бирюков.

— У кого? — переспросила я.

— У холостяков, говорю...

Я вдруг забыла о своей температуре. И попросила:

— Разрешите мне забрать эти вещи... И отвезти их в гостиницу.

— Еще чего! Больная — и потащите, — махнул рукой Бирюков.

На меня он почему-то не злился, хотя, по справедливости говоря, Кирилл остался в Туле именно из-за меня.

— Разрешите все-таки! — еще раз твердо попросила я и встретила глазами с Вадимом Померанцевым.

— Конечно... Пусть она отвезет, — неожиданно поддержал меня артист.

— А вы что, тоже его сотрудница будете? — робко стоя у двери, любопытствовал проводник.

Бирюков взглянул на меня, помялся немного и через силу, ворчливо подтвердил:

— Все мы тут... товарищи по работе...

— Тогда придется акт составить и расписочку с вас, девушка, взять, — с опаской поглядывая на Бирюкова, сообщил проводник. И скрылся в коридоре.

Еще недавно я не думала о том, встретимся ли мы с Кириллом в Москве. Я знала, что дорожные знакомства, как и курортные, чаще всего обрываются, не имеют продолжений.

А теперь я смотрела на этот маленький чемоданчик как на счастливую находку и знала, что не уступлю ее никому.

— Ага! Вот она! — громко провозгласил Бирюков, победно потрясая в воздухе какой-то квитанцией. — Он остановился в гостинице «Турист», за Выставкой. Эх, чудака-человек, не мог уж к нам в отдел обратиться: мы бы его в «Москве» в два счета устроили... Скромность его, чудака, заедает.

Беда, случившаяся с Кириллом, неожиданно как-то сблизила нас троих. И Померанцев и Бирюков, словно по завету Кирилла, стали проявлять обо мне заботу. Вадим спрятал в карман свой пестрый продезинфицированный платок и даже собрался бежать в вагон-ресторан за котелком с горячей картошкой. Но Бирюков рассудительно объяснил ему, что мы скоро приедем, мне придется выйти на улицу, дышать там холодным воздухом и что поэтому ингаляцию делать не стоит.

Вскоре побежали за окнами знакомые дачные поселки и платформы, такие оживленные летом и такие пустынные в позднюю осеннюю пору... А потом я увидела через окно, как на московском перроне Вадим Померанцев нежно расцеловывал свою «неудавшуюся семейную жизнь»; а моя мама с лихорадочно ищущим взглядом, какой бывает у всех встречающих, несла на руке свою старую шубу, хотя вполне достаточно было бы принести на вокзал мое собственное демисезонное пальто.

Целый день я звонила в гостиницу «Турист». Телефонистка под номером три, манерно произносившая: «Триетий!», уже стала узнавать меня и раздраженно отвечала:

— Там в номер, наверно, звонки не проходят!

— А вы позвоните подольше, — каждый раз просила я.

— Вы у меня не одна на проводе! — отвечала телефонистка и исчезала из трубки.

Под вечер я позвонила дежурной по этажу.

— Командировочный из семнадцатого номера только что пришел, — сообщила она. — Должно, на спортивных соревнованиях был: в лыжных брюках, а сам весь мокрый...

Потом я услышала голос Кирилла:

— Как там у вас с температурой?

— Хорошо! Тридцать восемь и пять!.. Я привезла ваш

чемодан. И костюм тоже! Они вам, наверно, очень нужны? Хотите, мой брат привезет их в гостиницу? Сейчас же привезет!

— Нет, не надо. А ведь если бы я не остался в Туле... и если бы не эти вещи, мы бы с вами, пожалуй... Знаете что?..

Он замолчал на миг. И я напряженно затаилась: неужели он скажет, что нарочно отстал от поезда или что он благодарен девице, забывшей объявить, что стоянка поезда сокращается?! Нет, это было бы слишком похоже на артиста Померанцева. Кирилл же сказал совсем иное:

— Я был уверен, что мои вещи привезете именно вы! И даже собирался ехать к вам домой. Честное слово, вернулся на звонок... уже из коридора.

— Но как вы нашли бы меня? Без адреса, без фамилии?..

— Я знаю адрес. И фамилию знаю.

— Откуда?!

— Откуда? А кто давал телеграмму вашей маме?..

Я НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ...

(ИЗ ДНЕВНИКА МАЛЬЧИШКИ)



Сегодня в моей жизни произошло радостное событие: я получил двойку по физкультуре. Я очень не высоко прыгнул в высоту, не длинно прыгнул в длину и перепутал все гимнастические упражнения.

Сначала ничего радостного в этом не было. Учитель по физкультуре напомнил мне о том, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе, и сказал, что мне шесть лет назад лучше было бы поступить в другую школу, которая не на таком почетном месте в районе, как наша. На перемене классная руководительница предупредила меня, чтоб я не думал, что физкультура — это второстепенный предмет. И сказала, что вообще стоит только начать: сегодня двойка по физкультуре, а завтра — по литературе или даже по математике (наша классная руководительница — математичка). А староста класса Князев просто сказал, что я хлюпик.

Но зато на следующей перемене ко мне подошел наш десятиклассник Власов, который никогда бы не подошел ко мне, если бы не эта двойка. Вообще-то фамилия его не Власов. «Власов» — это его прозвище, потому что он самый сильный у нас в школе.

На одном спортивном вечере старшеклассники делали пирамиду, а Власов был как бы ее основанием: на нем стояло и висело человек пять или шесть (сейчас уж точно не помню), а он преспокойно, растопырив ноги, всех на себе держал!

И вот этот-то самый Власов, который может удержать на себе столько людей сразу, подошел ко мне и сказал:

— Нам с тобой, я так думаю, поговорить нужно, Кеша. Пойдем куда-нибудь. А то тут, я смотрю, глазают со всех сторон.

Власов, конечно, своим ростом очень выделялся на нашем этаже, среди шестиклассников. Но никто бы все равно глазеть на него не стал, если бы он не был самым сильным во всей школе. А тут все, конечно, глазели.

Я хоть и растерялся, но сразу сообразил, что никуда уходить нам не нужно: пусть все видят, что ради меня сверху спустился сам Власов и запросто прогуливается со мной по коридору.

И мы стали прогуливаться...

— Ты, я так слышал, двойку схватил? — сказал Власов.

Ах, вот в чем дело! Власов ходил вразвалочку. И говорил тоже вразвалочку, негромко и неторопливо, переминаясь со слова на слово. В общем, ребята не слышали, о чем он меня спрашивал. А я, чтобы сбить всех с толку, отвечал ему во весь голос и с веселой такой улыбкой на лице:

— Верно! Правильно! Было такое дело!

— Ты, я так думаю, слышал, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе?

— Слышал! А как же!.. — радостно ответил я.

— Это хорошо, разумеется, что ты не падаешь духом. Но двойку твою исправлять надо. Чтобы вся школа не сползала из-за тебя вниз по спортивным показателям.

— Еще бы! Можете на меня положиться!

— Нет, сам ты не сумеешь... А выходить надо, друг, из

этого постыдного положения. Мне вот и поручено помочь тебе.

— Ха-ха-ха! Это замечательно! — воскликнул я, будто мы говорили о каких-нибудь очень приятных вещах.

— Где же мы будем с тобой заниматься? — продолжал Власов, немного озадаченный моим смехом.

— В спортивном зале! Или внизу, во дворе...

— Это, я думаю, не подойдет. Серьезной работы там не получится: мешать будут.

«И в самом деле, — подумал я, — если мы будем заниматься в спортивном зале или во дворе, все сразу поймут, что Власов приходил ко мне из-за двойки!»

А ребята между тем даже бегать по коридору перестали, тыкали в нас пальцами и сообщали друг другу:

— Смотри! Смотри — Власов нашего Кешку обнимает!

Вообще-то он меня не обнимал, а просто положил руку мне на плечо: наверно, жалел меня, сочувствовал мне, как двоечнику. Не понимал, что я в этот момент — самый счастливый человек на всем нашем этаже! Ну, а со стороны казалось, что он меня обнимает...

— Я так думаю, удобней всего будет дома, — сказал Власов.

— У тебя?.. То есть у вас? — спросил я.

— Называй меня на «ты». Неважно, что я в десятом классе. Все, как говорится, там будете!

— Значит, у тебя дома?

— Лучше, я так думаю, у тебя. В привычной обстановке ты быстрее добьешься успеха.

Власов придет ко мне домой! Это даже во сне не могло присниться!.. Сам Власов!

И хоть дом мой совсем близко от школы (всего пять минут бега!), я очень долго объяснял Власову, как до него добраться.

Так я растянул наш разговор на всю перемену. Это произвело на ребят очень большое впечатление.

— Кеша, а Кеша... О чем он с тобой разговаривал? — спросил староста Князев, тот самый, который еще час назад назвал меня хлюпиком.

— Да есть у нас с ним одно дело, — ответил я.

— У тебя с Власовым?!

— Да. С ним.

— А о чем он тебя спросил? Ты еще ответил: «Можете на меня положиться!»

— Не могу сказать: это, знаешь, неудобно... Есть у него ко мне одна просьба.

— К тебе?!

— Что ж тут такого? Он еще сегодня часа в три ко мне домой зайдет... Ну, а у тебя, Князев, что нового?

* * *

Ровно в три часа я вышел к подъезду встречать Власова. Просто не усидел дома.

И вдруг я почувствовал, что за мной следят. Бывает так, что чувствуешь чужой взгляд на расстоянии. Даже спиной чувствуешь или затылком. А тут наблюдали прямо из подворотни дома, который стоял напротив, через дорогу.

Это были ребята из нашего класса во главе со старостой Князевым.

Все ясно: явились проверять, придет ли ко мне Власов.

Я, конечно, сделал вид, что никого из них не заметил.

А минут через пять или десять показался Власов. Он шел не торопясь, высокий и красивый такой... Я прямо залюбовался. Мысленно залюбовался, потому что из подворотни за мной наблюдали ребята.

— Зачем же это ты на улицу вышел? — удивился Власов. — Я так полагаю, нашел бы твою квартиру сам.

— Ничего, ничего, не смущайся! — громко, чтобы меня услышали в подворотне, сказал я. И, приподнявшись на цыпочки, похлопал Власова по плечу.

Но когда Власов поднялся к нам на третий этаж, он и в самом деле как-то засмущался. Вместо того чтобы сразу приступить к занятиям по физкультуре, стал для чего-то разглядывать фотографии двух моих дедушек и одной бабушки, которые висели на стене.

— А бабушка у тебя была, надо так думать, красавица... — задумчиво произнес он.

— Почему «была»? Она и сейчас жива и здорова.

— Нет, я в смысле ее внешности... Очень красивая! Вот здесь, значит, вы и живете? В этих двух комнатах?

— Да. А там, в других двух комнатах, есть соседи, — стал объяснять я, словно был экскурсоводом по нашей квартире. — И ванная комната еще есть. И кухня.

— Хорошо! — сказал Власов. — Очень у вас хорошо.

Он каким-то странным и даже, как мне показалось, мечтательным взглядом обвел стены, и шкаф, и буфет, и стол, и стулья, и все вообще, что есть у нас в комнате. А потом вдруг спросил меня:

— Ты, Кеша, физик или лирик?

Физику мы еще только начали проходить, а литературу я давно люблю и поэтому ответил:

— Все-таки, наверное, я лирик...

— Ну, а где мы с тобой будем прыгать через веревку?

— Лучше всего в коридоре, — сказал я. — Он — длинный.

Веревку Власов принес с собой. Мы зацепили один ее конец за ручку нашей двери, другой конец держал Власов. Но тут раздался голос соседки:

— Что такое случилось? Перегородили коридор! Нельзя пройти в кухню!

— Простите, пожалуйста, — сказал Власов. — Мы этого не учли. Сейчас мы это исправим.

Увидев Власова, соседка вдруг заулыбалась, зачем-то погляделась в зеркало, которое висит у нас в коридоре, рядом с вешалкой, и сказала:

— Ничего, ничего... Я могу легко, как мышка, прошмыгнуть под веревкой. Это даже оригинально.

Ага, испугалась! Но откуда она узнала, что он самый сильный во всей нашей школе?!

— А может, пойдём во двор? — предложил я.

— Нет, во двор не пойдём, — сказал Власов. — Лучше попробуем в комнате.

«Не хочет срамить меня перед ребятами! — решил я. — Напрасно, конечно, волнуется: у нас во дворе ведь про двойку никто не знает! Сказал бы, что готовлюсь к соревнованиям, — и все. Но уж раз он такой заботливый...»

Мы повесили веревку в комнате. Я прыгнул два раза в высоту, один раз в длину... И тут пришел сосед с нижнего этажа.

— Что, вы решили пробить потолок?

Сосед, видно, не узнал во Власове нашего школьного чемпиона. И прыжки пришлось прекратить.

— Тогда займемся гимнастикой,— сказал Власов.

Но потом вдруг снова стал разглядывать портрет моей бабушки. И сказал:

— Давай немножко поговорим.

Наверно, ему не хотелось сразу приступать к гимнастическим упражнениям. А может быть, он действительно захотел подружиться со мной... Что из того, что он в десятом классе, а я только в шестом! Это ничего не значит. Ведь дружит же мой папа с одним инженером, который старше его на целых пятнадцать лет!

Но тут, как назло, пришла моя сестра Майка. Она младше Власова на целый класс. Но он ведет себя очень просто и скромно, а Майка невозможно задается. Потому что все считают ее красивой. Эта Майкина красота мне житья не дает. Почти никто из взрослых не называет меня по имени, а все говорят: «Это брат той самой красивой девочки из девятого класса!», «Это брат той самой красотишки из тридцать третьей квартиры!..»

Как только Власов увидел Майку, он сразу передумал со мной разговаривать (какие могут быть при ней серьезные разговоры!). Он сбросил куртку и остался в рубашке без рукавов. Тут только я увидел вблизи, какие у Власова потрясающие мускулы и загорелые руки! На нем были синие спортивные брюки с резинками внизу, поэтому ног я не видел, но и они, тоже были очень, наверно, красивые и загорелые.

— Сегодня ты будешь только смотреть и запоминать!

И он стал выделять такие гимнастические номера, запоминать которые мне было совершенно бесполезно, потому что я все равно никогда в жизни ничего подобного не смогу сделать.

Власов ходил на руках по нашей комнате, чуть не задевая ногами за абажур висячей лампы. Потом поднимал стул одной рукой за одну ножку и долго держал его в воздухе. Потом сделал «мостик» и там, на полу, соединил свои загорелые руки со своими ногами...

Но Майка на все это даже смотреть не стала. Она вышла в другую комнату и захлопнула за собой дверь.

Я немного погодя тоже забежал туда и говорю:

— Что это ты даже не поздоровалась?
— Нашли где физкультурой заниматься! — сказала она.
— Ты с ума сошла, что ли? Не узнаешь его?
— Прекрасно узнаю.
— Это же Власов! Сам Власов!
— Подумаешь!..
— Он пришел, чтобы немного потренировать меня. Понимаешь?
— Вот и тренировались бы в спортивном зале. Смешно: в комнате ходить на руках!..
— Можно подумать, что не он сильнее всех в школе, а ты! Власов первый и, может быть, даже последний раз в жизни пришел к нам в дом! Все нам завидуют! А ты уходишь в другую комнату! Посмотри, какие у него мускулы... У тебя есть такие мускулы?
— Еще чего не хватало!
— А ты вообще когда-нибудь видела такие мускулы?
— Подумаешь! — ответила Майка.
Это ее самые любимые слова: «Смешно!» и «Подумаешь!» Я понял, что спорить с ней бесполезно.

* * *

Через три дня я уже вполне мог бы исправить свою двойку. Но я исправлять ее не хотел. Все эти три дня Власов приходил к нам, и мои приятели просто погибали от зависти. Я прекрасно понимал, что, если двойка исправится вдруг хотя бы на тройку, я уже никогда не увижу Власова у себя дома и никто больше мне не будет завидовать.

Власов тоже считал, что спешить не следует.

— Надо, я так полагаю, исправить твою отметку основательно: раз и навсегда! Поэтому никакой такой торопливости, я уверен, быть не должно.

Но староста Князев, наоборот, очень торопился. Он пригрозил написать в стенгазету о том, что я тяну назад всю нашу школу.

Как я мог один тянуть куда-то целую школу, мне было совершенно непонятно.

Но двойку все же пришлось исправить.

— Наконец-то! Поздравляем! — говорили ребята.
— Спасибо, — печально отвечал я.
— Что это ты такой грустный? — удивлялись мои приятели.

— Устал. Перетренировался...

Но на самом деле я мысленно прощался с Власовым. Навсегда... И это было так грустно, что даже хотелось плакать.

* * *

Сегодня в тот час, когда ко мне, бывало, приходил Власов, в прихожей раздался звонок. Теперь уж это не мог быть он, я знал... И подумал, что долго, наверно, звонок в этот час будет напоминать мне о Власове. Но делать нечего, пошел открывать.

Передо мной стоял Власов! И странно: он тоже смотрел на меня с удивлением, будто не ожидал увидеть.

— Ты, значит, здесь?.. — спросил он, что-то соображая.

— Ну да... Уроки ведь кончились, — отвечал я так, словно нужно было объяснять, почему я нахожусь у себя дома.

— И ты один? — продолжал он тем же странным каким-то тоном.

Я кивнул.

— Думаешь сейчас, я уверен: зачем Власов пришел? Так, да?

«Наверно, хочет поздравить меня с исправлением двойки!» — предположил я.

— А пришел я вот зачем... — сказал он. И помедлил немного, будто вспоминал, зачем же именно. — Я, понимаешь, задумал отправиться в дальнейшее путешествие. Не в одиночку, конечно... Одному — куда же?

«Неужели?!» — мелькнуло у меня в голове. И я затаил дыхание.

— Нужен мне спутник, — продолжал Власов медленно, еще медленней, чем всегда. — И... я так думаю, ты вполне подойдешь.

Я молчал. Я от восторга потерял голос. И вообще боялся сказать что-нибудь не то, чтобы Власов не разочаровался во мне и не передумал. Но все-таки спросил:

— А куда мы?..

— Вот верно: куда?.. — подхватил Власов, словно это и для него было не совсем ясно. Он наморщил лоб. А потом заговорил быстро, так, точно боялся остановиться: — Есть на нашей реке островок. Небольшой, но зато абсолютно необитаемый! Корабли обходят его стороной. И на лодках туда не заплывают: далеко все же! А мы с тобой поплывем. Проведем там денек, ночь переспим. А потом... ну да, обязательно зароем бутылку в песок с таким сообщением: «Здесь впервые провели целый день и проспали целую ночь...» И поставим свои имена и фамилии, как полагается. Вот.

— А зачем? — спросил я. И сразу испугался, что вопрос получился глупый.

Но, видно, Власову он таким не показался.

— Зачем... — повторил он, как будто и ему это на миг стало не очень понятно. — Да. Зачем?.. А затем! — прямо-таки закричал он вдруг. — Водрузим вымпел! Закрепим весь этот остров за нашей школой. И назовем его так: остров Футбольного Поля.

— Футбольного Поля? — переспросил я.

— Конечно! У нас ведь, ты знаешь, двора никакого при школе нет. В футбол погонять негде. А мы туда, как говорится, проложим маршрут. И будут по нему потом наши футбольные команды на матчи ездить. Простор там!

— Еще бы! — восхитился я. — Полная необитаемость!..

— Только Майе ничего не говори, — предупредил меня Власов. — Насмехаться начнет: «Подумаешь, робинзоны!..» И еще что-нибудь такое придумает. И, я так полагаю, обязательно расскажет твоим родителям, а они...

— Я ей ни за что, ни под какой пыткой не расскажу!

— А сам начинай понемногу готовиться к путешествию. Успех, как ты понимаешь, во многом зависит от подготовки. Пораскинь со своей стороны мозгами... Поплывем мы, я так думаю, в первый день летних каникул. Ну, до этого мы еще не раз увидимся. Да...

Он помедлил, рассеянно так окинул взглядом стены и неожиданно сказал то, чего я от него в тот момент никак уж не ожидал услышать:

— Бабушка у тебя, несомненно, то же красавица!

Эту фразу я от него, правда, уже слышал, только без «тоже»!

«Что значит — тоже? — не понял я. — А кто еще? Я, что ли, красавица?»

Я размышлял об этом и после, когда Власов уже ушел. И еще я думал о том, как это странно, что где-то на белом свете уцелели необитаемые острова... Я в них давно не верил. Думал, что они существуют только в книжках. Но Власов нашел такой остров! Нашел! А Майка еще смеет говорить о нем: «Подумаешь!»

* * *

Сегодня мы начали готовиться к путешествию. Власов принес карту всей нашей области и показал, куда именно мы поплывем и где примерно находится остров Футбольного Поля. По карте выходило, что мы проплывем какие-нибудь полсантиметра, но я-то знал, что плыть нам придется больше пяти часов!

— Мы спустимся вниз, к острову, на байдарке, — сказал Власов. — Грести будем по очереди.

Я сознался, что никогда на байдарках не плавал и грести одним веслом не умею.

— Я так думаю, что тебе нетрудно будет научиться, — успокоил меня Власов.

Он положил стул на пол. Сам тоже сел на пол, прямо между ножками стула. Оперся спиной на обратную сторону сиденья, а руки положил на ножки, словно на борта нашей будущей байдарки. Вместо весла взял половую щетку и стал учить меня грести и управлять лодкой.

Потом я раз пять садился на пол, и он тоже еще раз пять усаживался между ножками...

А потом неожиданно появилась Майка — она всегда появляется неожиданно и тогда, когда ей бы лучше не приходить! В тот момент на полу как раз сидел Власов. Он почему-то очень смутился, покраснел... Стал торопливо подниматься, задел за ножку стула, споткнулся и чуть не упал.

Майка бестактно расхохоталась.

— Глупо! — сказал я ей. — Над кем смеешься?!

И чтобы сбить сестру с толку, стал объяснять, что продолжаю свои тренировки по физкультуре, а Власов мне помогает.

— Надо совсем запутать следы, — тихо сказал я Власову. — Чтобы она ни о чем не догадалась!

Тогда он, усевшись за стол, стал рассказывать мне всякие истории. Но громко, чтобы и Майка тоже услышала...

Я узнал от него про хитрого фараона Хирена. Этот фараон построил для себя целых две пирамиды: одну — настоящую, а другую — фальшивую, чтобы обмануть грабителей, которые обворовывали гробницы. И внутри пирамид он понаделал разных ловушек: встанешь на каменную плиту, а она вдруг проваливается — и кубарем летишь в колодец.

— Жалко, что этот твой Хирен умер, — насмешливо сказала Майка.

— Почему? — удивился Власов.

— Очень бы он в угрозыске пригодился.

— Но пирамиды-то все равно ограбили, — сообщил Власов. — И настоящую и фальшивую...

— Откуда ты знаешь? — задала Майка очередной свой глупый вопрос.

— В книжке прочел, разумеется.

— Ах, в кни-и-жке! — разочарованно воскликнула Майка. Будто Власов мог сам лазить по фараоновым гробницам. Но все-таки присела к столу...

Власов продолжал рассказывать о всяких необычайных вещах. О китах, которые, кончая жизнь самоубийством, выбрасываются на берег Тихого океана. О каком-то человеке, который не спит вот уже двадцать лет!

Майка больше не задавала своих ехидных вопросов. А мне было жалко несчастных китов, которые кончали жизнь самоубийством. Я очень завидовал человеку, который умудрился столько лет подряд не ложиться спать. И я очень злился на Майку, которая мешала нам готовиться к путешествию...

* * *

Вот уже пятый день я ем только те продукты, которые быстро портятся. А те, которые не портятся, складываю в ящик письменного стола, где лежат мои учебники и тетради. Складываю туда сыр, колбасу, печенье, конфеты... Я решил, что все это мы захватим с собой в путешествие.

Но готовиться к своему походу мы уже пятый день не можем: Майка перестала уходить из дому. Явится после школы — и сидит в комнате, будто ее приковали. Она делает это нарочно, из вредности, чтобы помешать нам.

И Власову приходится сидеть рядом с ней за столом и рассказывать разные истории, вместо того чтобы учить меня управлять байдаркой. Власов, конечно, в душе возненавидел Майку, но не показывает виду. Потому что он спортсмен и умеет владеть собой. А Майка слушает и никуда не уходит.

Наверно, придется перенести наши тренировки в другое место. Завтра скажу Власову...

* * *

Сегодня вечером я убедился, что колбаса все же портится довольно быстро.

Неприятный запах заставил маму принюхаться. Она пошла по этому запаху, как по следу, и обнаружила в моем ящике склад продуктов.

— Зачем это, Кеша?! — воскликнула мама.

— Просто так... чтобы не тревожить тебя по ночам, — ответил я.

— По ночам?! — изумилась мама.

— Ну да... Иногда ночью у меня вдруг разгорается аппетит. Это бывает довольно часто. Что тогда делать? И вот я, чтобы никого не будить...

— Ночью есть очень вредно, — сказала мама, — это доказано медициной.

И ликвидировала мои запасы.

Но, ложась спать, я заметил на стуле, возле своей кровати, бутерброд с сыром и яблоко.

— Это прекрасно, — громко сказал я. — Проснусь среди ночи, поем немного и снова усну.

Я в самом деле проснулся... Взял все, что лежало на стуле, и спрятал в более надежное место: в книжный шкаф, за тяжелые тома энциклопедии, к которым у нас никто никогда не прикасался.

Никто, кроме меня... А я теперь по вечерам стал изучать энциклопедию. Ведь если мы с Власовым будем на острове вдвоем, он же не сможет все время, не закрывая рта,

сообщать мне про всякие чудеса. Он устанет, и вообще ему будет со мной скучно... Я тоже должен буду сообщить ему что-нибудь сверхъестественное!

И вот я стал читать энциклопедию и даже кое-что выписывать из нее в тетрадку.

Я узнал, например, что киты, которые иногда кончают жизнь самоубийством, делятся на два семейства: на гладких китов и на полосатиков. Мне очень понравилось это слово: «полосатики»! И еще я узнал, что знаменитый китовый ус расположен совсем не там, где растут усы у людей, то есть не под носом, а во рту!

В энциклопедии так прямо и написано:

«Киты имеют вместо зубов систему из двухсот — четырехсот роговидных пластин, называемых китовым усом, свешивающихся с поперечных валиков нёба...»

Эти строки я выписал в тетрадку.

А вдруг, на мое счастье, Власов всего этого не знает?

* * *

Сегодня я немного задержался в классе. Князев устроил собрание на тему: «Спорт — лицо нашей школы!»

Я взял и рассказал о том, что скоро отправлюсь с Власовым в одно дальнее путешествие. Ведь мне не было запрещено говорить об этом ребятам.

Я только Майке не имею права говорить, потому что от нее об этом сразу узнает мама. А если мама узнает, то ужасно перепугается и никуда меня не пустит.

Ребята мне очень завидовали. Князев даже сказал, что таким образом укрепляется связь разных поколений. Я, значит, по его мнению, одно поколение, а Власов — другое! Одним словом, домой я вернулся в прекрасном настроении.

Прихожу, а Власов уже у нас. Зашел пораньше: хотел, наверно, застать меня одного. А застал вместо меня Майку: она всех своих подруг позабывала и после уроков летит, как ракета, прямо домой.

Мне кажется, она хочет, чтобы и Власов тоже заикался и потел в ее присутствии, как другие мальчишки. А добилась совсем другого: вывела Власова из себя! Даже он — лучший спортсмен во всей нашей школе! — не выдержал:

когда я вошел, он не сидел за столом, как обычно, а метался по комнате, весь взбудораженный. Ну, точно такой, каким он был, когда поднялся с пола и зацепился за стул. Или даже еще взволнованнее!

Наверно, он как следует отчитал Майку, потому что она ему что-то отвечала тоже очень взволнованно. Но когда я вошел, сразу замолчала, смутилась и села на диван. Наша Майка смутилась! Этого еще никогда не бывало! Дошло, вероятно, до ее сознания, что она нам мешает. В таком деле, которого даже понять не может! Потому что никогда еще на необитаемых островах не была. И тем более не ночевала!

Власов сразу подошел ко мне и тихо, шепотом, говорит:

— Кеша, сбегай, пожалуйста, срочно ко мне домой. Там у меня на столе, рядом с чернильным прибором, компас лежит. Он, я так думаю, нам с тобой сегодня весьма пригодится. Только сейчас же беги. Не задерживайся!

«Ага,— думаю,— значит, Майку уговорил! Не будет она нам больше мешать! Мы путь сегодня наметим. Я научусь управлять байдаркой, компасом пользоваться... Это нам все пригодится!»

Власов хотел мне свой адрес на бумажке написать. Но я остановил его:

— Скажи так, на словах: я повторю и запомню!

«Пусть,— думаю,— знает, что у меня память хорошая!»

Власов жил не так уж далеко. Но я все равно побежал проходными дворами, чтобы путь сократить. Ворота в одном месте были закрыты, а я через них перелез. И опять побежал. И не заметил даже, что у Власова в доме есть лифт. Только потом заметил, когда уже вниз спускался. А вверх, на шестой этаж, я мигом взлетел!

Позвонил три раза, как Власов просил, но никто мне дверь не открыл. Тогда я один раз позвонил, потом два раза: может, думаю, из соседей кто-нибудь дома? Никого не было... Я ухом к замку прильнул, но шагов не услышал. Только вода из крана на кухне капала... Это было слышно.

Путешественник должен быть настойчивым и упорным! Все, что ему нужно, он должен найти, разыскать и достать. Хоть под землей, хоть под водой!

И я твердо решил: без компаса домой не возвращаться! На улице я очень хитро и находчиво поговорил с дворничихой. И она мне уже буквально через минуту сообщила, что

мать Власова работает тут же, рядом — в домоуправлении.

Я спустился в полуподвал — и сразу узнал мать Власова, хоть никогда раньше ее не видел. Сам Власов был высоким, широкоплечим, красивым, а мать его была худенькой, совсем незаметной, но все равно была очень похожа на своего сына.

Я объяснил ей, в чем дело... Она смотрела на меня как-то подозрительно, с недоверием. Тогда я назвал номер нашей школы, имя и отчество классной руководительницы Власова, имена и фамилии некоторых его одноклассников и даже упомянул, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе. Власов будет очень доволен, когда узнает, что я и тут проявил находчивость. Завоевал доверие его матери!

Она убедилась наконец, что я — это я, что пришел я от самого Власова, с его личным заданием.

Мы сели в лифт и поехали на шестой этаж. А через несколько минут компас уже был у меня в руках: кругленький, отполированный такой... Я на обратном пути все время его поглаживал.

Снова я прошмыгнул проходными дворами, перелез через ворота. И, запыхавшись, примчался домой. Но там никого не было...

Я не поверил своим глазам. Заглянул под стол, за буфет, за книжный шкаф.

Никого не было.

Как же так?

Наверно, Майка сказала Власову что-нибудь... чего он не мог стерпеть и ушел. Нельзя было оставлять их вдвоем! Нельзя!

Куда же бежать? Где искать Власова?

Я решил все-таки ждать дома: может быть, он вернется?

А чтобы время шло побыстрее, я сел и написал в своем дневнике обо всем, что сегодня случилось.

* * *

Ждал я долго.

Я успел описать в дневнике все, что случилось со мной утром и днем. Потом я написал на отдельном листке сообщение о том, что мы с Власовым первыми среди всех людей

на земле провели целый день и целую ночь на острове Футбольного Поля.

Я запихнул эту бумажку в пустую бутылку из-под «Ессентуков», которые мой папа пьет перед обедом, а Власов все не возвращался...

Наконец раздался звонок. Я бросился открывать дверь. Это была Майка. Но я сперва даже с трудом узнал ее: Майка была какая-то странная. Сказала мне спасибо за то, что я открыл ей дверь.

Раньше она никогда ни за что меня не благодарила.

— Ты один, Кешенька? — спросила она.

Я чуть не упал... Всегда я был просто Кешкой, иногда даже Иннокешкой, потому что полное мое имя — Иннокентий. «Наверно, замаливает свои грехи! — решил я. — Выгнала Власова, а теперь опомнилась и подлизывается. Ничего у нее не выйдет!..»

— Ты сказала Власову такое... что он из-за тебя ушел, да? Сознайся!

— Из-за меня ушел? — с глупой какой-то улыбочкой переспросила Майка. — Скажи лучше, что он из-за меня пришел!

— Куда?

— Сюда, к нам.

— Когда?

— Ну, примерно дней десять назад... Точно уж я не помню.

— Ха-ха-ха! Ты с ума сошла, что ли? Он сначала пришел помогать мне! По физкультуре... Говори: куда он ушел отсюда?

— Туда же, куда и я.

— Куда и ты?

— Ну конечно. Мы оба пошли в кино.

— В кино?! Но ведь он же послал меня за компасом!

— Это потому, что, когда ты вернулся из школы, он еще не успел уговорить меня. Я сперва отказывалась идти...

— И он тебя уговаривал?!

— Ты не сердись, пожалуйста. Ты еще этого не понимаешь.

— Врешь! Все ты врешь! — крикнул я.

И почему-то со злостью посмотрел на портрет своей ба-

бушки, с которой, как говорили, в нашей семье пошли красавицы по женской линии.

Я схватил со стола компас...

А через несколько минут я уже мчался теми же самыми проходными дворами, что и днем. И перелезал через те же самые ворота.

Дверь мне открыл Власов.

— Ты был с ней в кино? Это правда? — прямо с порога спросил я его.

— погоди... Я сейчас тебе все объясню.

— Ты из-за нее пришел к нам, да? Никто тебе заниматься со мною не поручал? Говори: не поручал?

— погоди, Кеша... Ты же мужчина. Ты должен понять...

— А в путешествие мы пойдем? Говори: пойдем? Или никакого такого острова вообще нет?

— Остров есть. Есть такой остров... Я сам его видел. Только там, понимаешь, городской пляж устраивают. Лежаки всякие понавезли, ларьков понастроили... Так что опоздали мы с тобой. Но ты, я так думаю, будешь на этом пляже загорать. Приплывешь туда на речном трамвае... Это гораздо быстрее, чем на лодке. И удобнее!

— Удобнее! Я всем ребятам уже рассказал... Я готовился. Я так ждал...

Больше я ничего не стал говорить. Просто не мог.

Я слетел с шестого этажа вниз за какую-нибудь секунду. Он не мог угнаться за мной.

— Прости, Кеша. Ты же мужчина. Ты должен меня понять. Я просто не знал, что ты так расстроишься, я не думал. Я не ожидал...

Он уже говорил не вразвалочку, переминаясь со слова на слово, а сбивчиво, нервно, и слова у него насккивали одно на другое:

— Если хочешь, мы с тобой поплывем туда, на остров. Пока еще там никто не загорает... Поплывем! Самыми первыми! Хочешь? Возьмем байдарку и поплывем. Хочешь, а?

— Я никуда не поплыву с тобой, Кубарьков. Потому что ты лгун и обманщик!..

Кубарьков — это была его настоящая фамилия.

— Давай поплывем! Или пойдем за грибами... Или рыбу удить. А если хочешь, возьми себе этот компас. Навсегда... Он тебе пригодится. Если хочешь...

— Без него дорогу найду!

Я обернулся и сунул компас ему в руку.

И тут заметил, что у него дрожат губы... Я даже приостановился.

— Ты только Майе не говори... Не говори, что я так пошутил. Что я сочинил все это про необитаемый остров... Не говори ей. Очень прошу тебя. Не говори...

И я ничего не сказал Майе. Ни одного слова.

Но в путешествие я с ним не пошел. И никогда не пойду. Никогда!..

1966 г.

НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ



Почему их так долго нет? Спектакль, наверно, уже кончился. Почему же их нет? Опять шаги за стеной, на лестнице... Нет, не они. Тамариных шагов я еще не знаю, но Валеркины... Я привыкла ждать эти шаги. С каждым годом ждать приходилось все дольше: сын выросл. Сперва он взлетал на наш третий этаж, потом взбегал, а теперь просто поднимается, пока еще не отдыхая на площадках между этажами.

Наша длинная старая комната с высоченным потолком разделена на две половины. Ожидая его, я всегда думаю: хорошо бы заснуть, а проснуться — и почувствовать, что он рядом, за фанерной перегородкой. Но ни разу я не уснула, не дождавшись его.

Ожидая, я обязательно представляю себе разные ужасы. Но ведь с Валериком никогда ничего не случилось. Почему же всегда я жду чего-то плохого? Вот и сейчас... Может быть,

решили после театра побродить по городу: ведь только сегодня днем расписались. Расписались... Странное слово. Но так говорят!

Кажется, к завтрашнему вечеру все готово. Хорошо, что взяла отпуск на три дня. А то бы ничего не успела. Но дело, конечно, не в отпуске: ничего бы я не сделала без Ленуси.

Лена, Ленуся... Мой добрый гений! И не толькой мой. Еще в школе мы всем классом списывали у нее трудные задачки. А если возникал конфликт с учительницей или происходило какое-нибудь недоразумение, она умела восстановить справедливость, и объяснялась, и хлопотала... За меня, за всех наших подруг. Сперва она помогала устраивать наши свадьбы, а теперь устраивает свадьбы наших детей. Но сама так и не вышла замуж. У нее не хватило времени: она сражалась за счастье своих подруг. И столько дала она нам бескорыстных и мудрых советов, что, может быть, ни одного не оставила для себя.

Гостей будет много. На день рождения можно кого-то позвать, а кого-то нет: не все же помнят, когда ты родился. Приходят самые близкие, которые помнят... Но свадьбу не скроешь ни от кого. Я не хочу, чтобы хоть один приятель Валерика на него обиделся. Я люблю этих приятелей за то, что они любят его. Всю жизнь я любила тех, кто хорошо к нему относился. Если какая-нибудь соседка говорила, что он красив или просто хороший мальчик, она начинала казаться мне самой симпатичной и милой во всем нашем доме. А учительница, которая на родительском собрании хоть мимоходом отмечала, что у него есть способности, становилась для меня самой умной и справедливой. И Тамару я тоже люблю за то, что она любит Валерика. Нет, не только за это. Она добрая, справедливая... Но главное то, что она любит моего сына. Это самое главное.

Я не представляла себе, как все рассядутся в нашей комнате, разделенной на две половины. Где взять столько стульев, столько посуды?

— Так всегда бывает. Я это предвидела, — сказала Ленуся. — Мобилизуем общественность.

Она прошла по квартирам и договорилась с соседями: они дадут нам сервизы, столы и стулья. Я живу в этом доме сорок три года, но не решилась бы ходить по квартирам.

А Ленуся решилась. Ради меня. И никто ей не смог отказать. Ей отказать невозможно.

Друзья Валерика любят поесть. Они не требуют деликатесов: от недавних студенческих лет осталась эта непритязательность. Но давай им побольше! А завтра они все же отведают деликатесов. Я тут совсем ни при чем: над кастрюлями колдовала Ленуся. Она все умеет. И не требует помощи. А лишь время от времени спрашивает: «Попробуй, не надо ли перцу? Попробуй: кажется, пересолила?»

Да, у меня все готово. Вернее, у нас с Ленусей. Вот только подарок не успела купить. Но ничего: завтра Ленуся поможет. Она ведь точно знает, что лучше всего дарить к именинам, что к свадьбе, а что к годовщине свадьбы. Может быть, стыдно так много перекладывать на ее плечи, на ее мудрый житейский опыт? Но иначе я не могу. Мне кажется, она мысленно пережила все ситуации и конфликты, какие только возможны, пережила, чтобы понять и иметь верный совет на все случаи жизни. Для меня и моих подруг. Лена, Ленуся! Наш добрый гений...

Почему же они не идут? Так поздно... Вот поднимается сосед с четвертого этажа, отдыхает на каждой ступеньке: у него был инфаркт. Сейчас он гулял перед сном. Возвращается к ночным «Последним известиям». Значит, двенадцати еще нет. За долгие годы, ожидая Валерика, я изучила походку всех наших соседей. И даже их привычки.

Я вижу Колин портрет. Темно, но я его вижу. Там, на столе... Валерик не помнит отца: он ушел на войну, когда сыну было два года. Он погиб — и потому навсегда остался моим мужем. Для Валерика он герой. Только герой, как Чапаев или Котовский...

Валерик не помнит отца отцом. А я помню мужа, который бы, наверно, ушел от меня, если бы не война... Как это произошло? С чего началось?

Я помню те первые Колины фразы, которые насторожили... Знакомя меня со своими приятелями, он сказал: «Она работает в области экономики». Я же, как и сейчас, была бухгалтером.

С детства я привыкла советоваться с Ленусей. Помню, она сказала:

— Не огорчайся. Мы с тобой, а это самое главное: дру-

зья надежнее жен и мужей. А вообще я это предвидела. Так ведь всегда бывает при подобном соотношении сил... Нет, дело не в званиях: не в том, что он кандидат наук, а ты бухгалтер. Есть мужья, у которых звания повыше, чем у него, а жены всего-навсего домашние хозяйки. И ничего ужасного не происходит, потому что дома эти мужья просто мужья. Ученые же — особый народ! Многие из них и дома живут только своей профессией. Понимаешь, ж и в у т! А ты — в ином мире. Вы, я думаю, не сможете понять друг друга, как люди, разговаривающие на разных языках.

— Но ведь чужой язык можно выучить, — тихо сказала я.

А сама подумала: «Нет, я выучить не смогу. У меня на руках Валерик...»

Может быть, Коля сказал, что я тружусь в «области экономики», так, без какой-нибудь задней мысли? Но я после разговора с Ленусей стала приглядываться, следить за его отношением ко мне — я искала подтверждений ее словам и, конечно, их находила.

Мне казалось, Коля напряженно прислушивается, когда я разговариваю с его друзьями: боится, что скажу что-нибудь не то. Я стала избегать его знакомых. Он спрашивал, пойду ли я с ним в гости, а я отвечала, что как раз в этот вечер мне нужно взять Валерика из детского сада. И он привык всюду бывать без меня. Может быть, я сама его к этому приучила?

Я помнила слова Ленуси, что так бывает всегда «при подобном соотношении сил». Я верила этим словам. Они меня утешали: значит, иначе и быть не может. И бороться бессмысленно, и ничего не надо предпринимать, раз так бывает всегда.

С войны Коля писал нежные письма. Но я понимала, что он писал их не мне, а родному дому, который издали, когда тяжело и плохо, всегда кажется желанным и дорогим.

А они все не идут... Вот семенит по лестнице старичок из соседней квартиры. Он работает в ресторане официантом и приходит самым последним. Скромный, тихий такой старичок: всегда всем уступает дорогу, даже мальчишкам. Как-то не представляю его в костюме официанта, среди танцующих пар, среди джазовой музыки, под светом роскошных люстр...

А не купить ли им люстру в подарок? В их половине, за фанерной перегородкой, есть только настольная лампа. Надо посоветоваться с Ленусей. Люстра как раз подойдет! Но почему же их нет? Если пришел старичок из ресторана, значит, уже за полночь. Может, куда-нибудь позвонить?.. Немного еще подожду.

Я не жалею, что больше не вышла замуж. Я думаю, Валерик не пустил бы в наш дом никого чужого. Хотя одного человека он бы, пожалуй, принял.

Однажды к нам в управление приехал из Армении инженер, автор проекта. Звали его Гургеном. Шумный, веселый... И наивный такой: всему удивлялся. Все принимал как неожиданность и как радость: «У вас свое машбюро? Можно работу перепечатать? Это прекрасно!.. У вас есть своя столовая? Можно поужинать? Это здорово!.. У вас рядом троллейбусная остановка? Прямо напротив? Это замечательно!..» Слова он выговаривал как-то так, что приятно было его слушать, даже если он не произносил ничего особенного, и хотелось, подражая ему, тоже говорить с легким восточным акцентом. Все мы вдруг стали необычайно ценить свое учреждение, у которого было, оказывается, столько разных достоинств!

В те дни в нашем городе происходили какие-то конференции и симпозиумы, и получить номер в гостинице было невозможно. А директор наш знал, что у меня длинная комната, разделенная на две половины (он учился когда-то с Колей и бывал у нас). Он знал, что живем мы вдвоем с Валеркой, и попросил приютить Гургена хотя бы дней на пять.

Я согласилась.

Войдя в нашу комнату, он сказал: «Такие высокие потолки? Здесь можно летать! Это прекрасно!» Подошел к окну и воскликнул: «Какой превосходный вид! Прямо на улицу...» Мы с Валериком переглянулись: нам стало казаться, что мы — обладатели бесценных сокровищ. И даже то, что комната окнами выходила на улицу, откуда всегда доносился шум трамваев, троллейбусов, автомобилей, даже это стало казаться нам очень приятным.

Когда приезжали родственники из других городов, мы с Валериком сами ощущали себя как бы гостями, словно были в чужом доме: нарушался строй нашей жизни. Гурген ниче-

го не нарушил. Он лишь добавил то, чего нашему дому всегда не хватало: у нас стало праздничнее.

Ленуся настороженно относилась к шуткам Гургена, к его восторженным восклицаниям.

— Восточное красноречие! — как-то сказала она. — Так бывает всегда: мы поддаемся этому застольному обаянию. Верим их громким словам, а потом они забывают, как нас зовут.

Однажды Гурген развесил по стенам ватманские листы и стал рассказывать нам о своем проекте. Мы, почему-то совсем не робея, делали разные предложения. Он записывал их в тетрадку, потом сказал:

— Строгие консультанты утопили меня в поправках. И вы беспощадны. Но это прекрасно: зато месяцев через шесть снова приеду в Москву! На окончательное утверждение.

Валерик вдруг улыбнулся, и я почувствовала: он рад, что Гурген снова приедет. Я тоже обрадовалась. И испугалась того, что обрадовалась.

В тот вечер он сделал мне предложение. Я ничего не могла ответить: мне нужно было посоветоваться с Ленусей.

— Я это предвидела, — сказала она. — Восточная пылкость и торопливость... Подожди и подумай. Не забудет ли он дня через три о своем намерении?

Он не забыл. Как раз через три дня прислал телеграмму. А потом и письмо. Он сообщал, что посоветовался с матерью и что она одобрила его выбор, хоть и не видела меня никогда. Но скоро увидит! Потому что я приеду с Валериком к ним. Навсегда. Жить мы будем вместе с его матерью и сестрами.

— Вот видишь, — сказала Ленуся. — Ты станешь рабыней в их доме. И я не смогу помочь: мы будем слишком далеко друг от друга. Мужчина, который не может жить без матери и советуется с ней по таким вопросам, не будет хорошим мужем. Это старая житейская мудрость... Но она, к несчастью, верна. А матери в таких семьях всегда тиранки. Им поклоняются, словно идолам. Особенно на Востоке. Поверь мне: всегда так бывает.

Я не решилась оставить свой дом и Ленусю. И написала об этом Гургену. Еще в нескольких письмах он звал меня, но я не поехала.

Чтобы поставить точку, мы с Ленусей послали Гургену холодный ответ, который был мне самой неприятен. Однако я помнила, что через шесть месяцев он вновь приедет со своим проектом. И очень ждала.

Он не приехал. Сказали, что болен. Но я знала: он не приехал из-за меня.

Его проект привезла какая-то женщина. «Она прелесть! — визжали чертежницы. — Просто очарование!..»

«Неужели так быстро женился? — подумала я. — Ленуся всегда права...»

Я пошла в проектный отдел. И увидела эту женщину. «Нет, не жена... — успокоилась я. — Должно быть, сотрудница их института».

Она была из тех женщин, к которым сразу испытываешь доверие. Даже чрезмерное... словно к врачу, когда тебе плохо. Лицо, доброе и бесхитростное, располагало к откровенности и тех, кто вовсе ее не знал. Она всех угощала фруктами. И всех приглашала к себе отдыхать: у нее маленький домик. Но не просто так приглашала, не из приличия, а всем, кто хотел, давала свой адрес. «Напишите месяца за два, предупредите, — говорила она, — чтобы я смогла подготовиться». Девчонки-чертежницы, обожающие отдыхать «дикарями», записывали ее адрес в маленькие блокнотики.

А старому инженеру, страдавшему язвой, она обещала прислать удивительную траву, которая его непременно вылечит. Инженер, измученный болезнью и медицинскими советами, которые ему предлагали со всех сторон, всегда желчный и недоверчивый, благодарил, потому что не сомневался: она пришлет эту траву. И никто в этом не сомневался.

К начальству она не пошла: «Не умею с ним разговаривать». Попросила меня и чертежниц передать директору кальки и ватманы. И расписку с нас не взяла. Прямо так и оставила.

— Кто эта женщина? — спросила я.

— Мать Гургена. Того самого, который всем восторгался.

— Не может быть, — сказала я.

Все удивленно переглянулись.

Так вот какая она! Идол, тиранка...

И все-таки я ни о чем не жалею! Нет, ни о чем. Разве это не счастье: всю жизнь посвятить одному человеку? Сыну,

Валерику... А теперь еще и Тамаре, дочери... Им обоим! Мы всегда будем вместе. Нет, я ни о чем не жалею.

Слава богу, идут! Не торопятся, разговаривают... А я представляла себе всякие ужасы. Почему мозг всегда работает в одном направлении?

На цыпочках прошли к себе, зажгли настольную лампу. Решено: подарю им люстру. Ленуся поможет мне выбрать...

Тамаре неизвестно, что у нас фанерная перегородка — и говорит она почти в полный голос.

— Тише, — просит ее Валерик, — маму разбудишь.

Прекрасно знает, что я не сплю! Ни разу в жизни я не заснула, не дождавшись его. Почему же он ее останавливает?

Тамара заговорила потише. Но я зачем-то все слышу. Валерик об этом не знает и больше не останавливает Тамару.

— Мы с тобой все-таки ни о чем не договорились. Два с половиной часа слонялись по улицам, но ничего не решили, — говорит она.

— Разве мы не успеем решить потом?

— У тебя прекрасная мать. Я к ней так привязалась!словно к родной... Но именно для того, чтоб эти чувства к ней сохранить, нам надо будет разъехаться. К родителям лучше всего ходить в гости. Тогда дружеские отношения сохраняются навсегда. Это же всем известно... Сначала будем снимать комнату, а потом построим свою. Когда сможем. Согласен?

Сын молчит. Может быть, я не слышу? Нет, я бы услышала. Он молчит.

— Значит, договорились? — спрашивает Тамара. — Так будет лучше для нас всех. Жить надо отдельно. Это старая истина.

О житейская мудрость! Откуда ты знала, что мы с Колей не сможем быть счастливы? И про Гургена... И остальное... Все-то ты торопишься. И твердишь: «Всегда так бывает... Старая истина...»

Но ведь бывает по-разному. Это тебе не приходит на ум? Так ли уж ты мудра, житейская мудрость? Ты очень жестока. Это мне ясно.

Нет, я не права! Конечно, им лучше будет вдвоем. Но

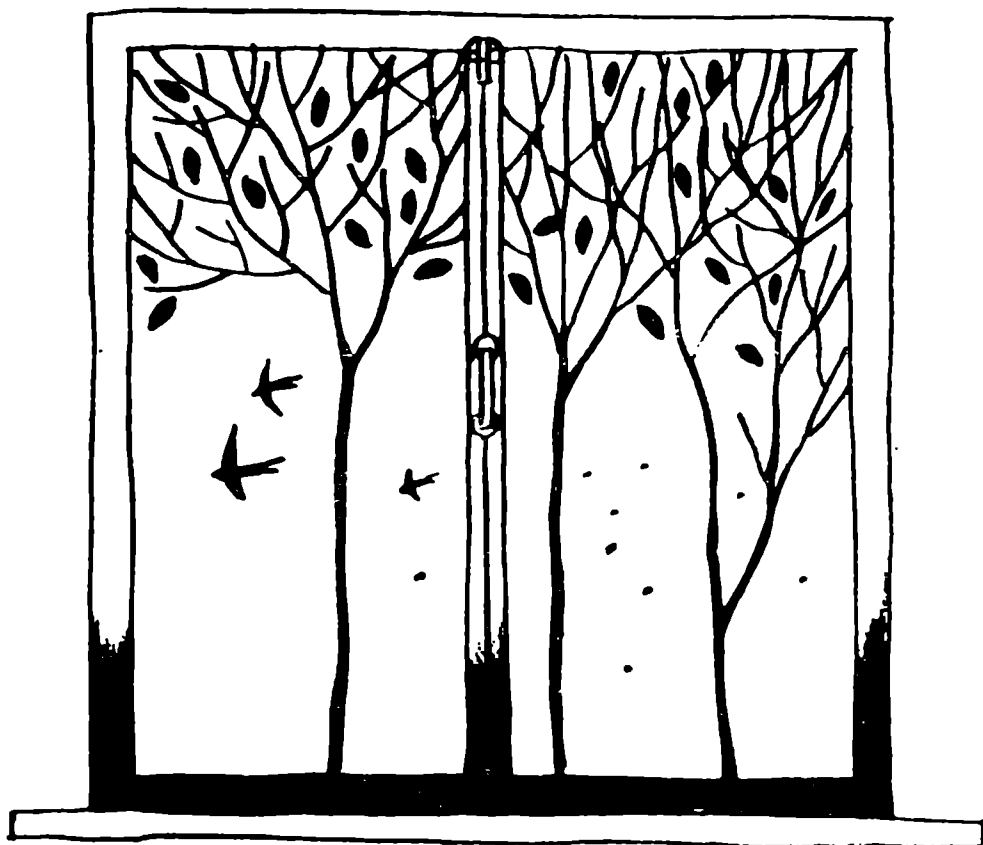
только зачем же снимать комнату? А потом строить? Влезать в долги? Теперь я знаю... Теперь точно знаю, что́ им подарить! После свадьбы я отправлюсь к сестре, за сто километров отсюда. И буду ездить к ним в гости. И они будут ездить... Зачем же снимать комнату? Я просто уеду.

Но как сделать, чтоб они не обиделись? И не поняли, что я слышала?.. Как все уладить с работой? Это не так легко.

Может быть, посоветоваться с Ленусей?

1966 г.

ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?..



Вечером с самолета поселок выглядел светящейся точкой, немигающим маяком, который затерялся в бескрайнем таежном море.

А геологу, вышедшему из леса, поселок показался большим городом: глаза его за три месяца отвыкли от ярких огней, а ноги — от асфальта и булыжника. Он привык бродить тропками — и сейчас без надобности переходил с одной стороны улицы на другую, словно измеряя ее ширину. Да и вообще все радовало его в этом поселке, потому что здесь ровно через полчаса он должен был услышать голос жены. Нет, не увидеть ее, а только услышать...

Он остановился возле одноэтажного домика и прочитал слова над дверью, которые показались ему словами долгожданной телеграммы, написанной белыми, слегка фосфоресцирующими буквами на синей стеклянной табличке: «Почта, телеграф, телефон». В этот поздний час маленькие полукруглые окна почты были уже заставлены картон-

ными щитками с категоричным словом «Закрыто». А телеграф и переговорный пункт, как всегда, бодрствовали.

Над столом с бугорками засохшего клея и чернильными кляксами, на котором днем писали письма, заклеивали конверты и бандероли, сейчас склонились люди, ожидавшие вызова телефонистки. Они не разговаривали друг с другом, потому что все время напряженно прислушивались, боясь упустить тот миг, когда оживет, зашуршит, задышит микрофон и голосом телефонистки назовет номер кабины и имя далекого города, которое прозвучит для них как имя близкого человека, живущего там. И они бросятся в застекленную кабину, чтобы сказать что-то самое важное, потому что в минуты, скупые отпущенные для междугородного разговора, нужно говорить только о самом главном. Каждый мысленно повторял, заучивал наизусть то, что он скажет, не догадываясь, что заученное от волнения забудется и прозвучат какие-то совсем другие, бессвязные слова и вопросы, которые, быть может, гораздо точнее передадут все, о чем надо сообщить и что надо выразить.

И каждый почему-то кричал в трубку: «Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?..» Это вовсе не значило, что телефонная линия плохо работает. И не значило, что люди хотят проверить, как слышен их голос. В эти слова они вкладывали какой-то другой смысл...

Дело было вечером — и по служебным делам никто не звонил.

Впрочем, в кабины устремлялись не все, а лишь самые счастливые. Иногда же, подышав в микрофон и словно бы сочувственно вздохнув, телефонистка, вместо того чтобы назвать номер кабины и имя города, приглашала ожидавших к своему окошку. Это означало, что где-то далеко-далеко, за тридевять земель, телефон упорствует особыми долгими гудками понапрасну... Там никто не снимает трубку: дорогой человек, которого здесь называли абонентом, не ждет.

Но геолог знал, что его звонка ждут с нетерпением. Именно сегодня, сейчас... И поэтому, присев к столу, он как и все другие, начал медленно редактировать текст много раз обдуманного разговора.

Потом он взглянул на телефонистку, сидевшую за стеклянной перегородкой. Эта худенькая девушка все делала

так деловито, так по-взрослому, что нетрудно было догадаться: еще совсем недавно она была школьницей.

Выписывая квитанции, она низко склонялась над столом, аккуратно выводила буквы и даже высовывала кончик языка, ну точь-в-точь так же, как писала в школьном классе сочинения по литературе или контрольные по математике.

Однако геолог, как и все ожидавшие вызова, благоговел перед этой девушкой: она могла сокращать расстояния, хотя бы на время прекращать разлуки. Геолог почему-то вспомнил другую девчушку, такую же вот простенькую на вид — ту, что два года назад во время сложной операции, которую он перенес, полтора часа подряд казалась ему всесильной богиней в белом халате и белой шапочке: он не видел рук хирурга, спасавших его, но зато видел ее глаза, помогавшие переносить боль и забывать о страданиях. И он изумился, когда, уже выздоравливая, услышал, что его белоснежная Богиня договаривается в коридоре больницы по телефону о свидании, как все девушки на этом свете, и робеет, и на ходу теряет слова.

Молоденькая телефонистка, видимо, тоже не догадывалась о своем величии. А не улыбалась она от застенчивости или просто еще не знала, что и на работе тоже можно улыбаться. Было похоже, что за матовым стеклом происходит детская игра «в телефонистку». Вдруг она все тем же по-детски серьезным, деловитым голосом назвала фамилию геолога.

Он бросился к кабинам, но ни в одной из них не вспыхнул свет, как это случалось всякий раз, когда на проводе был другой город. И тогда он понял (именно понял, а не расслышал), что телефонистка приглашала его к своему окошку.

— Ваш абонент не отвечает, — сказала она.

— Этого не может быть!.. — возразил он. — У меня сегодня день рождения, и мы договорились...

Упоминание о дне рождения действует на детей, как упоминание о празднике. Они придают этому дню большое значение, потому что он в их возрасте только радость. Телефонистка, твердо решив, что такой праздник не может быть омрачен, сразу засуетилась, вызвала по телефону «старшую» и сообщила ей:

— Тут у товарища день рождения. Не может быть, чтобы не отвечали.

Но «старшая», наверно, уже не считала день рождения великим днем.

— Как это «что особенного»? — в трубку удивилась телефонистка. — Проверьте, пожалуйста... Там должны ответить!

— Жена хотела меня поздравить, — торопливым полусшепотом стал подсказывать ей геолог. — Мы договорились, что она будет ждать в это время... Я прошел много километров! Мы договорились...

Телефонистка стала добросовестно повторять в трубку его слова. Потом она чуть-чуть отвела трубку от уха: «старшая» отвечала ей оглушительно громко, так громко, что даже геолог все слышал, — трубка верещала, захлебывалась: «Если ты будешь с каждым по стольку возиться, никогда не научишься работать!»

Однако девушка не хотела учиться работать так, как советовала ей телефонная трубка, и попросила геолога:

— Подождите, пожалуйста, еще минутку...

И снова стала что-то проверять. А он прислонился к стеклу и неожиданно вспомнил слова одного своего приятеля, сказанные с осторожной усмешкой — не то в шутку, не то всерьез: «Напрасно молодую жену одну оставляешь. Не надо испытывать любовь, особенно временем, она не выдерживает таких испытаний. Разве только в кинокартинах...» А может быть, и правда он зря уехал? Ведь вот забыла о дне рождения! А говорила, что будет ждать этого дня, что отметит его торжественно, но в одиночестве, дома, а на столе будут два прибора... Слова, красивые слова! И знает ведь, что ему нелегко добраться до почты, что нужно пройти много километров таежным лесом. Да и вообще уже поздно, почти ночь, а ее нет дома...

И тут он вновь услышал голос телефонистки:

— Я вас уже видела... Много раз!

Он очнулся, взглянул на худенькую девушку и подумал, что у нее, должно быть, есть младший братишка и она его вот так же утешает, когда он грустит или хочет расплакаться.

— Нет, правда, — продолжала телефонистка. — Вы в соседнем окошке письма до востребования получаете.

Она не утешала: он действительно получал письма до востребования. Но никогда раньше не замечал этой девушки, сидевшей совсем близко.

— Я давно уже не заходил за письмами, — сказал он. — Мы были в тайге... далеко.

— Не заходили?! — воскликнула она. Шустро вскочила со своего стула, отыскала какие-то ключи и побежала к соседнему окошку.

Там она, чутко прислушиваясь, не верещит ли, не вызывает ли ее оставшаяся на столе трубка, отперла шкаф, достала длинный ящик, в котором письма лежали, как карточки в библиотечной картотеке. И стала быстро-быстро перебирать их, поглядывая на переговорный талон, где была написана фамилия геолога.

— Есть! Есть! — торжествующе провозгласила она. И хоть крикнула она не в микрофон, все, напряженно ожидавшие вызова, вздрогнули и повернулись в ее сторону.

Она протянула геологу телеграмму. Он распечатал и прочитал: *Срочно посылают командировку Березники поздравляю днем рождения целую люблю.*

Жена была проектировщицей и тоже часто уезжала из дома. Как он не подумал об этом? А девчушка, отгороженная от него стеклом, догадалась... Он нагнулся и заглянул в окошко, чтобы поблагодарить ее. Но она уже была далеко.

— Красноярск! Иванов! Третья кабина! — возвещала она в микрофон. — Красноярск — третья!

Кто-то, счастливый, устремился в кабину. И закричал: «Ты меня слышишь?»

Взглянув на геолога, телефонистка удивленно пожала плечами: за что же благодарить?

И правда, что она такого особенного сделала? Просто вернула человеку покой, рассеяла сомнения. Вот и все.

ДВА ПОЧЕРКА



Если бы только она мне приказала, я бы избил всех ребят в нашем классе! Я бы прошел на руках от раздевалки до спортзала на четвертом этаже. Нет, это ерунда, это легко. Я бы лучше прошел с закрытыми глазами по карнизу четвертого этажа. Если бы только она приказала!

В записке не было ни обращений, ни посвящений. Но Женя шестым чувством педагога сразу догадалась, о ком писал Дима Воронов. Конечно же, о своей однокласснице Танечке!

За стеной вдруг громко заговорило радио: сосед вернулся с работы. У него была такая привычка: входя в комнату, прежде всего, еще в темноте, включать приемник. И тут только Женя заметила, что уже поздно, давно пора было зажечь свет. Начала проверять тетради еще днем и ничего не успела проверить. А все виновата записка, нацарапанная

бесшабашнейшим Диминым почерком и, видно, по рассеянности забытая в тетради.

Она уже успела выучить записку наизусть и все же, включив свет, снова склонилась над ней.

Женя ясно представила себе Диму Воронова, высоченного, плечистого девятиклассника с чуть плакатной внешностью. Так вот и хотелось поставить его где-нибудь на видном месте с высоко поднятой рукой, а рядом написать: «Сдавайте нормы на значок ГТО!» Да разве он хоть минуту постоит спокойно? Впрочем, Женя сама не раз наблюдала, как Дима Воронов, почти не шевелясь, сидел за шахматным столиком в читальне. А выиграв партию, он мог вскочить на стул и, приводя в ужас страстных поклонниц тишины — библиотекарш, провозгласить: «Ура! Еще одна корона пала! Долой монархию!..»

Дима был пионервожатым в пятом классе «В». Малыши таскались за ним как замороженные. Они на всю школу хвастались Димиными мускулами и сочиняли легенды о его подвигах. Когда он играл в волейбол, они со всех сторон обступали площадку и так шумно «болели», что не было слышно свистков судьи.

Однажды на катке Женя видела, как Дима учил пятиклассников играть в хоккей, строго и придирчиво командовал ими. А потом он растирал руки малышу, потерявшему варежки...

Даже зимой Дима бегал без пальто, в кожаной куртке, но зато шапка у него была очень теплая — с ушами до самого пояса. Он называл ее «полярной».

Женя ясно представила себе и хрупкую близорукую девушку с первой парты, Танечку. Она была некрасива, а когда надевала очки, черты ее лица становились просто неуловимы.

Женя вспомнила, как на новогоднем балу кто-то из юношей пустил злую шутку по поводу неказистой Таниной внешности.

Дима тогда вплотную подошел к шутнику и с лицом, не предвещавшим ничего доброго, сказал:

— Твое счастье, что дуэли запрещены. А то бы проучил я тебя, дубина!..

И целый вечер танцевал с Танечкой.

«Ну, рыцарь!» — мысленно восхищалась Женя.

Она вспомнила, что Дима и Танечка часто оставались в школе после уроков заниматься геометрией, с которой Таня была не в ладах. Она не умела чертить — и самый простой прямоугольник казался ей вовсе не таким уж прямым, а загадочным и коварным. Математичка Алевтина Георгиевна, очень напоминая Жене классную даму былых времен, относилась к этим занятиям скептически. Заметив как-то в уже опустевшей раздевалке одиноко висевшее Танино пальто, а на полке Димину «полярную» шапку, Алевтина Георгиевна усмехнулась:

— Занимаются?.. Ничего из этой так называемой «взаимопомощи» не получится. Их просто нужно учить порознь! Поймите, задачи, которые решают мои юноши, девушкам не по плечу!

А Женя с придирчивостью учителя русского языка и литературы подумала: «Не по плечу... не по плечу... Так, конечно, говорят, а все же странное выражение: плечами, что ли, решают задачи? Сказала бы уж лучше «не по уму»...» Женю раздражали и голос Алевтины Георгиевны, и ее манера снисходительно опекать молодых учителей, и ее абсолютная убежденность, что все случаи, встречающиеся в педагогической практике, можно предвидеть, классифицировать и разложить по типам, как арифметические задачи.

А если показать Димину записку Алевтине Георгиевне? Господи, что с ней будет! Особенно от этих слов: «Я бы лучше прошел с закрытыми глазами по карнизу четвертого этажа. Если бы она... приказала!»

«А что, если Танечка и в самом деле вздумает приказать? — забеспокоилась вдруг Женя. — Нет, завтра же следует что-то предпринять!»

В маленькой комнате было жарко. На улице стояла рыхлая, слякотная зима, похожая скорее на позднюю осень: ни слепящих глаза сугробов, ни узоров на окнах. Но домоуправление, напуганное прошлогодней жалобой жильцов на холод, топило с таким неистовством, будто на улице свирепствовали верхоянские морозы. Женя сняла вязаную кофточку, из кармана выпал конверт и аккуратным белым прямоугольником лег на пол. Это письмо было адресовано уже не Танечке, а лично ей, Жене. Написано оно было не размашистым мальчишеским почерком, а ровными, каллиграфическими

буквами. И это письмо Женя тоже помнила наизусть вместе со всей его сложной и точной пунктуацией — обилием двоеточий, скобок, тире:

Создавшаяся ситуация требует: мы должны немедленно встретиться! Домой к тебе заходить не хочу (соседи — сплетни!). Буду ждать возле школы, в которой ты преподаешь. Завтра, после пятого урока. Разумеется, не в вестибюле — на улице!

— Ну, разумеется, на улице, — тихо прошептала Женя. — А то ведь «ребята — сплетни!»

Прежде чем завести разговор с Димой, Женя решила посоветоваться с Алевтиной Георгиевной. Она, конечно, заранее была уверена, что не сможет последовать совету математички, но ей было очень любопытно услышать этот совет.

Алевтина Георгиевна выслушала Женю с той снисходительной полуулыбкой, с которой ученик-пятиклассник проверяет давно уже известную ему таблицу умножения у своего младшего братишки-первоклассника.

Затем Алевтина Георгиевна подошла к зеркалу и стала демонтировать, а потом вновь сооружать сложную конструкцию на своей голове, которую она называла старинной прической. На это занятие у нее уходили все большие перемены.

— Видите ли, любезная Евгения Михайловна, — сказала математичка не очень внятно, потому что во рту она держала шпильки, — задача очень проста. Данные, как я вижу, вам ясны? Юноша вбил себе в голову, что он влюблен. Не так ли?

— Почему — в голову? Скорее, в сердце...

Но Алевтина Георгиевна увлеклась и не обратила внимания на эту реплику, как не обращают внимания на лепет ученика, не выучившего урок, но пытающегося невпопад вставлять фразы в речь педагога, объясняющего ему как раз то, чего он не удосужился выучить.

— Итак, юноша вбил себе в голову, что он влюблен, — продолжала Алевтина Георгиевна. — Это ваши данные. Решение задачи чрезвычайно просто, хотя вы мне почему-то

не назвали фамилии учащихся... так сказать, героев этой истории.

Математичка выждала немного. Женя смутилась, опустила глаза, но фамилии «героев истории» так и не назвала.

— Ну ничего, ничего. Тайна так тайна. Решение задачи, повторяю, чрезвычайно просто. А вы растерялись? Что ж, вполне закономерно: вы ведь первый год в школе... Итак, отчего юноша вбил себе в голову все это? Оттого, что в голове у него много пустого, так сказать, ничем не заполненного пространства. Надо, стало быть, его заполнить. Тут-то и приходит на помощь нам, педагогам, общественная работа. Загрузите его получше — и все как рукой снимет. Поверьте моему опыту.

Опыту Алевтины Георгиевны Женя не поверила, но и своего опыта у нее тоже не было. Она так и не знала еще, с чего начать, когда Дима, по ее просьбе оставшийся в классе после уроков, сел боком на первую парту. Ноги он выставил наружу: они под партой не помещались.

Дима, казалось, ждал чего-то очень серьезного и неприятного для себя. Он угрюмо уставился в одну точку. Этой точкой было фиолетовое отверстие новенькой белой чернильницы. Рукой он механически поглаживал длинные уши своей «полярной» шапки.

Стремясь, чтобы разговор был как можно более интимным, Женя не села за учительский столик (пусть Дима на время забудет, что она педагог!), а устроилась на первой парте второго ряда. Женя думала, что Дима поинтересуется, зачем она задержала его после уроков. Но он ничего не спрашивал, он молчал. Значит, нужно было самой завязать беседу.

Женя вспомнила, как она, будучи еще девчонкой, в пионерском лагере боялась спрыгнуть с крыши купальни. Но однажды, махнув рукой, зажмурила глаза и, на миг распрощавшись с жизнью, прыгнула! Она и сейчас зажмурилась.

— Прежде всего, Дима, я хочу перед тобой извиниться... — Она выждала секунду, но он не спросил, в чем же, собственно говоря, провинилась перед ним учительница, классный руководитель. Тогда она продолжала: — Я прочитала записку, которую ты забыл в тетради. Я не должна была читать, но, поверь мне, это произошло случайно...

Дима не поднял головы, но она увидела, как нервно пере-

дернулись его широкие плечи под блестящей, шоколадного цвета кожанкой.

— Впрочем, записка не рассказала мне ничего нового. Я и раньше замечала, что тебе нравится Танечка.

Женя вздохнула с таким же облегчением, какое она испытала, вынырнув из-под воды после своего знаменитого прыжка в пионерлагере.

— Да, я заметила, что тебе нравится Танечка. Она и мне тоже нравится — умница, по-своему мыслит. Но только зачем же тебе избивать ради нее своих товарищей? Или ходить с закрытыми глазами по карнизу четвертого этажа? Пойди лучше с ней в театр, в кино, на каток...

Она чувствовала, что говорит очень банальные, какие-то чужие слова, но своих слов не находила.

— Да, ты можешь по-хорошему дружить с Танечкой! — с отчаянием и досадой на себя повторила Женя.

Ей казалось, что она забыла, не помнит, какой у Димы голос. И вдруг она услышала его, но не узнала: это были глухие, словно издалека донесшиеся звуки.

— Почему Танечка? Я совсем не о ней...

«Неужели ошиблась? — подумала Женя. — Эх, горе-педагог!»

И тут же попыталась исправить ошибку:

— Понимаешь, Дима, дело не в том, кто эта ученица. И совсем неважно, как ее имя...

— Почему ученица?

Дима поднял голову, взглянул на нее. И она вдруг с ужасом почувствовала, что очень важно, кто именно та девушка, и что очень, очень важно, как ее зовут. Жажду самого беспощадного приказа и отчаянную готовность выполнить все на свете увидела она в его глазах. Она прочитала в них: «Я на все, на все готов ради вас! Мне ничего не страшно...»

Женя очень испугалась, как бы он все это не высказал вслух. Что тогда делать? Как ответить ему?

Она для чего-то открыла чемоданчик, вынула оттуда ребячьи тетради и положила их обратно.

— Прости, Дима... Мы продолжим наш разговор в другое время. Позже... Мы обязательно поговорим. А сейчас я очень тороплюсь... Я спешу.

Это была правда. Она действительно спешила: ее ждали. Ждали не в школе, а, «разумеется, на улице».

...Был первый по-настоящему зимний вечер. Взрослые люди спотыкались и падали на ледяных дорожках, коварно прикрытых тонкой пушистой пеленой. А ребята-пятиклассники катались по этим дорожкам и чем чаще падали, тем громче смеялись. Но вдруг голоса их умолкли. Пятиклассники изумленно уставились на учительницу, шедшую с незнакомым мужчиной. Ребята вообще с трудом представляют себе, что учителя, эти поучающие их сверхчеловеки, за стенами школы имеют какую-то свою жизнь, похожую на жизнь других обыкновенных людей. Тут же с незнакомым мужчиной шла не просто учительница, а преподавательница старших классов, да еще классная руководительница их вожатого Димы!

Женя не обратила внимания на разинутые рты пятиклассников. Но он обратил:

— Я так и знал, что это неподходящее место...

Женя ничего не ответила. Они свернули в переулок.

Нелегко перейти с первых непринужденных фраз на заранее придуманные и обдуманые слова. Но, начав беседу «на главную тему», он стал говорить торопливо, словно боясь, что его могут перебить, как боятся этого люди, читающие наизусть стихотворение. И он уже не останавливался, пока не высказал все:

— Женя, ты сердишься, наверное, что я так долго не искал встречи. Но пойми: мне нужно было на все взглянуть со стороны, все взвесить, все оценить. А для этого я должен был чуть-чуть охладить голову. Только голову... В последнее время, встречаясь с тобой, я постоянно слышал настойчивый вопрос: «А что дальше? Что дальше?» Ты задавала этот вопрос молча, но я слышал его...

На самом деле Жене никогда не приходилось спрашивать об этом: он сам, всегда рассудительно и не горячась (Женя принимала это за цельность натуры), говорил, что она «навсегда данный ему помощник». Слово «помощник» не очень нравилось Жене и напоминало почему-то слово «референт». Попутно он осуждал за ветреность всех своих друзей и, как бы между прочим, великих поэтов прошлого. Да, никогда ни молча, ни вслух не приходилось Жене задавать вопрос: «А что дальше?» Но сейчас такой прием, такой ход рассуждений, видно, для чего-то понадобился ему.

И он продолжал:

— Я — порядочный человек, ты это знаешь лучше других... И я хорошо понимаю, что ты не можешь не думать о будущем. Ведь тебе уж скоро двадцать семь, а для женщины это возраст! (Он накинул ей полтора года, но она и тут не перебила его.) Ты ждешь от меня чего-то решительного, а я не могу, не смею прийти к тебе никем и ничем. Я должен сперва кончить аспирантуру и чего-то добиться в жизни. Тогда только я, как и всякий порядочный человек, буду иметь право подумать о семье. Только тогда! Так я понимаю свой долг. И так я понимаю любовь... («Понимаю любовь!» — про себя усмехнулась Женя.) Я чувствую ответственность за твою судьбу. Я спрашиваю себя: сможешь ли ты ждать? Нет, ты не должна ничем жертвовать ради меня. Пусть буду жертвовать я!.. Ты веришь мне? Должна, обязана верить! Ведь ты знаешь меня не первый день...

Да, она знала его не первый день и даже не первый год. И все-таки не узнавала. Не узнавала голоса (сперва ей даже казалось, что он простудился, охрип), не узнавала одежды — на нем было все новое: широкое черное пальто, черная котиковая шапка, черный шарф в белый горошек — под цвет и пальто и шапки.

«Да весь он какой-то новый, — подумала Женя. — Вернее, незнакомый, другой...»

Неужели первые успехи — шумная защита диплома и прием в аспирантуру академии — так странно преобразили его? Испугался, что «навекки данный помощник» лишь помешает карабкаться вверх?

Женя любила легкий хруст первого, только-только выпавшего снега. Но сейчас унылый скрип из-под его ног раздражал ее. Она заметила, что на ногах у него глухие черные боты, и это показалось ей неприятным: молодой мужчина в ботах! Она рассеянно слушала его, но разглядывала очень внимательно и с некоторым удивлением. Почему, например, она раньше не замечала, что он сутулый?

То ли Женя отвыкла от мороза, то ли метель в этот день хотела наверстать упущенное, но только ветер больно колотил щеки и слепил глаза.

Ей было трудно идти против ветра, она слабела с каждым шагом — ко всему еще сказывались усталость и все волнения этого дня. А он говорил, говорил, говорил...

— Я опытнее тебя. Я все обдумал, взвесил, оценил. Ты

не должна ждать! Некоторые воображают, что можно строить семью, не утвердив себя в обществе. Это пустая фантазия. А сейчас не время фантазеров. Пойми и поверь!.. Нужно обеими ногами крепко стоять на земле. И, ни на минуту не закрывая глаз, зорко смотреть себе под ноги, чтоб не споткнуться...

Внезапно Женя рассмеялась: она вспомнила, что Дима собирался пройти ради нее от раздевалки до спортзала как раз вверх ногами, а по карнизу намеревался разгуливать, закрыв глаза.

Она рассмеялась так неожиданно, что очередная фраза застряла у него в горле, он захлебнулся студеным ветром и долго откашливался в свой черный шарф с белыми горошинами.

Вспомнив о Диме, Женя вдруг перестала зябко кутаться в платок, прятаться от метели...

И, не говоря ни слова, ничего не объясняя, она пошла вперед такими стремительными шагами, словно было утро и она опаздывала на урок. Она почти бежала, подставляя лицо ветру, и уже не слышала оставшегося где-то позади скрипа глухих черных бот.

1957 г.

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ



Письмо первое

Удивляюсь твоему спокойствию! Просто удивляюсь!.. Ведь здесь, в санатории, полно бравых молодых людей.

Слышишь: полно! И все начинают со знакомства со мной: первый визит — к врачу. Я им толкую про хвойные ванны, а они мне в ответ: «Что вы делаете сегодня вечером?» Не все, конечно, но многие.

Есть тут один летчик, могучий, как ТУ-104. А каждый день на прием ходит и все жалуется: то бессонница — дай ему порошок, то аппетит пропал — дай таблетку...

А уборщица Анна Леонтьевна, такая наблюдательная, ехидная старушка, вчера приходит и ругается: летчик за дверь кабинета таблетки выбросил, их растоптали и, как мел, разнесли по всему коридору, наследили...

Мне надоели, пойми, ежевечерние шуточки: «А вот наша соломенная вдова. Давайте-ка накажем вашего жениха: что-

то он не больно торопится». А ты и в самом деле не торопишься. Уверен, что я буду ждать? Да, я жду тебя — держу свое слово. Но почему же ты не держишь свое? Ведь, помнишь, в Москве, когда я добивалась назначения в этот южный санаторий (добивалась ради тебя!), ты говорил: «Вот слетаю в Сибирь за материалом для очерка — и сразу к тебе, в Крым. О пихтах и елях буду писать под пальмами и кипарисами...» Помнишь эту фразу? Но уж, наверно, собран материал для целой книги очерков, а ты все не едешь.

Достань-ка из своей коричневой папки конверт с документами и отыщи там маленькую медицинскую справку. Это ведь не просто справка, Алексей, — это истина: у тебя плохие, слабые легкие. И тебе нужен юг, сухой воздух Крыма. Антон Павлович не стеснялся жить здесь, на берегу моря. Так чего же стыдишься ты?

Тут ведь не только отдыхать можно — здесь и «Вишневый сад» был написан.

Жду телеграмму. Не письмо, а именно телеграмму: номер поезда, вагон... Жду!

М.

Р. S. Если бы видел, какую комнату отвели мне при санатории: солнце, гроздь винограда прямо на подоконнике!..

Письмо второе

Мариша, родная! А если бы ты видела!..

Еще три месяца назад здесь было роскошное и, казалось, недоступное для человека царство тайги. Но вот бессмысленный рев медведей был заглушен сосредоточенным, деловым гудением тракторов; стук упрямого одиноличника-дятла — стуком молотков, а ленивый шум сосен потонул в торопливом жужжании пил, в пулеметном стрекотании электродвижков...

Но тайга отступила недалеко: прошлой ночью захмелевший от меда великан Мишка обозначился адресом и улегся в неглубоком котловане. Видно, принял его за то уютное логово, в котором он постоянно прописан со всем своим нестриженным семейством.

Тайга совсем рядом, и, может быть, еще поэтому все, что

происходит здесь, приобретает какое-то богатырское, сказочное звучание. Чудеса техники в окружении чудес природы — разве это не здорово?!

Люди работают зверски! Они поражены этим краем, но еще не называют его родным домом: ведь для этого нужно время. И как счастливы были бы люди, если б можно было перенести сюда, в необжитый лесной мир, те далекие переулки и улицы, на которых они родились, где впервые ссорились и мирились, гоняли на коньках и самокатах, а по утрам бегали в школу!.. И вот огромную поляну, где строится сейчас заводоуправление, назвали (представь себе!) Арбатской площадью. А холмистую улицу, посреди которой еще растет трава, нарекли не как-нибудь, а Невским проспектом!..

Полмесяца назад стала издаваться газета. Обычно многотиражки выходят раз или два в неделю, а наша — ежедневная. Ведь скоро здесь будет город, и многотиражка станет тогда солидным городским органом.

Редакцию пока запихнули в проходную десятиметровую комнатенку. Штат невелик: редактор, ответственный секретарь, то есть я, да один литературный сотрудник. Должна быть и машинистка, но мы ее не можем найти. Представляешь, какая тут нужда в людях, если меня, журналиста, только что окончившего институт, назначили ответственным секретарем! И если не могут найти машинистку... Редактор наш — ярый газетчик. Каждый номер обнюхивает со всех сторон: наслаждается типографской краской. «Это, — говорит, — для меня приятнее всякой хвои и даже самых нежнейших цветов!»

Почти в каждом номере, на первой странице, мы печатаем «Письма родным». И поверь, ни в одно письмо не добавили мы от себя ни единой, даже самой коротенькой строчки. Даем прямо так, со всеми «стилевыми ухабами и колдобинами», как говорил наш институтский профессор. Только, может быть, запятым возвращаем их законные места.

Маришка, родная! У меня ведь, поверь, не было никакого заранее обдуманного плана обмануть тебя. Я и правда хотел собрать материал для очерка, а потом махнуть в Крым, на солнышко. Но очерк мой растянулся, каждый день рождает новую страницу или главу. Я и сейчас думаю приехать

к тебе, как только закончу свой очерк. Но когда я напишу последний абзац? Да и будет ли такой?!

Звать тебя сюда из твоего уютного гнездышка с гроздьями винограда на подоконнике просто не решаюсь. А целую по-прежнему крепко-крепко!

Твой А л е к с е й.

Письмо третье

Так ты, значит, стал ответственным секретарем? Ну, знаешь, бóльшую безответственность трудно себе представить! По отношению ко мне, к твоему здоровью и вообще ко всему, ко всему! У тебя сейчас есть лишь один способ сохранить то, что некогда было дорого нам обоим: немедленно уволиться и прилететь (ты слышишь: не приехать, а прилететь!).

Меня совершенно не интересуют дела вашей ежедневной стенгазеты. Хотя должна сказать, что «Письма родным» не слишком оригинальная форма: ее уже не раз использовали по радио. Для начала могли бы выдумать что-то поинтересней.

И еще. Если бы там, в тайге, очутился какой-нибудь человек с такими легкими, как у тебя, я бы посоветовала ему не углубляться в утренний и вечерний лес, побольше быть на открытых, сухих местах. Больные легкие не терпят сырости. Но тебе я этого не посоветую! Мне совершенно безразлично теперь твое здоровье, раз ты мог (посмел!) так бесцеремонно разрушить все наши планы и вообще все, все!..

М.

Р. S. Летчик-богатырь, который каждый день приходит ко мне за пилюлями, совершил сегодня во время мертвого часа самую, как он выразился, «отчаянную мертвую петлю в своей жизни»: сделал мне предложение. Ему осталось отдыхать ровно двадцать дней. Раскаяние свое посылай авиапочтой, а то я могу не получить его вовремя, и тогда дела летчика окажутся не такими уж «мертвыми». Ты еще не знаешь, на что способна девушка в ярости и отчаянии!

Письмо четвертое

Дорогая Маринка! Представь себе: мы до сих пор не нашли машинистку. Я срочно учусь печатать на машинке. Одним пальцем уже умею! Но такой способ пригоден для обычных многотиражек, которые выходят один раз в неделю. А для нашей ежедневной, да еще на фоне здешней строительной техники столь отсталые методы труда просто недопустимы! Поэтому пока мы решили сдавать материалы в типографию в рукописном виде. Это, правда, дело нелегкое, ибо у всех троих ужасающие почерки — верный признак гениальности нашего редакционного коллектива!

Директор типографии (она находится в двенадцати километрах отсюда, в районном центре Каменищи) сказал, что пока, в виде редчайшего исключения, он будет принимать статьи и заметки, аккуратно переписанные от руки. Но только при одном неременном условии: если мы, как он выразился, «раздолбаем» заместителя начальника строительства по быту и транспорту Езерского. «Долбать» замов по быту — дело весьма банальное. Но за что все же его так люто возненавидел наш тихий и мирный директор?

Ты, Маришка, я вижу, кое в чем сильно смахиваешь на нашего беспокойного редактора: подавай тебе хлесткие заголовки! А «Письма родным» — банальная форма? Да знаешь ли ты, что значат письма для людей, недавно только расставшихся с домом? Я-то уж знаю! И видела бы ты, какие здесь выстраиваются очереди перед окошком «Довостребования»! Бегут на почту усталые, не успев даже поужинать. И чуть не плачут, услышав из окошка виноватую шутку: «Вам еще пишут...»

А почитала бы ты эти письма! У каждого свой почерк — и на бумаге и в жизни. Про тайгу пишут и про любовь; и о том, как применили кладку дешевого бутового камня взамен кирпича; и про то, что здесь нельзя достать бигуди, а волосы приходится накручивать на бумагу (пригодилась-таки наша газета!).

Иногда пишут и нам — прямо в редакцию. Правда, пока еще не очень часто. Но вот вчера на второй полосе мы поместили «обоюдоострое», как выразился наш редактор, письмо каменщика Васи Ястребкова «Я против своего рекорда!».

Вася со злостью рассказывает о том, как дал он сотни процентов нормы. Да, со злостью: «Это была не работа, а черт его знает что! Все ребята, здоровенные мужики, обслуживали меня, как няньки: подносили кирпич и раствор, подготавливали фронт работы... Вся бригада плясала вокруг меня! Я поставил рекорд, а они все и одной нормы не вытянули. Что же это такое?»

Только сейчас, работая в редакции, я понял, Маришка, до чего же люди не любят критику. Задень только кого-нибудь, чуть-чуть зацепи — и сразу летят опровержения, трещат телефоны, спешат на выручку адвокаты. Так и после этого письма: «Вы опорочили трудовую победу! Вы очернили коллектив! Вы толкнули Ястребкова на этот пасквиль!»

Здесь некоторые утверждают, что рекорд, если даже не очень настоящий, может все же многих чему-то научить, кого-то вдохновить, взбодрить и содействовать, так сказать, общему подъему. Начальник стройконторы даже пожаловался на нас в партком. И вот бегу объясняться по этому поводу.

Парторг наш — бывший таежный охотник. Но не «суровый с виду и добряк в душе», как пишут в романах, а просто очень зоркий на людские печали и радости человек. И шутит, и каламбурит, и обладает какой-то сверхъестественной силой притяжения... Все местные «правдоискатели» устремляются к нему. Его именем тут запугивают провинившихся («Титов до вас доберется!») и ободряют попавших в беду («А вы бы к Титову!»).

Наш Титыч, как ласково зовут его многие, лично знаком в тайге с каждым деревом, с каждой птицей, с каждым цветком. И откуда он узнал о моей болезни, ума не приложу! Сперва пошутил: «Какая тебя нелегкая с такими легкими в тайгу принесла?» А потом уж всерьез сказал: «Ты тайге поверил — и она тебя вылечит. Травами вылечит! Вот пойду скоро на охоту и принесу тебе верное средство...»

Ну, а сейчас посмотрим, какие травы или, вернее сказать, пилюли пропишет мне Титыч за это самое письмо, «опорочившее трудовую победу»!

На бегу, но все-таки очень крепко целую тебя.

Твой А л е к с е й.

Письмо пятое

Напоминаю, что до отъезда летчика осталось всего двенадцать дней.

А ты заполняешь свои письма рассказами, которые меня совершенно не интересуют: газета, рекорды, бытовой камень...

Да приедешь ты сюда в конце концов или нет?!

М.

Р. S. Не знаю, чем кончился ваш разговор в парткоме, но убеждена, что в истории с этим Ястребковым вы (как ни странно!) правы: на лжи, на обмане никого и ничему научить невозможно. И ты, оказывается (о сюрприз!), понимаешь это, когда речь идет о делах общественных?!

У нас среди санаторных врачей тоже есть любители рекордов. Только «весовых». Гонятся за тем, чтобы каждый отдыхающий прибавил побольше килограммов. Потом складывают все эти «индивидуальные поправки» и где-нибудь на совещании потрясают уже целыми тоннами: «В таком-то санатории за истекший квартал прибавлено три тонны живого веса!» Высшая медицинская математика! А то, что от всех этих килограммов у людей одышка начинается, — это уж не так важно. Боюсь, как бы и у вашей стройки не началась «одышка» от показных рекордов.

И еще одно... Меня, откровенно говоря, уже не очень волнует твое здоровье (просто махнула рукой!), но все же я поражаюсь, как можно отказываться от истинно целебного крымского солнца и верить каким-то знахарским средствам, каким-то травам! Даже если их прописывает сам парторг. Можно ли пользоваться травами без консультаций врача? Не вообрази только, что я забочусь о тебе! Нет, я просто поражаюсь твоему бескультурью! И как столь темные люди могут работать в редакции да еще поучать других?!

М.

Письмо шестое

Дорогая моя Маринка! Твои сообщения о летчике очень напоминают мне наши ежедневные газетные шапки: «До окончания работы осталось всего десять дней!», «До пуска

объекта — всего неделя! Все внимание — ударному объекту!..» Впрочем, прости меня за глупое сравнение.

Ты пишешь мне зло и раздраженно. Но вот удивительно: когда я читал вчера твое письмо со всеми этими «совершенно безразлично» и «я махнула рукой», мне вдруг ясно вспомнились другие письма... Я подошел к своему, еще до сих пор не распакованному чемодану и достал их. Мамины письма...

Мама часто бывала в командировках, а я оставался дома один. И вот что она писала мне издалека: «Я ничуть не сомневаюсь, что ты там без меня уже нахватал целую кучу двоек!.. А когда ты ложишься спать, конечно, забываешь выключить газ... Я уже махнула рукой на твое будущее, но меня все же поражает, как можно целыми днями сидеть в темной ванной комнате над какими-то мокрыми фото пленками, когда на свете есть Гончаров, и Тургенев, и Диккенс».

Мама прекрасно знала, что я никогда не получал двоек. И что, если бы я хоть однажды забыл выключить газ, у нее бы уже не было сына. Но она так писала... А я читал и сердился. И только потом, когда мамы не стало, я перечитал и понял все ее письма: в них были любовь и тревога...

Как и в твоих! Могу ли я на тебя сердиться?

Могу ли сердиться, если и сам люблю тебя еще сильнее, чем прежде! Пойми это... У меня только меньше оснований для тревог: у вас там солнце, и море, и гроздь винограда на подоконнике. Но может быть, один твой летчик перевешивает все здешние опасности? И даже сырой вечерний воздух при моих слабых легких, а?

Нет, не верю! И за то, что не верю, крепко целую тебя.

А л е к с е й.

Письмо седьмое

Маринка, родная!

Минуту назад я вернулся из типографии, раздеться не успел — и вот уже спешу рассказать тебе об истории с Владиславом Петровичем Езерским. Наши молодые ребята зовут

его «Владик», что в расшифрованном виде означает: «Владыка домов и квартир». А еще его называют: «Наш ОТК». Нет, мы и не думаем сравнивать его с отделом технического контроля: это вполне достойный и очень нужный отдел! Речь идет о сокращенном звучании знаменитого словечка «отказать!». Есть разные слова-паразиты. Одни люди суют всюду свое любимое «так сказать», другие не могут жить без «понимаешь», а вот грешный язык Владислава Петровича легче всего и с наибольшим удовольствием произносит это самое «отказать!».

Нам, к примеру, он не дал помещения для типографии, хотя мог бы его найти. Ему приятней, однако, чтобы мы по несколько раз в день топали в Каменищи и обратно.

Одним словом: «Чего моя левая нога пожелает!» Свой фельетон мы так и назвали: «Наше слово — к левой ноге Владислава Петровича!»

И, представь себе, Владик заранее узнал о статье. Нет, он ничего не вынюхивал — просто директор типографии проговорился. Езерский отказал ему в новых шрифтах («Вы и старыми больно шлепаете!»), а директор ему в ответ: «Вас то уж шлепнем! И на первой полоске!»

Владик немедленно принял меры. Прежде всего он помчался в партком. А наш старый таежный охотник ответил ему: «Я тебя, Езерский, сам давно на мушке держу. Но пусть газета первая пальнет! Сразу оценишь этих «разбойников».

Ты думаешь, Владик сдался? О нет! Он с ходу реквизировал автомобиль, на котором мы иногда ездим в типографию, и я прошагал десять километров в темноте через лес (так намного короче).

Газета завтра опоздает. А мы в самом конце номера напечатаем жирным шрифтом: «Номер не вышел вовремя из-за того, что герой нашего фельетона, Владислав Петрович Езерский, вновь оказался во власти своей левой ноги». Борьба так борьба!

А л е к с е й.

Р. С. Прости! Первый раз в жизни забыл поцеловать тебя: зол, как собака. И валюсь с ног от усталости. Прости!..

Письмо восьмое

Быть может, это прозвучит пошловато, но я убедилась: время — самый надежный целитель. Еще недавно я бы ужаснулась, узнав, что ты со своими легкими прошагал десять километров по сырому вечернему лесу. А сейчас это твое сумасшествие (ты слышишь: сумасшествие!) меня ни сколько не тронуло. Ну ни капельки!

Хотя мои сообщения о летчике и напоминают тебе какие-то там газетные «шапки», я все же дерзну еще раз сообщить: он уезжает отсюда через неделю и очень просит меня до отъезда что-то ему ответить. Ради меня он готов перевестись на постоянную работу сюда, в Крым: преподавателем в какую-то летную школу. Я вижу, что он в отличие от тебя по-настоящему... Да, да: именно по-настоящему и именно в отличие!

Не воображай только, что я когда-нибудь приеду в твой дикий лесной край: это значило бы не уважать себя, не ценить своей работы и, наконец, не дорожить твоим здоровьем. Хотя им я, кажется, почти уже и не дорожу.

История с Езерским, которой ты заполнил все предыдущее письмо, меня очень мало интересует, но я уверена почему-то, что фельетон вы написали беззубый: откуда вам уметь писать фельетоны?! Хотелось бы убедиться в своей правоте: пришли мне один номер этого вашего боевого листка.

И еще скажу, что любая уважающая себя редакция уже давно бы добилась постоянной автомашины, а не гоняла бы своих сотрудников ночью через лес.

Так приедешь ты в Крым или нет?! Спрашиваю тебя в последний раз. Самый последний!

М.

Р. S. Как, между прочим, кончилась эта история с «рекордом»? Кто победил?

Письмо девятое

Маришка, любимая! Сегодня был на стройке нового жилого дома, что выходит одной стороной на наш местный Крещатик, а другой — к большому лесному озеру.

Думал собрать материал для очерка. Но ничего не собрал...

Бродил по недостроенным этажам и все думал: «А вот бы поселиться нам в этой комнате!.. Или вот в этой... Или вон в той... Сюда бы поставили письменный стол и полочку с книгами. А здесь вот, в этом углу, было бы Маринкино царство: врачебные инструменты, и едва уловимый запах духов, и уж непременно электрический утюг на гладильной доске... Я ведь знаю, как любит она разглаживать каждую морщинку на платье! А отсюда, с этого балкона, Марина могла бы глядеться прямо в озеро — такое чистое, что даже цвет камешков на дне разобрать можно...»

Мечты, мечты!..

На третьем этаже налетели на меня молодые штукатуры — ребята из ремесленного. «Где же газета?! — кричат. — Обеденный перерыв на носу, а газеты нет! Эх, работнички!..» Я объяснил, что в понедельник мы «не выходим». Да они это и сами знают. Просто работали без выходного, воскресенье смешалось у них с рабочими днями — вот и понедельника не заметили.

Ну, стали извиняться. А за что? Ведь их «налет» доставил мне радость! Значит, газету ждут...

Совсем забыл... Ты же спрашивала, чем кончилась борьба вокруг знаменитого уже здесь ястребковского «рекорда». А кончилась она тем, что парторг наш сказал начальнику стройконторы: «Мы не против показателей, а против очковтирателей». И рассмеялся: случайно в рифму получилось.

Мы хотели дать эти слова «шапкой» на второй полосе, но Титыч не разрешил: «Цитируйте классиков!»

Выслал тебе бандеролью не только фельетон о Езерском (ты ведь и об этом просила), а всю подшивку нашей газеты, которую ты так неуважительно именуешь то стенгазетой, то боевым листком.

А л е к с е й.

Р. С. Кстати, вчера зачислили в штат редакции машинистку. Нашли наконец! Отыскали! Девятнадцатилетняя девушка из Ленинграда. Никаких оценок давать не буду. Скажу лишь, что весь мужской состав нашей редакции (кроме меня) вышел сегодня на работу в новых костюмах.

Телеграмма первая

Каменищи. Строительство завода. Редакция многотиражки. Алексею Костенко.

Выезжаю десятого тридцать третьим скорым, вагон седьмой.

М а р и н а.

Телеграмма вторая

Поезд тридцать третий скорый, вагон седьмой. Марине Крыловой.

Насчет машинистки наврал. Жду нетерпением, крепко целую.

Т в о й А л е к с е й.

1956 г.

ЗАПИСКИ ЭЛЬВИРЫ



Сколько я себя помню, семья наша всегда была разбита на два лагеря: в одном лагере папа, в другом — мама и я. Тетю Анфису, мамину сестру, считали «перебежчицей»: она то защищала папу (это бывало чаще всего), то нам с мамой поддакивала. Лагери вполне можно было назвать «военными», потому что между ними без конца происходили столкновения и конфликты, иногда даже вооруженные: мама, выйдя из себя, бросала в папу пушистый моток шерсти или, доказывая свою правоту, тыкала ему в пиджак вязальными спицами: мама собиралась стать надомницей — и вот уже пятый год училась вязать кофточки.

Причиной столкновений почти всегда была я.

Это началось в самый первый день моего рождения. Папа решил назвать меня Верой — в честь своей старшей сестры, которую очень любил. Узнав об этом, мама, по ее словам, выписалась из родильного дома на два дня раньше срока.

Она сказала, что не потерпит, чтобы ее первая (и, как потом выяснилось, последняя) дочь носила столь заурядное имя.

К тому же мама уже тогда успела возненавидеть всех папиных родственников, и в том числе тетю Веру, которую ни разу в жизни не видела.

Папа просил, доказывал, что имя Вера совсем не такое уж простое, что единственную женщину, которую по-настоящему любил Печорин, как раз звали Верой и что его старшая сестра, живущая на Дальнем Востоке, просто ангел, что она не сделала и не могла сделать маме ничего плохого... Но мама была тверда. Она взяла мою метрику, которую папа тайно от нее заполучил в загсе, поставила перед именем «Вера» аристократическую приставку «Эль», букву «е» переправила на «и» — и так я стала Эльвирой.

История эта пересказывалась у нас в доме десятки раз, и мне стало казаться, что я сама помню ее всю в мельчайших подробностях, вплоть до лиловых чернил, которые уже выцвели на моей метрике и которыми мама в тот день от волнения закапала свое платье.

Мама приводила всю эту давнюю историю в доказательство того, что я всегда, с первого дня своего рождения, была абсолютно безразлична папе. («Только глубоко равнодушный человек мог назвать дочь таким именем!») А папа подкреплял этой историей свою излюбленную мысль о том, что мама стала неправильно (уродливо, как он выражался) воспитывать меня с пеленок.

Папа не признавал моего «исправленного» имени, и вот уже восемнадцать лет наперекор маме называл меня Верочкой или, когда сердился, попросту Верой.

Да, причина конфликтов всегда была одна и та же. Но характер их менялся в зависимости от моего возраста и от времени года. Каждое лето, например, папа говорил, что меня нужно отправить за город с детским садом (когда я была совсем маленькой) или в пионерский лагерь (когда стала постарше). Мама хваталась за голову:

— Ну да, она всегда была ему безразлична! Ему неизвестно, что там, где собирается больше трех детей сразу, возможны эпидемии.

Мама, когда сердилась на папу, говорила о нем в третьем лице, словно бы он отсутствовал в комнате.

По той же причине — эпидемии, вирусы — мама долго не пускала меня в театры, в кино. Она бы, наверно, и в школу не пустила, но тут уж просто была бессильна.

Папа подходил к окну и начинал пристально изучать соседний двор. Он складывал руки за спиной, нервно сжимал и разжимал пальцы, одновременно приподнимаясь и опускаясь на носках, словно выполнял какое-то упражнение лечебной гимнастики.

— Ее бы еще лучше послать в туристский поход куда-нибудь на Эльбрус. Чтобы училась преодолевать препятствия, хребты. Карабкаться вверх! И чтоб подышала свежим, незагрязненным воздухом!

— Пусть карьеристы карабкаются вверх, — победоносно заявляла мама, хоть сама всегда учила меня «не быть в жизни растяпой».

В разговор вмешивалась тетя Анфиса.

— Лагерь — это да, — говорила она. — Эльбрус — это нет. Тут уж ты, Вася, переходишь границы. Поверь, я всегда за абсолютную справедливость.

В конце концов папа, как он выражался, «уставал бороться» — и мы проводили лето где-нибудь на даче в Малаховке.

Когда я стала учиться в школе, мама сама выбрала мне подругу. Ее звали Нелли. Никто в нашем первом классе «В» не заплетал свои тонкие косички такими яркими ленточками, как Нелли, никто не носил таких блестящих лакированных туфель и таких модных платьиц с плиссировками внизу, которые мальчишки называли «гармошками». Мама сказала, что Нелли — девочка из хорошей семьи. Я не поняла, что это значит. Тогда мама объяснила мне, что у нее, оказывается, очень порядочные родители. Что это люди с большим вкусом к жизни... Правда, когда я была в седьмом классе, порядочного Неллиного папу судили, как выразилась мама, «за какие-то серьезные операции». А папа сказал, что просто за воровство. Папа всегда был против моей дружбы с Нелли, но молчал, потому что «устал бороться».

Училась я на тройки и четверки (с некоторым преобладанием троек). Мама говорила, что я очень способная девочка, но что мне все слишком легко дается — и в этом главная беда. Получалось как-то так, что я именно из-за своих больших способностей учусь на тройки. Мне эта теория очень нрави-

лась. «Да, я не какая-нибудь там зубрилка!» — с гордостью думала я. И так добралась до десятого класса.

Когда я получила аттестат зрелости, папа сказал, что первое мое «зрелое» решение должно состоять в том, чтобы и не пытаться поступать в институт, потому что я туда все равно не поступлю, а пойти куда-нибудь на курсы: я любила рукодельничать, и мама брала у меня уроки вязания.

В ответ на это папино заявление мама, по ее словам, потеряла сознание. Но и в бессознательном состоянии она умудрилась сравнить папу с мистером Домби и сказать, что этот мистер по сравнению с папой — настоящий образец любящего и заботливого родителя. Мама сказала, что я обязательно поступлю в театральное училище, потому что еще в раннем детстве блестяще притворялась больной, когда не хотела чего-нибудь кушать или идти в школу в день контрольной работы.

— Ты видел в этом только хитрость! — крикнула мама, все еще находясь в бессознательном состоянии. — А я разглядела талант. Дарованье актрисы!

Папа, конечно, тут же «устал бороться», а я послушалась маму — и пошла на экзамен в театральное училище. Однако, когда я, читая известную басню, дошла до слов «Ворона каркнула во все воронье горло...» и взглянула на приемную комиссию, мне стало ясно, что дальше можно уже не читать. Мама сказала, конечно, что во всем виновата не лисица и не ворона, а папа, потому что это он накаркал, что я не поступлю в институт.

— Но в будущем году твое предсказание не сбудется, не тешь себя, — заявила мама. — За зиму Эльвирочка подготовится и обязательно поступит в высшее учебное заведение.

Но куда поступить? Я зубрила историю, литературу, немецкий язык, а мама бегала по знакомым: узнавала, в какой институт подадут меньше всего заявлений, и одновременно нащупывала связи.

— Ах, если бы не пострадал Неллин отец! — вздыхала она. — У него всюду были друзья. Не то что у нашего папочки!..

Папа вскипел.

— Прости, пожалуйста! — сказал он, пристально разглядывая соседний двор, поднимаясь и опускаясь на носках. — У меня очень прочные связи и прекрасные друзья!

Я могу устроить ее к себе на завод, в цех. И это было бы лучше всего! Лучше всего, запомни!.. Или послать ее к Верочке на Дальний Восток. Стала бы там человеком!

Тут вступила в разговор тетя Анфиса:

— Курсы — это да, цех — это нет. Ты, Васенька, опять перебарщиваешь. Поверь, я всегда за абсолютную справедливость.

— А дальше Дальнего Востока ты ничего для своей дочери не нашел! — вновь впадая в бессознательное состояние, ужаснулась мама.

Она продолжала изучать московские вузы. А в свободное время знакомилась с жизнью нашего дома — его секций, квартир. Она очень любила это занятие и каждый день приходила с новостями. Как-то вечером мама сообщила:

— Эти тихони Краснушкины с первого этажа оказались практичнее нас всех. Они виртуозно обменялись: за свою каморку получили целых две комнаты. И говорят, без всякой доплаты!..

— Разве в нашем доме есть каморки? — удивился папа.

Дом был построен папиным заводом — и никакие критические замечания в его адрес не допускались.

— Хотела бы я взглянуть на этого дурака, который переехал в их каморку на первый этаж, — вызывающе повторила мама.

«Дурака» я увидела на следующий день. Это был невысокий молодой человек в очках. Неловко, на вытянутой руке, как носят брыкающуюся кошку, он нес авоську, из которой выглядывала длинная — зубастая и глазастая рыбья голова. Нелли уже давно внушила мне, что мужчины, которые таскают по улицам хозяйственные сумки, — это не мужчины. Поэтому я не стала разглядывать нового жильца более пристально. Но мама разглядела, все разузнала и прибежала домой с криком:

— Он, оказывается, не такой уж дурак! Он — доцент! Ты слышишь, Эльвирочка, доцент пушного института! Это же прекрасный институт: после него, наверно, не посылают к черту на рога. Ты будешь работать где-нибудь здесь, поблизости, в Столешниковом переулке. И даже, может быть, «организуешь» своей маме шубу, которую за двадцать лет совместной каторги не смог «организовать» твой отец!

Оказалось, что мать доцента больная женщина, ей трудно

подниматься по лестнице, и вот почему они переехали в комнату Краснушкиных на первый этаж.

— Ты должна немедленно попасть к ним в дом! И завязать дружеские, прямо-таки родственные отношения, — заявила мама.

Но как же проникнуть в дом к незнакомым людям? Мама предложила, чтобы я в порядке общественной работы разносила квитанции по квартирам или даже стала агитатором. Но квитанции разносил наш дворник дядя Семен; причем свои посещения он использовал для бесед со злостными неплательщиками и никак не мог поручить мне это дело.

А агитаторами неработающих людей не назначали.

Папа молчаливо, с ехидной усмешкой наблюдал за нами: «Что еще вы придумаете?»

Но вот однажды за ужином мама торжественно объявила:

— Нам повезло: у его матери отнялись ноги!

От этой фразы у папы, кажется, отнялся язык и вилка упала на пол.

— Я попрошу... чтобы в этом доме... Людоедство какое-то! — еле выдавил он из себя.

— Я же не в том смысле, — спохватилась мама. — Я очень сочувствую бедной женщине. Все знают, какое у меня сердце! Все знают, кроме тебя... Но сейчас Эльвирочка просто обязана будет войти в их семью, чтобы помогать больной. Он целый день в институте, домработницу найти нелегко. А тут будет заботливый человек... Так сказать, сестра милосердия с законченным средним образованием. Мы, таким образом, идеально совместим их интересы со своими собственными планами! Понял, невозможный ты человек? Решено: завтра днем ты, Эльвирочка, спустишься на первый этаж! А утром мы кое-что предпримем...

Мама ценила только то, что трудно было достать. Если материал, даже очень красивый, свободно лежал на полке в магазине, мама долго ощупывала его, мяла, собирала в гармошку и потом говорила:

— Здесь что-нибудь не то... Он бы не лежал так просто.

И она покупала другой материал, который был не столь красив, но зато его приносила к нам домой загадочная Римма Васильевна. Папа называл Римму Васильевну «землечер-

палкой», потому что у нее был огромный рот, полный блестящих металлических зубов.

По коридору Римма Васильевна шла как-то боком, боязливо озираясь по сторонам, как проходят по зданию, где только что кончился ремонт, о чем предупреждают таблички: «Осторожно, окрашено!» В коридоре Римма Васильевна казалась очень полной, а войдя в комнату, она вытаскивала из-под пальто какой-нибудь сверток, всегда перевязанный розовой ленточкой, и сразу худела. Римма Васильевна была суеверна: розовая ленточка приносила ей счастье.

Мама разворачивала свертки так осторожно, так бережно, словно в бумагу было запеленуто живое существо. Римма Васильевна тем временем бесцеремонно разглядывала комнату, останавливая свой презрительный взгляд то на обоях, то на посуде, то на моем платье.

Мама робела, начинала оправдываться:

— Обои, конечно, как вы говорите, не по последнему слову... Хорошо бы под шелк!

Римма Васильевна сочувственно покачивала головой.

— И посуда у нас тоже... Не датский фарфор и не что-нибудь такое... А вот отрезик ваш очень оригинален. Вы знаете, что я враг шаблона.

Римма Васильевна привыкла, чтоб перед ней заискивали. Взгляд ее снисходительно сочувствовал маме и как бы говорил: «Если бы я вам доставала и обои, и посуду, и все прочее, это было бы по последнему слову моды. Можете не сомневаться!...»

— Да, очень даже оригинальный материалчик, — продолжала восторгаться мама.

Римма Васильевна, будто сейчас только вспомнив о материале, бросала всегда одну и ту же фразу:

— У н а с вы этого не достанете! — Она особенно нажимала на слова «у нас».

Фраза производила на маму магическое действие: она сразу вытаскивала мою старую вязаную шапку с помпоном, в которой хранились «левые», то есть скрываемые от папы, деньги. Мама скопила их в результате экономного ведения хозяйства и скрытых от папы выигрышей по лотереям. Деньги отсчитывались так торопливо, точно мама боялась, что Римма Васильевна может передумать и унести сверток обратно.

Римма Васильевна принимала бумажки небрежно, не считая: дело, дескать, не в них — лишь бы мои клиенты были одеты «по последнему слову»...

Да, мама ценила только то, что трудно было достать. А к тому, что получить было легко, она относилась с недоверием.

Она никогда не вызывала врачей из нашей районной поликлиники. Это было слишком легко и просто: позвонил по телефону — и пожалуйста!

— Это же не врачи — это бюллетенщики, — говорила она. — Ну, а мне пока что бюллетени не нужны...

— Тебе, конечно, не нужны, — усмехался папа... — А вот меня, слава богу, спас от астмы Иван Федорович, старик из нашей районки. У него колоссальный опыт.

— Тебя спас не Иван Федорович, а я! — возражала мама. — Вот эти... эти заботливые руки жены и друга выходили тебя!..

Мама вытягивала вперед свои руки. Она делала это при каждом удобном случае: руки у нее были очень белые и красивой формы, словно точеные. Это признавала даже тетя Анфиса, которая была строга и все оценивала с точки зрения абсолютной справедливости.

А один пожилой друг нашего дома воскликнул:

— Настоящее «лебединое озеро»!

С тех пор мы так и стали называть мамины руки «лебединым озером». Говорили, например: «Мама занозила свое «лебединое озеро». Или, когда мама возмущенно махала руками: «Лебединое озеро» вышло из берегов»

Но в общем, все это не имеет никакого отношения к делу. Речь ведь шла о врачах...

Много лет подряд мама лечилась только у гомеопатов. Это было не так шаблонно. Кроме того, попасть к гомеопату было довольно трудно. Когда же открыли специальную гомеопатическую поликлинику, куда можно было записаться, как в любую другую, мама остыла к гомеопатии. Она стала лечиться у «мага и волшебника», который жил за городом, на станции Крайнинка. «Маг и волшебник» лечил травами и древесной корой. Чтобы записаться к нему на прием, нужно было иметь минимум два рекомендательных письма, ездить несколько раз за город на электричке, долго звонить у садовой калитки... Все это было как-то не

обычно, не просто — и потому мама беззаветно верила крайнинским лекарствам.

— Твой путь в институт лежит через Крайнинку! — заявила мама.

— Институт за городом? — огорчилась я.

— Ах, совсем не то... Мы поедем в Крайнинку и достанем лекарство для ног его мамы. Она у нас забегают по лестницам, как Витька из первой квартиры! Вот увидишь! Ну, а доценту останется лишь отблагодарить тебя.

Одним словом, на следующее утро мы отправились в Крайнинку.

Странное дело, мне показалось, что «маг и волшебник» чем-то очень похож на Римму Васильевну. Он тоже привык, чтоб перед ним заискивали, и снисходительно покачивал головой, когда мама называла его «исцелителем», «благодетелем» и «профессором». Деньги в конце приема он тоже принял очень небрежно, скомкал их и, не считая, бросил в ящик письменного стола... После этого «маг и волшебник» протянул нам большой пучок желтой травы. И, скрестив руки на груди, устало произнес:

— Берете сосуд с элементарной водопроводной водой. Путем постепенного нагревания доводите воду до высшей точки кипения, то есть до ста градусов по Цельсию...

Мама слушала как замороженная.

— Затем опускаете в сосуд эту редкую, нездешнюю траву, привезенную с далеких горных лугов. И полученным целебным раствором оmyваете больные конечности.

— Прямо... в кипятке? — испуганно прошептала я.

— Абсурд. Постепенным охлаждением вы доводите температуру до уровня возможной терпимости... Вот так. Следующий!..

Выйдя за калитку, я лучше разглядела траву, вдохнула запах далеких горных лугов и сказала шепотом, словно величественный «маг и волшебник» все еще мог услышать меня:

— А ведь я этой самой травой горло полоскала. В прошлом году, когда была стрептококковая ангина. Помнишь? И для горла и для ног, значит, одно и то же?

— Ты ничего не понимаешь в настоящей медицине, — сердито ответила мама.

И мы заспешили на электричку.

Дверь мне открыл сам доцент. Я отступила на шаг, потому что доцент был в подтяжках. («Таскает авоську, ходит в подтяжках,— подумала я.— А еще, наверно, считает себя мужчиной. Увидела бы его Нелли!») Волосы на голове у доцента стояли дыбом, словно он чего-то испугался. Глаза, однако, ужаса не выражали. Они оглядели меня сквозь очки хмуро, но без всякого удивления. Так смотрят на гостей, которых не ждали. В одной руке он держал развернутую газету, она свисала до самого пола, надувалась и шуршала от сквозняка.

— Поскорей входите,— сказал доцент. Мама накануне узнала, что его зовут Сергеем Сергеичем.— А то застудите квартиру. У меня больная...

Я вошла в коридор.

— Вы, наверно, к Краснушкиным? — продолжал Сергей Сергеич.— Так они переехали отсюда на Маросейку... Да, на Маросейку переехали. Обмен, обычный обмен. Я вам, разумеется, дам более подробный адрес. Проходите, пожалуйста, в комнату.

По маминому совету я прежде всего должна была сказать: «Меня к вам привел гражданский долг!..» Но я никак не могла произнести эту громкую фразу.

— Я пришла... Мой долг...— пролепетала я.

— Ах, долг! — воскликнул Сергей Сергеич.— Понимаю... Вы одолжили у Краснушкиных деньги? К нам уже заходили их должники... Да, заходили... Широкие люди, эти Краснушкины. Правда, мама? Уехали — и забыли о своих должниках. Мы вам дадим адрес — и вы отвезете на Маросейку. Да, прямо на Маросейку. А то можете мне оставить, я передам.

Растерявшись, я стояла на пороге комнаты и молчала. Мама предвидела это. Посылая меня к доценту, она предупреждала: «Только не будь растяпой. Постарайся понравиться сразу, еще в коридоре. Имей в виду, что первое впечатление самое сильное... «Неизгладимое», как пишут в романах. Если бы я могла пойти вместо тебя, все было бы в порядке! А ты растеряешься — и подумают, что какая-нибудь придурковатая...» Но хозяйева квартиры не успели этого подумать. Из комнаты раздался женский голос:

— Входите, входите к нам. Нечего стесняться! — Только

у врачей и старых учительниц бывают такие приветливые и в то же время властные голоса.

Я вошла в комнату. И удивилась: комната была как бы продолжением нашего двора. Я никогда не глядела во двор с первого этажа. А тут он весь был перед глазами. Вон горка, с которой много лет назад я любила съезжать на портфеле. Мама еще, помню, сказала, что Нелли никогда бы не додумалась до этого. А вон сломанная беседка, которая по нашему желанию превращалась то в «башню смерти», то в «ларек», из которого мы, тоже много лет назад, торговали песочным мороженым.

Я смотрела в окно, и потому женщина, лежавшая на диване под пледом, сказала:

— Вам холодно? Мы до зимы с открытыми окнами.

Я подумала: «Бывают же у родственников такие разные, непохожие лица!» У Сергея Сергеича глаза были тревожные, невнимательные, словно он, разговаривая с вами, все время куда-то торопился. Губы у него слегка подергивались. «Молодой... и уже нервный!» — подумала я.

А у Марии Федоровны, так звали мать доцента, те же бледно-голубые, будто нарисованные «разбавленной» краской глаза вглядывались в меня напряженно. Казалось, что Мария Федоровна не совсем хорошо слышит и старается что-то угадать по лицу собеседника. Улыбка у нее была спокойная и молодая: зубы белые и все до одного на своем месте.

— Вы действительно отвезите свой долг на Маросейку, — сказала Мария Федоровна. — А Сереже не давайте денег ни в коем случае. Непременно потеряет или забудет передать.

— Ну, ма-ама!.. — Сергей Сергеич, укоризненно покачивая головой, уселся за тарелку с супом. От смущения он закрылся газетой, которую укрепил на столе при помощи хлебницы.

Воспользовавшись передышкой, я немного пришла в себя и сказала:

— Мы ничего не должны Краснушкиным... Никаких денег. Я даже с ними не знакома...

— Не знакомы? — Мария Федоровна удивленно наклонила голову. — Тогда чем мы обязаны?

Не могла же я в ответ признаться: «Пришла потому, что провалилась в театральное училище. Теперь мечтаю посту-

пить в пушной институт, чтобы работать в Столешниковом переулке...» А отвечать все-таки надо было. Я не придумала ничего лучшего, как вытащить из сумки пучок желтой, довольно-таки вонючей травы, подойти к Марии Федоровне и сказать:

— Это вам!

— Мне? Такой странный букет?

— Это не букет... Это целебная трава. Вы растворите ее в кипятке... Так один волшебник сказал. Со станции Крайнинка.

— Из Крайнинки? Слышала про его чудеса! — Мария Федоровна весело сверкнула своими неестественно-безупречными зубами. — А кто вас-то ко мне прислал? — И, не дождавшись ответа, сказала: — Ну что ж, и это испробуем.

Но тут вскочил Сергей Сергеич.

Он оперся двумя руками о стол, а тело наклонил немного вперед, будто стоял на кафедре.

— Пить? Знахарское зелье... пить?

— Сережа! Какой ты невыдержанный! Это же неприлично. Девушка с лучшими намерениями...

Чтобы утешить меня, Мария Федоровна взяла пучок травы, понюхала его и закашлялась.

— Пахнет крепко. Может быть, и в самом деле поможет? Сделаю настойку и буду, как это говорят, опрокидывать перед обедом.

В тот же миг Сергей Сергеич подскочил к дивану, вырвал у Марии Федоровны пучок травы и с криком — «Терпеть не могу темноты и невежества!» — выбросил его в окно, которое до зимы не закрывалось. Несчастный пучок зацепился за куст сирени и беспомощно повис в воздухе.

С победоносным видом, точно подвиг какой-нибудь совершил, Сергей Сергеич проследовал обратно к столу и снова уткнулся в газету.

Тогда только я пришла в себя и тихо сказала:

— Траву вовсе не надо было опрокидывать перед обедом. Ею нужно омыwać конечности...

Но было уже поздно: букет «с далеких горных лугов», поболтавшись немного на кусте сирени, упал вниз.

Мария Федоровна, утешая, гладила меня по руке.

— Сережа! Ну кто поверит, что твоя мать педагог? И что сам ты учишь молодых людей уму-разуму? Никакой

выдержки, никакой! Девушка с лучшими намерениями...

— Вот именно с лучшими...— жалобно проговорила я.— Мы с мамой хотели... Я каждый день буду за вами ухаживать. Прямо с утра до вечера...

— За мной? Ухаживать?

— Ну да! Это мы с мамой решили.

Сергей Сергеич оторвался от газеты.

— С утра до вечера, говорите? Да? Целый день? А вы, что же, нигде не учитесь?

— Нет, не учусь...

— И не работаете?

— Я не работаю...

— Угу-у...— протянул он.

Покосился на мои новые лакированные туфли, потом подергал себя за ухо и спросил:

— А это у вас... что? Красные подсолнухи? Или солнце в час заката?

— Это клипсы...— растерянно ответила я. И для чего-то добавила: — У нас таких не бывает.

— У нас не бывает? — удивился Сергей Сергеич.— А вам откуда же привезли? С того света? — Он сердито постучал ложкой о тарелку.— Маму, между прочим, ученицы навещают. Да, навещают...— И ехидно добавил: — В свободное от занятий время!

— Сережа, ты в институт опоздаешь в конце концов! — воскликнула Мария Федоровна.— Она ведь не знает, что у тебя характер вулканического происхождения. Не знакома еще с тобой.

И, притягивая меня за руку к дивану, тихо, как заговорщица, прошептала:

— Мне приятно, что ты пришла. Только ведь трудно будет со мной.

Мария Федоровна вдруг перешла на «ты».

— Мне не трудно!.. Честное слово, не трудно! — не глядя на доцента, поспешила я заверить Марию Федоровну.

Он в это время поспешно натягивал пиджак и одновременно запихивал бумаги в портфель. Подошел к матери, поцеловал ее в лоб и вдруг, повернувшись ко мне, спросил:

— Вас как зовут?

— Меня? Эльвирой...

— Ах, Эльвирой! Я так и думал...

...Очень скоро я поняла, что моя помощь вовсе не нужна Марии Федоровне. Старую учительницу навещали влюбленные в нее ученицы — и те, которые еще учились, и те, которые уже кончили школу. Учениц было много, каждый раз приходили все новые. И непременно начинались вопросы: «А как тебя зовут? А где ты, Эльвира, учишься? А где ты работаешь?» Узнав, что я нигде не учусь и нигде не работаю, ученицы пожимали плечами, покачивали головами... А одна даже фыркнула. Это была Лена Сигалова. Потом уж я узнала, что она вообще фыркает при каждом удобном случае.

Лена была единственная из всех учениц, которая приходила к Марии Федоровне ежедневно. У нас с Леной было много общего: она, как и я, кончила школу в этом году; как и я, засыпалась на экзаменах в институт. Так что вполне могла бы не фыркать!

Не добрав на экзаменах в мединституте двух очков, Лена, кажется, горевала недолго. Она поступила работать в больницу. Это ей Мария Федоровна посоветовала.

— Она была моей любимой ученицей, — сказала Мария Федоровна. — Правда, училась, как это у нас говорят, не на круглые пятерки. С грамматикой была не в ладах, с запятыми не управлялась. Они-то как раз и подвели ее... Но я обожала вызывать Лену к доске. И спорить с ней! Дискутировать...

«Любить и вызывать к доске — это несовместимо!» — подумала я. — И спорить? Прямо на глазах у всего класса?»

— Она книги как-то по-своему понимала. Раззадорю ее, бывало, а потом слушаю с удовольствием, как она горячится, доказывает, — продолжала Мария Федоровна. — Да... Не всегда, знаешь ли, отличники самыми любимыми учениками бывают. — Мария Федоровна, наклонив голову, помолчала немного: дала мне время поразмыслить. А потом, точь-в-точь как на уроке, спросила: — Тебе это ясно?

Однажды я поинтересовалась:

— Лена, а кем ты будешь?

— Пока санитаркой, — ответила она.

— Санитаркой?!

Я вспомнила, как мама часто говорила папе: «Ты бы, конечно, хотел искалечить ее жизнь? Сделать из нее токаря, слесаря... Или какую-нибудь там санитарку!»

У Лены, однако, вид был не «искалеченный». Она мурлыкала себе под нос очередную модную песенку из кинофильма.

— Почему ты не переждала год? — спросила я. — А потом бы опять в институт...

— Мне нельзя пережидать, — ответила Лена. — Я деньги должна домой приносить: или стипендию, или зарплату. Отца нет. И двое братишек маленьких... Такое вот дело.

Я недоверчиво оглядела Лену. Мне нравились ее платья — простые, сшитые со вкусом, но без всяких претензий. Они шли к ее задиристому личику и спортивной фигуре. Лена поняла мой взгляд.

— Платья я сама шью. Портнихи дорого берут. Ну раз, думаю, такое дело — сама научусь шить. И научилась. Ничего, да?

Лена двумя пальцами приподняла край юбки и гордо прошлась по комнате.

— И прическа у тебя по последнему слову, — высказалась я словами Риммы Васильевны.

— По последнему слову? — Лена фыркнула. — Да я под мальчишку с пятого класса стригусь.

— Подтверждаю, — сказала Мария Федоровна. — Так что мода эта, вероятно, от Лены пошла.

Бывшая любимая ученица приходила к Марии Федоровне прямо с работы. Она, как хозяйка, придирчиво оглядывала комнату и тут же начинала вытирать клеенку, подметать пол.

— Сколько крошек на столе! Будто для голубей насыпали... Сколько пыли на полу! — приговаривала она.

А я помалкивала... Ведь не могла же я сознаться, что только недавно убирала комнату и даже умудрилась выпачкать руки и платье. Лена не надевала передник, не засучивала рукава — и все же оставалась такой чистенькой, словно не касалась тряпки и веника. Потом она ставила Марии Федоровне термометр, хоть и это я успевала сделать до ее прихода. Мария Федоровна оправдывалась передо мной:

— Ничего, измерим еще раз. Доставим ей удовольствие.

Лена шла на кухню и принималась готовить обед. Я хотела помочь ей — и все делала невпопад. Но она не сердилась, а только подмигивала мне своими подвижными серыми глазами:

— Соль нужна, безусловно. Но только попозже. И не целая ложка, а совсем чуточку — на кончике ножа. Влюбилась ты, что ли?.. И лук пригодится. Да не в кожуре ведь его варить. Дай я очищу, а то вся исплачешься.

И она «раздевала» луковицу так проворно, так быстро, что ни одна слезинка не успевала блеснуть в глазах.

Работа у Лены шла как-то легко и весело, без всякого напряжения. Смотреть было приятно... И немного завидно.

Да, моя помощь не нужна была Марии Федоровне. Совсем не нужна... И все-таки она просила меня приходить. Каждый вечер, прощаясь, она говорила:

— Завтра жду тебя, Вира. Если сможешь, обязательно приходи. Мне с тобой легче будет.— Склонив голову набок, она немного выжидала и потом спрашивала: — Тебе это ясно?

Нет, тогда мне еще не было ясно, зачем звала меня к себе Мария Федоровна. И только сейчас, два года спустя, я, пожалуй, кое-что поняла.

Вернувшись с кухни, Лена говорила:

— Ну, мы с Эльвирой приготовили обед. Теперь отдохнуть можно. Отдохнуть — это значило подсесть к дивану и начать разговор о книгах.

У нас дома книг было много. Мама ночами стояла в очередях, чтобы подписаться на новые собрания сочинений. Некоторые особо дефицитные книги ей доставала Римма Васильевна. Сама она, должно быть, никогда не читала, но редкими книгами очень интересовалась, потому что и это считала «последним словом моды». Литературу она оценивала главным образом по внешнему виду.

— Любой ценой подпишитесь на Ожешко,— говорила она маме.— Представьте себе: молочный цвет с золотым тиснением. Это же будет чудесно гармонировать с вашим новым абажуром...

Мама даже купила большой книжный шкаф. Расстановкой книг в шкафу руководила Римма Васильевна.

— Ну что вы?! — восклицала она.— Разве можно Тургенева рядом с Гоголем? Они же несовместимы! Совершенно разные стили: один — зеленый, другой — синий. Надо поставить между ними Джека Лондона. Он голубовато-серый, и мы, таким образом, добьемся постепенности перехода одного цвета в другой.

Собрания сочинений в шкафу сверкали и переливались золотыми и серебряными корешками.

Но дверцы шкафа были заперты наглухо, и где находился ключ, никто, кроме мамы, не знал.

— Книги — это лучшее украшение комнаты. Они придают дому интеллектуальный блеск! — говорила мама. — И нечего их трепать. Одолжите у знакомых, пойдите в библиотеку...

Тащиться в библиотеку мне было лень...

Первое время папа возмущался.

— Где ключ? Скажи, где ключ?! — требовал он.

— Я бросила его в колодец, — вызывающе отвечала мама. — Теперь книги замурованы в шкафу, как Аида и Радамес.

Папа грозил позвать стекольщика, чтобы тот алмазом вырезал стекла и освободил книги из заточения.

— Ты позовешь стекольщика, а я позову милицию, — отвечала мама.

Папа, как всегда, «уставал бороться» и замолкал.

Как только Мария Федоровна и Лена начинали беседовать о литературе, я старалась незаметно ускользнуть домой или делала вид, что занята чем-то на кухне. Если же Мария Федоровна нарочно удерживала меня в комнате, я вдруг вспоминала, что ей давно уже пора принимать лекарство, или менять грелку, или просто отдыхать...

Но долго хитрить было нельзя. Я решила включиться хотя бы в одну из бесед и доказать, что тоже кое-что смыслю в литературе.

Однажды вечером, уже собираясь домой, Лена сказала:

— Завтра у нас читательская конференция: «Труд как главный фактор и его отображение через галерею художественных образов». Придумали же названьице! Да и «галерея художественных образов» длинновата.

— Так обо всех и будешь рассказывать? — удивилась Мария Федоровна. — Тебе и недели не хватит.

— Сказали, опираться на книги последних лет.

— Ну и на что же ты обопрешься?

— Вот на это! Но надо освежить в памяти...

Она подошла к полке и вытащила два тома.

— Еще возьму «Спутников»... Можно?

— Это о труде?

— Как смотреть! По-моему, о труде... О самом тяжелом. О ратном. Красиво звучит? Может быть. Но так на самом деле и есть. Вы согласны?

— Согласна.

— Тогда я возьму. Мне ведь только освежить... Борьку с Женькой уложу спать и почитаю.

— Бери и скрывайся. Пока Сергей не пришел.

К одной из многочисленных полок был прикреплен квадратный листок ватмана, а на нем тушью аккуратно выведено:

Не шарь по полкам жадным взглядом,
Здесь не даются книги на дом.
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги раздает.

— Студенческое творчество,— сказала Мария Федоровна.

— Это он персонально для меня.— Лена с трудом вытащила еще одну книгу, плотно зажатую соседними томами.— Кто же у вас, кроме меня, полки жадными глазами обшаривает? Может, Эльвира?

— Да нет... Она очень спокойна в этом отношении,— как бы одобряя мое спокойствие, сказала Мария Федоровна.

Но было в ее словах что-то такое, почти неуловимое, от чего уши мои стали, кажется, одного цвета с моими старыми красными клипсами. Хотя проверить это было трудно, поскольку еще накануне я подарила эти клипсы соседскому мальчишке: он любил играть в дикарей.

Лена разглядывала книжную полку, смешно морща нос и задумчиво почесывая свой мальчишеский затылок.

— Что же делать, а? Брешь образовалась. Небольшая, правда, но все-таки... Я ее книжками из второго ряда заткну. Сергей Сергеич ничего не заметит. Ладно?

Мария Федоровна сверкнула своими неестественно белыми зубами.

В тот же день вечером я прибежала к Нелли.

Она встретила меня в пестром халате, который упорно называла «персидским», хотя купила его в магазине готово-

го платья на Петровке. Казалось, Нелли только что пришла с ночного бала, где ей всю голову усыпали серпантинном и конфетти. Но на самом деле это были обыкновеннейшие бумажки, на которые она накручивала перед сном свои довольно-таки редкие волосы, чтобы днем они казались погуще и попышней.

— Фу, как от тебя валерьянкой пахнет! И еще какой-то медицинской гадостью. Погрязла в лекарствах? И охота тебе возиться со всякими доходягами!

Мне стало обидно за добрую Марию Федоровну.

— Валерьянкой не может пахнуть,— сказала я.— И лекарствами тоже. У тебя просто галлюцинации.

— Ну уж прости, миленькая! У меня тончайшее обоняние.

Нелли с наслаждением понюхала собственные руки. А потом игриво осведомилась:

— Как, между прочим, твой доцент? Ничего себе?

— Как он «себе» — не знаю, а мне... что-то не очень...

— Дорожки песком сыпает?

— Почему? Ему не больше тридцати трех.

— Тридцати трех? — Нелли присела на диван.— Ну, тогда понимаю. Тут уж не только с валерьянкой — со скипидаром поводишься.

— Ничего ты не понимаешь!..

Нелли было лень спорить и ссориться. Она устало зевнула.

— Так рано приходится вставать, просто каторга! Появились четыре морщины. Сдала я молодость в архив...

Она попала в архивный институт, как говорили, «на обломках папиных связей». Я поспешила успокоить ее:

— Долго сидеть не буду. Дело у меня небольшое... Но странное. Смеяться не будешь?

— Меня, миленькая, Марсель Марсо рассмешить не может. Так что выкладывай.

— Расскажи мне, пожалуйста, вкратце содержание «Спутников». Ты ведь читала?

— Еще бы! А тебе зачем?

— Ну... Очень надо...

— Ага, понимаю. Сестра милосердия хочет подавить доцента своим интеллектом. Так? Пожалуйста, дави на здоровье. Я расскажу тебе. Только в самых общих чертах, а то

спать хочется. Самую, так сказать, суть. Квинтэссенцию! Будешь записывать? А то еще забудешь или перепутаешь что-нибудь. Доценты этого не любят.

Она протянула мне крошечный граненый карандашик с красной резинкой на конце и вырвала пару страниц из крошечного изящного блокнотика.

— Ну, я, значит, самую суть. Эта вещь... — Нелли почему-то книги и фильмы всегда называла «вещами», — эта вещь про мужское коварство. Пушкина помнишь: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей...»? Помнишь?

— Кто же не помнит этих стихов?

— Дурочка, это не стихи, это — теория. «Правило безопасности движения» для мужчин и особенно для нас, неопытных женщин. Потому что мужчинам никогда нельзя показывать своих чувств. Не поймут! Не оценят! А чем меньше мы любим, тем легче мы нравимся!.. Это моя собственная интерпретация. Понимаешь? Ну вот... В этой вещи одна старая дева обожает старого холостяка. Фамилию его я запомнила, оригинальная такая фамилия и со значением: «Супругов». Это, как пишут, авторская находка: фамилия, понимаешь, «Супругов», а жениться не хочет! То есть он бы женился, если бы эта старая дева ему своих чувств не выказывала. Но она их скрыть не сумела! Ну и осталась при пиковом интересе... Очень поучительная история! Ты записала? Тогда я тебе про вторую ситуацию расскажу. Там еще молодая есть санитарка. Да, кажется, санитарка... И тоже, представь себе, мужа своего ждет, с которым по уважительным причинам разлучилась на время. То есть это она думает, что на время... А оказалось, что навсегда! Потому что их брат...

— Чей брат? — не поняла я.

— Ну, мужчины... Они и на расстоянии чувствуют, когда мы томимся. Тут-то они и расцветают в полную силу! И дают нам жизни как полагается... Она, молодая девчонка, скучает и ждет, а он другую нашел. Тоже поучительная история. Вариации на ту же самую тему: «Чем меньше... тем легче...» Ты записала?

...Я не ошиблась: вскоре зашел разговор о книгах, которые Лена аккуратно водворила на прежнее местожительство в книжном шкафу.

Рассуждая о литературе, Лена становилась строгой и даже злой.

Мнения свои она высказывала с ожесточением, словно предполагала, что с ней кто-то не соглашается, и заранее спорила, возмущалась.

— Я вот когда читаю,— говорила в тот вечер Лена,— так сразу чувствую, что у меня много новых личных друзей и врагов появилось. Понимаете, моих, личных! И еще я должна обязательно влюбиться в кого-нибудь из героев. Вчера в какой уж раз «Спутников» этих перечитывала, а снова влюбилась в Данилова. И в доктора Белова, хотя он старик... Нет, серьезно... Вот если бы знала, что такой, как доктор Белов, действительно в Ленинграде живет, переселилась бы туда и стала ему помогать. Он ведь такой человек!

— А Борьку с Женькой на кого бы оставила? — поинтересовалась Мария Федоровна.

— С собой бы забрала. Им-то не все ли равно где жить? Лишь бы со мной и мамой.

Я тоже должна была что-то сказать. И я сказала:

— А стоит ли из-за мужчины прописку менять? Ну, сохла эта старая дева по своему Супругову... А что получилось?

— И вовсе она не сохла,— вдруг обозлилась Лена.— Выражения-то какие! Она просто любила его. Лю-би-ла! Я ее понять не могу. Но она ведь любила! А мне их комиссар нравится. И Белов, начальник поезда. Как человек, конечно! Я уже говорила... А тебе Данилов не нравится?

— Данилова я что-то не помню...

Лена так выпучила глаза, будто в комнату вошел слон:

— Данилова забыла? Да это же их комиссар. А где это все происходит, ты помнишь? На войне происходит! На вой-не! В санитарном поезде. Где стонут... где умирают... И эта, как ты говоришь, «старая дева» должна всех спасать! Она самая добрая... И спокойная! Как же ты смеешь? А Данилова вовсе забыла?

Нельзя было объяснить Лене, что это не я забыла Данилова. Да и зачем было объяснять? Ведь виновата во всем была я. Это сейчас мне ясно. А в тот момент я просто ненавидела Лену: зачем она позорит меня перед Марией Федоровной?

— Что-то ты в одно только руководство влюбляешься, — ехидно сказала я. — То в начальника, то в комиссара.

— А ты все перевираешь по-своему, — выпалила в ответ Лена. — Слушать противно!

Я взглянула на Марию Федоровну, надеясь на ее естественно белозубую улыбку. Но она улыбаться не собиралась. Она печально, с жалостью смотрела на меня:

— Не пойму я, Вира, кому из нас важнее на ноги встать — тебе или мне.

Домой я вернулась злющая, прямо-таки разъяренная. И сразу набросилась на маму:

— Где ключ от книжного шкафа? Немедленно дай мне ключ.

— Эльвирочка, что с тобой? Как ты разговариваешь с мамой? Книги достаются с таким трудом. Зачем же их трепать? Лучшее украшение...

— Чепуха! — заорала я. — Чепуха! Дай ключ, или я ничего не буду есть!..

— Правильно, — вмешался в разговор папа. — Объяви голодовку. И я объявлю. Может быть, сообща чего-нибудь добьемся.

Тетя Анфиса как раз была у нас в гостях. Она степенно поднялась из-за стола.

— Трепать книги — это нет, но читать книги — это да, да и еще раз да!.. Я всегда за абсолютную справедливость!

Ошеломленная мама присела на корточки и полезла рукой за батарею: там, оказывается, хранился заветный ключ...

Самые страшные испытания для меня начинались в два часа дня. В это время Сергей Сергееч приходил домой обедать.

Задолго до двух часов Мария Федоровна прислушивалась к шагам на лестнице, к стуку парадной двери.

— Нет, это не Сережа... Слишком тяжелые шаги.

Действительно, на пороге стоял точильщик.

— И это не Сережа. Слишком медленно поднимается...

И правда, в дверь стучалась молочница, которая почему-то принципиально не признавала звонков.

— А это он! — Мария Федоровна сразу менялась в лице, приглаживала свои понемногу седевшие волосы.

«И чего она его так дожидается? — недоумевала я. — Как маленького». Мне лично приход Сергея Сергеича ничего хорошего не сулил. Прежде всего он пересчитывал пилюли в коробке и порошки в пакетике: не забыла ли Мария Федоровна принять? Как будто я не следила за этим! Потом долго, с недоверием разглядывал бумажку, на которой я записывала температуру. И наконец усаживался за стол.

В пьесах и фильмах научные работники и дома все время разговаривают о своих открытиях, о замыслах и сомнениях. Но Сергей Сергеич почти никогда об этом не говорил. Он больше всего любил размышлять о международных проблемах.

Как ноты на пюпитре, он устанавливал перед собой газету, причем пюпитром ему всегда служила хлебница. Немного почитав, он откидывался на спинку стула и начинал поносить «политику с позиции силы» и методы «холодной войны».

— «Холодная война» — это отвратительно, — говорила Мария Федоровна. — Но ведь и холодный обед — тоже очень вредно. Поешь, а потом уж поговорим.

Но Сергей Сергеич не мог «потом». И суп приходилось подогревать минимум два раза.

Иногда я пыталась включаться в обсуждение международных событий. Но безуспешно... Однажды, откинувшись на спинку стула, Сергей Сергеич спросил:

— Ну, а как вам нравятся дела на японских островах?

Я не уловила горькой иронии и бодро ответила:

— Очень нравятся!..

— Что же вам может нравиться? Там вчера было землетрясение.

В другой раз он сказал:

— Хороша эта «Фрут компани», а?

Наученная горьким опытом, я ответила:

— Чего уж хорошего! Просто отвратительно!

— А что она делает, вы знаете?

— Ну, что может делать фруктовая компания? — сказала я, будто невзначай переводя слова «Фрут компани» на русский и демонстрируя таким образом свое знание английского языка. — Что она может делать? Собирать фрукты...

— Собирать фрукты?! — Сергей Сергеич страдальчески взглянул на мать: что мне с ней делать? — Она не фрукты собирает, а среди бела дня хватает за глотку и душит... Вы понимаете, душит Гватемалу! И не только ее! Газет вы, что ли, не читаете?

Газет я действительно не читала.

Раньше папа выписывал газеты на дом. Но пока он приходил с работы, мы с мамой успевали пустить их в дело: вырезать салфетки для наших кухонных полок, завернуть туфли, чтобы отнести к сапожнику. Папа возмущался, говорил, что так поступали только дикари в эпоху средневековья.

— У дикарей никогда не было газет. И они не могли так поступать, — отвечала мама.

В конце концов папа «устал бороться» и переадресовал газеты к себе на работу. С тех пор я их и в глаза не видела.

После своего провала с «Фрут компани» я помалкивала и больше не вступала в разговор о международных делах. А про себя твердо решила: прочту сразу все газеты за год — тогда мы поговорим!

Так я и сделала. Несколько вечеров просидела в читальном зале и просмотрела все заголовки статей, касавшихся зарубежной жизни.

Там, в читальне, я, между прочим, сделала для себя массу неожиданных открытий.

Сергей Сергеич за обедом часто ругал какую-то особу по имени Ната. Он гневно восклицал:

— Ната — это вредная штучка. И очень опасная!

«Наверно, какая-нибудь отвратительная особа!» — думала я. Но оказалось, что Сергей Сергеич ругал не «Нату», а НАТО и что НАТО — это вовсе не отвратительная особа, а отвратительное военное сообщество. Да, просто счастье, что я не вздумала и тут высказать свою точку зрения. Вот бы села в галошу!..

Возвращаясь из читальни, я с грустью обнаружила, что

все международные события перемешались в моей памяти. Я путала Исландию с Ирландией...

И все-таки назавтра решила блеснуть своими познаниями. Для начала я назвала итальянского министра внутренних дел «Шельмой». Сергей Сергеич расхохотался.

— Министра зовут Шельба, — сказал он прямо-таки изменившимся от смеха голосом. — Но вы точно определили его суть. Да, очень точно...

Ободренная первым успехом, я заявила:

— А почему в Европе, в этих самых кабинетах... так часто бывают кризисы? Наверное, уж все кофе в море побросали...

В моем представлении с детства кризисы были неразрывно связаны с банками кофе, которые с кораблей выбрасывают прямо в открытое море.

Сергей Сергеич встал, оперся обеими руками о стол, а тело слегка наклонил вперед, точно взошел на кафедру.

— Вы имеете в виду правительственные кризисы, милая. Это совсем другое дело. А кофе в Европе никогда не произрастал. Он типичен для Бразилии... — Сергей Сергеич выждал немного, будто я должна была законспектировать его слова. И потом, как это, наверное, делал на лекциях, повторил: — Да, кофе типичен для Бразилии. А для Европы типичны правительственные кризисы. Впрочем, и в Бразилии они тоже случаются.

Я робко взглянула на Марию Федоровну. Лицо ее было печально, как в день моей ссоры с Леной. И казалось, она, как и тогда, хотела спросить: «Кому из нас важнее встать на ноги, Вира, — тебе или мне?»

Придя домой, я хмуро спросила папу:

— Почему ты не приносишь газеты домой?

— А вам что, не хватает оберточной бумаги? — съехидничал он.

— Я буду их читать! Каждый день...

Мама схватилась за сердце.

— Что делают с ней эти люди на первом этаже? Ушла в себя, ничего не рассказывает... Своей единственной маме ничего не рассказывает. И все время новые ультиматумы!

А папа положил руку мне на плечо и прошептал:

— Ходи туда, Вера... Почаще ходи на первый этаж. Может быть, человеком станешь!

...Лена вбежала в комнату, не снимая своего старенького демисезонного пальто, как видно, перелицованного: я разглядела «заштукованные», словно заросшие нитками, петли.

Лена сбросила на плечи пуховый платок, стряхнула с волос пушинки (то ли это был снег, то ли пух от платка) и подняла руку:

— Внимание! Сергей Сергеич и Эльвира! Приглашаю вас на молодежный бал. К нам, в Дом культуры. Форма одежды — самая парадная!

Доцент снял очки, удивленно взглянул на Лену.

— Ты можешь пригласить только одного из нас. С кем же останется мама?

— А мама может на один вечер остаться сама с собой. — Мария Федоровна посмотрела на нас так, будто все мы ей чудовищно надоели. — Хочу немного отдохнуть... Побывать наедине со своими мыслями.

— Наедине с мыслями нельзя! — категорически заявила Лена. — Пусть подежурят ваши горячо любимые десятиклассницы. — Она ревновала Марию Федоровну к ее ученицам. — Они давно уже мечтают нести трудовую вахту у этого дивана. Посмотрим, как справятся!..

Сергей Сергеич отложил газету в сторону, встал и застегнул пиджак на все пуговицы. Затем он прошелся взад и вперед перед зеркалом, определяя, годится ли он еще для молодежного бала. Оставшись доволен собой, он лихо взбил волосы, которые и без того стояли дыбом, и торжественно вытянулся перед Леной:

— Приглашение принято!

— Здорово! — воскликнула Лена. — А ты, Эльвира, можешь кого-нибудь пригласить. Если хочешь.

— Я позову Нелли.

Встретиться договорились под большими, похожими на барабан часами на углу площади. Мы пришли вовремя, а Нелли опаздывала.

Было холодно.

— А Гоголь стоит себе на той стороне без шапки, в легкой накидке — и хоть бы что! — сказала Лена.

Но и самой ей было «хоть бы что»: ждала на морозе в тонком пальто и даже не ежилась.

— Семеро одного не ждут. Пошли,— предложила я.

— Семеро не ждут, а нас только трое,— возразил Сергей Сергеич.— Да, только трое...

— Подождем,— сказала и Лена.

Они ждали Нелли ради меня, и от этого было еще неприятней.

Наконец Нелли явилась.

— Простите, я на высоких каблуках, а сегодня так скользко,— сказала она каким-то придуманным рыдающим голосом. И вдруг ни с того ни с сего так же придуманно расхохоталась.

Этот смех появлялся у Нелли только в присутствии незнакомых мужчин.

— Я уцеплюсь за вас! Можно? — Она схватила Сергея Сергеича за руку.— А то приземлюсь на своих ходулях.— И продолжала на ту же тему: — Не хотелось туфли под мышкой тащить. Да там, в больнице, наверно, и гардероба нормального нету. Негде было бы переодеться.

— В больнице есть гардероб,— преспокойно сообщила Лена.— А вечер будет в Доме культуры. И там тоже, представьте себе, все нормальное.

Нелли пропустила ее слова мимо ушей.

— Это новая мода? — спросила она у Лены.— Напяливать такое пальтишко в мороз?

— Я хитрая: внизу телогрейка! — без всякого смущения ответила Лена.— А другого пальто у меня нет.

— А-а...— протянула Нелли.— Сейчас хорошо было бы закутаться в аристократический мех. Чтобы приятно нежил и щекотал... Кстати, Сергей Сергеич, вы ведь, кажется, специалист по пушнине?

— Верней сказать, по клеточному звероводству,— с нарочитой галантностью ответил Сергей Сергеич.

Нелли заговорила на ту тему, которая, по словам мамы, не должна была исчезать из наших бесед с доцентом. «Ты должна все время показывать ему, что интересуешься пушным делом! — поучала меня мама.— Что это — твое жизненное призвание! Понимаешь? Скажи ему, что еще в детстве очень любила пушистых собачек и даже остригла однажды нашего старого кота Фальстафа». Но я не рассказывала Сергею Сергеичу о нашем коте, потому что знала: никогда и ни за что в жизни не будет он устраивать меня в

свой институт. Даже если бы я подарила его маме свои здоровые ноги! Это мне было ясно... И я помалкивала о моем неожиданно открывшемся «жизненном призвании». А Нелли сразу заговорила о пушнине:

— Ну, откройте мне секрет: где можно узреть хорошую чернобурку?

— Советую вам отправиться в Красноярский совхоз, — ответил Сергей Сергеич. — Там вам покажут отличных серебристо-черных лисиц. Великолепнейших!

— Да ну, не хохмите! — капризно вскрикнула Нелли.

— А что? Далеко ехать? Морозов боитесь? Тогда поезжайте в Салтыковский совхоз — это здесь, совсем рядом. Вам покажут ценнейшие породы платиновых и беломордых лисиц.

— Вы все острите, Сергей Сергеич! Я же не на экскурсию собираюсь, я хочу купить чернобурку. Как говорят, приобрести в вечное пользование.

— Ах, так! — Сергей Сергеич изобразил на своем лице чрезвычайное удивление. — Вы хотите приобрести? А сперва сказали «узреть». Да, именно «узреть»! Купить — это другое дело. Вам тогда надо в меховой магазин обратиться. Да, именно в магазин...

— Я уж столько магазинов исходила! Столько мехов перетрогала... Измытарилась! Рахитики какие-то. Замо-рыши...

— Рахитики, говорите? Ну, тогда мы персонально для вас откормим одну лису до размеров среднего бегемота. Все — в наших руках!

— А чем их кормят? Лисиц... Вы знаете, Сергей Сергеич?

— Знаю. И даже сам для них кормовой рацион составил. Этакую «Книгу о вкусной и здоровой пище» для пушных зверей. Обширнейшее, надо сказать, меню. И молоко, и яйца, и крупа, и свежедробленые кости, и рыбий жир. И даже, представьте себе, дрожжи!

— Интересно! — Лена на ходу, через платок, почесала свой мальчишеский затылок. — А вот вы сказали «клеточное звероводство». Это что значит, а?

— Это значит, что мы в клетках лисиц держим. В особых клетках — с приподнятым сетчатым полом. Чтобы земли не касались.

— Бедные зверюшки! — надрывно воскликнула Нелли. — Это же не клеточное, а какое-то тюремное звероводство.

— Персонально для вас стараемся, — ответил доцент. — Вы ведь аристократический мех ищете?

— Это мечта моей жизни! — воскликнула Нелли.

Мы свернули в довольно темный переулок, в конце которого подмигивал огнями Дом культуры. Нелли при каждом удобном случае восклицала: «Ах, падаю!» И всем телом наваливалась на бедного Сергея Сергеича.

Когда мы мерзли под часами, похожими на барабан, я, поеживаясь, мечтала: скоро мы очутимся в тепле и под сияющей люстрой я буду танцевать с Сергеем Сергеичем, думая о том, что за окнами в это время противно, метельно. Но явилась Нелли — и все разрушила... Зачем я пригласила ее? Хотела похвастаться «шикарной» подругой?

Все уже собрались в зале. Юноши объединились в молчаливое братство возле окна. Они переминались с ноги на ногу и исподлобья поглядывали на девушек. А те независимо щебетали в другом конце зала, словно не замечая парней, но отлично зная, что на них смотрят. Нелли бесцеремонно, прищурив глаза, оглядела их и доверительно шепнула мне и Сергею Сергеичу:

— Типичная серость!

Сергей Сергеич промолчал. Я начала злиться: «Нравится она ему, что ли? Меня за пучок травы в пух и прах разнес, а ей все прощает. Где же справедливость на белом свете?»

Появление Лены подействовало на юношей... Особенно оживился один из них. Он даже направился к нам — в обход, вдоль стен. Но потом в смущении застрял где-то на полдороге.

— Еще один ход конем — и будешь здесь! — крикнула Лена.

Юноша подошел, и я увидела на его груди шахматный значок с изображением коня. Но пожалуй, больше ему подошел бы значок метателя диска или борца солидного веса. В моем представлении все шахматисты были хрупкими, бледнолицыми и непременно в роговых очках. А юноша был до того широкоплеч, что куртка его, казалось, вот-вот разлетится по швам. Глаза смотрели робко и неуверенно.

«Это он только при мне такой», — объяснила нам позже Лена.

Он представился:

— Леша!

От смущения он слишком крепко жал нам руки. Нелли вскрикнула:

— Ой, потише! Я ведь не санитарка!

Все промолчали. И Сергей Сергеич ничего не сказал.

Врач разрешил Марии Федоровне передвигаться по комнате.

— Но главное, — предупредил он, — держать ноги в тепле. Наденьте несколько пар шерстяных чулок. Самых теплых, какие у вас есть.

— А у меня вообще нет шерстяных... — виноватым голосом сказала Мария Федоровна.

— Выход очень простой: надо купить, — сказал доктор. — Но только из хорошей шерсти, чтоб не кололи ногу. Поискать придется.

Тут я вскочила с дивана.

— Ничего не надо искать! Никуда не надо ходить! Чулки вам принесут на дом. И самые лучшие. Вот увидите!

— Разве промтовары теперь можно заказывать на дом? — удивилась Мария Федоровна. — Сколько перемен за время болезни!

— Можно. Еще как можно, — таинственно, вполголоса заверила я Марию Федоровну.

По коридору Римма Васильевна шла боком, словно стены были только что выкрашены и она боялась испачкаться.

Войдя в комнату, она вытащила из-под пальто сверток с традиционной розовой ленточкой. Положив сверток на стол, она стала, как всегда, презрительным взглядом оценивать комнату. Обстановка и правда была очень скромная. Железная кровать, диван, стол и самый заурядный платяной шкаф. А на открытых полках стояли и лежали книги. Они были и на подоконниках, и даже на платяном шкафу.

— Я думала, что доценты... прилично обеспечены,— изрекла Римма Васильевна.

— А вы что, собираетесь стать доцентом? — добродушно поинтересовался Сергей Сергеич.

— Что вы? Кому это надо? — Меховые плечи Риммы Васильевны всколыхнулись чуть не до ушей и так же бурно опустились: у меня, мол, есть другая профессия!

Римма Васильевна была удивлена: никто перед ней не робел и не заискивал.

Но главное было впереди.

Сергей Сергеич, находясь в миролюбивом настроении, развязал розовую ленточку и развернул кремовый сверток.

— Ну что же,— сказал он,— чулки как чулки. Самые обыкновенные, шерстяные. Да, самые обыкновенные. И очень хорошо. Сколько мы вам должны?

Римма Васильевна побелела.

— Самые обыкновенные? Да вы таких за миллион не достанете. У нас таких не бывает! Только я могу это достать. Только я!

— Кажется, я уже слышал что-то подобное...— задумчиво сказал Сергей Сергеич.— Но где именно?

Он стал припоминать, а я затаила дыхание. Но он не вспомнил... И как тогда, в первый день нашего знакомства, спросил:

— У нас, значит, таких не достанешь? А где же вы достали? На том свете?

— Вот именно, на том! — вызывающе ответила Римма Васильевна.

Сергей Сергеич с угрожающим спокойствием вновь завернул чулки в кремовую бумагу.

— А вы, собственно, из какого магазина?

— Я? Из магазина?!

— Разве вы не из отдела доставки? — вмешалась в разговор Мария Федоровна.

— Я?! Из отдела?! — уже истерически выкрикнула Римма Васильевна.— Ни разу в жизни в штатах не состояла. Они не для меня.

— Да, не для вас,— все с тем же предгрозовым спокойствием сказал Сергей Сергеич.— Но главное: вы не для них! А кто же вы такая? Обыкновенная спекулянтка?

Пожалуй, больше всего Римму Васильевну обидело слово «обыкновенная».

— Без нас не проживете! — взвизгнула она.

Я умоляюще взглянула на Марию Федоровну: может быть, она, как всегда, призовет Сергея Сергеича к выдержке. Но добрые глаза Марии Федоровны стали непроницаемыми и, казалось, совершенно недоступными для жалости и сострадания.

Римма Васильевна даже забыла свой кремовый сверток.

Я тоже выбежала на лестницу и сунула сверток ей в руки.

От величия Риммы Васильевны и следа не осталось. Лицо ее было в пятнах, хищно поблескивали металлические зубы.

— Куда ты меня привела, девчонка?! К какому-то припадочному неврастенику!

В тот миг я поняла или, верней сказать, ощутила точность выражения «руки чешутся».

— Сама припадочная! Ногтя его не стоишь! Спустить бы тебя с пятого этажа!

Вдруг сзади раздался спокойный голос Сергея Сергеича:

— К сожалению, мы на первом этаже живем. Так что ваш план, Эльвира, просто невыполним. Да, невыполним... Но если она вздумает явиться к вам на пятый этаж, обязательно осуществите свой замысел. Да, непременно осуществите!

Значит, он стоял в дверях и все слышал? Слышал, как я его защищала...

Мама обожала получать подарки. Это была ее болезнь, ее страсть. В связи с этим у нас в доме отмечались все семейные даты — и даже такие, каких не отмечают, наверно, ни в одной другой семье. Каждый год, например, мама праздновала не только годовщину свадьбы, но и день своей первой встречи с папой. Это семейное торжество было, так сказать, «резервным». Дата его произвольно передвигалась мамой. «День первой встречи» отмечался то летом, то зимой, то осенью — в зависимости от того, когда приезжал в Москву какой-нибудь родственник, щедрый на подарки.

Что же касается московских родственников и знакомых, то мама точно знала, от кого что следует ждать. Было известно, например, что папины родственники нарочно дарят такие вещи, которые уже есть у мамы, и, таким образом, их подарки имеют лишь «символическое» значение, но не имеют практического применения.

— Вот увидишь, твоя младшая сестричка нарочно принесет мне сегодня «Серебристый ландыш», — предсказывала мама, — потому что она знает, что у меня уже есть три флакона этого самого «Ландыша». Целый букет!

Папа пытался защитить свою «младшую сестричку», у которой, между прочим, было уже три взрослых сына:

— Она не могла залезть к тебе в гардероб. И не могла знать, сколько у тебя там флаконов!

— Она все может! И все знает! — убежденно заявляла мама.

Другие папины родственники, опять же «нарочно», дарили такие вещи, которые, по словам мамы, носил почти весь город.

— Я не могу ходить по улице с этой сумкой: она есть у каждой второй женщины. И пойми наконец: дело не в подарках, а в отношении! Даря всякую дрянь, они этим как бы подчеркивают, что лучшего я не стою.

Такие далеко идущие выводы повергали папу в растерянность. И он принимался нервно изучать соседний двор.

На основании многолетней практики было также установлено, что самые дорогие и, как говорила мама, «от глубины души идущие» подарки всегда приносит Борис Борисович — тот самый старинный друг нашей семьи, который так поэтично называл мамины руки «лебединым озером».

Я терпеть не могла Бориса Борисовича. Он был такой сладкий, что я в его присутствии всегда пила чай без сахара. По той же причине я в детстве упорно звала его Барбарисом Барбарисычем, за что получала от мамы подзатыльники и шлепки. Заодно почему-то всегда доставалось и папе.

Мама уверяла, что это он, руководствуясь слепым чувством ревности, научил меня неуважительно относиться к Борису Борисовичу.

Чувство ревности мама называла «мелким», «буржуазным», а иногда объединяла оба эти определения — и называла «мелкобуржуазным».

Лицо у Барбарисыча было пухлое, будто он все время держал во рту, за щеками, непрожеванную еду. И вообще он был грузным мужчиной, а голос из его огромного тела вылетал такой тонкий, что я по телефону всегда принимала старинного друга нашей семьи за одну из маминых родственников.

«Нет,— думала я,— будь даже папа ревнив, как Арбенин, он все равно не мог бы ревновать маму к этому старинному другу».

Папа доказывал то же самое. Но мама говорила, что он ревнует, «не отдавая себе в этом отчета».

Отшлепав меня за неуважение к Борису Борисовичу, мама многозначительным тоном уверяла, что «жизнь очень сложна» и что «я, когда вырасту, все пойму!». Но мне казалось, что, если даже я когда-нибудь стану академиком и пойму вообще все на свете, я и тогда не стану лучше относиться к толстому и сладкому Барбарисычу.

Открывая вечер, так сказать, кратким вступительным словом, мама обычно восклицала:

— Сегодня я должна была бы вывесить во всех углах комнаты траурные флаги!..

— Ну, ми-илая,— пытался остановить ее папа,— зачем же придавать вечеру такой оттенок... такой, я бы сказал, странный привкус.

Но удержать маму было невозможно.

— Не прерывай мою мысль на полуслове. Да, я должна была бы вывесить траурные флаги, а вывесила новые портьеры! Потому что я до сих пор еще верю в возможность твоего перевоспитания. Потому что в душе я педагог!..

В душе у мамы таилось множество разных профессий. В душе она была музыкантшей, актрисой и... надомницей, перевыполнявшей план на изготовлении пикантнейших дамских кофточек.

О дне своей первой встречи с папой мама в разные годы вспоминала по-разному. Когда я была еще совсем маленькой, мама, помнится, говорила, что они встретились где-то на теннисном корте. Это было странно, потому что папа никогда не играл в теннис.

Позже мама совершенно точно припоминала, что впервые они познакомились под звуки «Лунной сонаты» в полутьме ложи-бенуар, в Большом зале консерватории. Это тоже было

весьма сомнительно, потому что, во-первых, на концертах не тушат свет и не бывает полутьмы, а во-вторых, в Большом зале консерватории ложи-бенуар вообще отсутствуют.

Папины воспоминания были куда более устойчивы. Он упорно, не обращая внимания на многозначительные мамины подмигивания и легкие толчки под столом, утверждал:

— Мы с тобой познакомились в студенческой столовой Политехнического института. Я там учился, а ты приходила к нам обедать, потому что жила в том же доме. И еще потому, что у нас были дешевые обеды.

— Ну конечно, разве он мог запомнить день нашей первой встречи?! — негодовала мама. — Но зато он, может быть, запомнит день нашей последней встречи, когда я, наконец, не выдержу и брошу все.

При этом мама бросала взгляд на своего Барбарисыча, словно нажимала невидимую кнопку, заставлявшую звучать его тонкий голос. Борис Борисович вытирал салфеткой пухлые губы и целовал маме руку:

— Не волнуйтесь, друг мой! Я всецело на стороне «Лунной сонаты», а, разумеется, не этой самой... как уж ее... студенческой столовой! Антон Петрович просто запомнил. Он вспомнит, уверяю вас.

И папа, действительно, вспоминал. Все вспоминал: и ложу-бенуар, и «Лунную сонату», и даже знаменитый теннисный корт. Вечер входил в нормальное русло.

На этот раз подготовка ко «дню первой встречи» была не совсем обычной: мама что-то утаивала от нас, готовила какой-то сюрприз.

Она не составляла мысленно длинный список друзей, приятелей и знакомых и не исключала потом из него скупердяев, своих «скрытых врагов», всех «недарящих» и дарящих, но «желающих дешево отделаться». На вечер был официально приглашен только Борис Борисович. Даже тетю Анфису не пригласили, хотя она, часто бывая у нас дома, отлично знала, что есть и чего нет в мамином гардеробе, и дарила только то, чего там еще не было.

А приготовления между тем шли весьма бурные. Мама жарила и пекла с утра до вечера. И даже позвала на консультацию соседку с третьего этажа, к помощи которой она

покаялась не прибегать никогда в жизни. Соседка эта, помогая маме кулинарничать, потом распространяла по всему дому искаженное и ухудшенное содержание маминого меню. Мама клялась, что ни в каких, даже самых критических случаях жизни она не спустится за помощью вниз. И вдруг спустилась! Значит, надвигался сверхкритический случай. Но какой именно? Ради чего мама пожертвовала самолюбием и подарками? Ради чего?!

С Борисом Борисовичем я поздоровалась издали: я всегда боялась, что он вдруг, без всякого предупреждения, может схватить мою руку и поцеловать своими мокрыми или, как пишут в романах, «влажными» губами. В коридоре, на столике возле телефона, Барбарисыч оставил солидный пакет: он любил преподносить подарки не сразу, а в самый разгар вечера, в присутствии гостей, чтобы «в открытом бою» взять верх и продемонстрировать безграничную широту своей натуры.

Мама оставила пакет без внимания, не бросала на него и на лучшего друга семьи любопытных, испытующих взглядов. Она чего-то ждала...

Мы сели на диван, и Борис Борисович завел разговор на свою излюбленную тему: о сослуживцах, с которыми «только он один и может работать» и с которыми «неизвестно что будет, когда он наконец-то уйдет на отдых»...

— Все предприятие держится на мне. Все дело! На мне одном, — заявлял обычно Борис Борисович.

Что это было за «дело» такое, он никогда не уточнял. Но папа однажды разъяснил мне, что у старинного друга нашей семьи вообще нет никакой определенной профессии, а есть одна лишь солидность и «частная инициатива».

Только-только Барбарисыч разговорился, как раздались три коротких звонка. Мы с мамой побежали открывать... И я замерла на пороге: в дверях стоял Сергей Сергееч. Вид у него был обеспокоенный и смущенный.

— Что случилось? Марии Федоровне плохо?! — заволновалась я, решив, что первые прогулки по комнате оказались преждевременными.

Он ничего не успел ответить: мама, оттеснив меня к вешалке, ринулась вперед.

— Что ты, Вирочка! Это же и есть мой сюрприз! Я пригласила Сергея Сергеича... Заходите, будьте как дома. Раздевайтесь, скорей раздевайтесь!

«Раздевать» Сергею Сергеичу было нечего, потому что он пришел без пальто и без шапки.

Мама тут же открыла торжественную часть вечера. Я думала, она несколько изменит обычную программу. Но она ничего не изменила: сказала все, что полагалось, о траурных флагах и знаменитой ложе-бенуар. Сергей Сергеич слушал все это так внимательно, что папа, махнув рукой, не стал спорить и вспоминать студенческую столовку.

Я же, не забыв недавней истории с Риммой Васильевной, сидела, опустив голову и мяла край новой скатерти. Проницательный Борис Борисович понял мое волнение по-своему.

— Не надо, милочка,— сладко шепнул он мне.— Пусть они и страдают — мужчины!.. Пусть они и волнуются!

Он сказал это так, будто сам был женщиной или, по крайней мере, существом среднего рода. Я терпеть не могла, когда Барбарисыч называл меня «милочкой» или «деткой». В эти минуты казалось, что из глаз его на мое новое платье вот-вот капнет что-то жирное, чего не вытравит уже ни одна химчистка на свете.

Когда мама покончила со своими воспоминаниями, Борис Борисович тяжело, со скрипом поднялся и направился в коридор. Он с трудом приволок оттуда массивный пакет положил его на диван и многозначительно, не спеша развязал бумажную бечевку. В бумагу была завернута туша диковинного зверя, высеченная из камня.

— Я мечтала об этом всю жизнь! — воскликнула мама и бросилась к каменному страшилищу.

Папа смущенно напрягся.

И я тоже не поняла, почему мама должна была мечтать об этом всю жизнь.

— Вот вы, Сергей Сергеич, кажется, зверовод? — сказал папа.— Не известны ли вам имя и фамилия этого чудища?

— По-моему, в нашей комнате есть только одно чудище,— зло отчеканила мама.

Доцент поправил очки, взглянул на тушу, потрогал ее руками.

— Ни в лесах, ни в степях я, признаться, такого зверя не встречал. Да, не приходилось...

— Тем интересней! Тем загадочней! Тем дороже мне этот подарок! — воскликнула мама и прижала камень к груди.

— Я был уверен, что это порадует вас, — вкрадчиво сказал Барбарисыч и поцеловал маме руку.

Сергей Сергеич виновато вздохнул:

— Я ведь не знал, что у вас семейное торжество. Думал, просто заскочу на полчаса...

— На полчаса? Всего на полчаса?! — Мама схватилась за сердце.

— Да, всего... Больше никак не могу: моя больная осталась одна.

— А мы потом всей компанией спустимся к ней! — провозгласила мама, словно обещая нечто прекрасное.

Сергея Сергеича это обещание не обрадовало.

— Я бы, разумеется, не имел ничего против... Но ей, знаете ли, необходим покой. Так что вряд ли стоит... А подарок — за мной! Не знал я, что у вас торжество. Думал, просто так... И Эльвира ничего не сказала.

Мама встрепенулась.

— Да-а, Сергей Сергеич, подарочек уж за вами! Мы все ждем от вас дорогого подарка... То есть это для нас он будет очень дорог, а вам обойдется даром. Ничего, ровно ничего не будет стоить!..

— Как радостно делать людям приятное, когда тебе это ничего не стоит, — не без ехидства заметил Борис Борисович.

— Такой подарок нельзя взять в руки или поставить на стол: он бестелесен, он невесом! — продолжала мама.

От волнения я натянула край скатерти — и посуда поехала ко мне. Так вот почему мама не пригласила гостей: чтобы они не мешали «обрабатывать» Сергея Сергеича в нужном ей направлении!

Барбарисыч не был посвящен в мамины замыслы. И все понял по-своему.

— Наша Вирочка — это, знаете ли, бесценный и еще никем не открытый клад, — сладко заговорил он. — Счастлив будет тот, кто найдет его! Кому он достанется!..

Сергей Сергеич растерянно смотрел то на маму, то на друга семьи, то на каменное страшилище.

Мамины глаза сверкнули, что называется, дьявольским блеском.

Мысль, высказанная Борисом Борисовичем, раньше не приходила ей в голову. И видно, очень понравилась. Мама решила немедленно объединить два плана — свой и Барбарисыча — в один общий план наступательных действий.

— Да, Сергей Сергеич, художнику не к лицу хвалить свое произведение, но я, отбросив ложную скромность, скажу: наша Эльвирочка — это сокровище. Или клад, как совершенно точно и очень образно выразился старинный друг нашего дома. Одного, лишь одного не хватает Вирочке — высшего образования!.. Я помню, как в самом раннем детстве наша дочь, еще несмышленный младенец в ту пору, любила пушистых собачек. И кошечек! Это была не просто забава. Это было призвание! Она любила не столько кошечек, сколько пушнину. Я поняла это сердцем матери!

Тут я не выдержала. Вскочила из-за стола, подошла к Сергею Сергеичу и потянула его за рукав.

— Пойдемте... Я что-то очень волнуюсь за Марию Федоровну. Она ведь совсем одна.

Доцент обрадовался:

— Пойдем! Разумеется, мы пойдем!

Мама обрадовалась не так сильно:

— Вирочка! Мы с Борисом Борисовичем хвалили тебя, а ты нарушаешь святые законы гостеприимства!

— Нет, она права. Совершенно права, — вступился за меня Сергей Сергеич. — Я в эти дни, в эти последние дни, хочу почаще быть с мамой. Не оставлять ее...

«Почему именно «в эти дни»? И почему в «последние»? — не поняла я.

Уже на лестнице Сергей Сергеич спросил:

— О каком все же невесомом подарке... шел разговор? Я не вполне уяснил...

— Вы не догадались? — неискренне изумилась я. — Она просто хочет познакомиться с Марией Федоровной. Вот и все. Это и будет вашим подарком... Ведь она же сказала: «Давайте спустимся вниз!»

— Ах вот что! Ну, это вполне реально. И даже будет

весьма кстати. Особенно через некоторое время. Дней через десять.

Я опять ничего не поняла.

— Нет, это не Сергей Сергеич. Походка слишком торопливая, — сказала я.

Мария Федоровна пристально и с некоторым удивлением взглянула мне прямо в лицо:

— Тоже к шагам прислушиваешься? — Помолчала немного и с грустью добавила: — Сережа сегодня не придет обедать.

— Как не придет?

— Дел много... К отъезду готовится.

Я машинально закрыла щеки руками, чтобы Мария Федоровна не заметила, как я краснею.

— Он уезжает? В командировку?..

— Нет, надолго. В Красноярский совхоз.

Не знаю, как это вышло, но я вдруг зло и громко заговорила, почти закричала:

— Они не смеют его посылать... Не имеют права! У него мать больная. Никто не может его заставить!

Мария Федоровна совершала в эти дни, как сказал Сергей Сергеич, «первые дальние переходы с частыми привалами».

Услышав мои слова, она сделала внеочередную остановку: неловко села на стул, будто слова мои толкнули ее.

— Вира... — тихо сказала она. — Я все-таки поднялась на ноги. И не без твоей помощи. А сама ты... Никто его не заставляет. Он сам решил ехать. Трудно мне будет без него. Ничего не говорю, очень трудно... Но ведь у него мечта есть: столько, говорит, разных там пушистых зверьков вырастим, чтобы Лена Сигалова в красивой шубке ходила! Это он особо подчеркивает.

— А меня? Меня он... не подчеркивает?

Мария Федоровна вновь задумчиво глянула мне в лицо.

— Вслух ничего не говорит. Но может быть, молча, про себя...

И тут мне очень захотелось уговорить Марию Федоровну, чтобы она не пускала его в Красноярский совхоз.

— А все-таки он... плохой сын, если может вас оставить!

Марию Федоровну рассердили мои слова. Она с трудом поднялась, подошла к окну и стала глядеть во двор, где ребята со снежками и льдышками в руках брали «неприступную крепость» — нашу старую сломанную беседку.

— Он хороший сын, Эльвира, — сказала Мария Федоровна, впервые назвав меня полным именем. — Очень хороший. — И, взглянув через плечо, спросила: — Тебе это ясно?

Я-то в конце концов кое-что поняла. Но мама ничего понимать не хотела.

— Он обманул нас! — кричала она. — Полгода ты целыми днями просиживала у них, как домработница. Зачем?! Он давно знал, что уедет. И нарочно молчал, чтобы не отпугнуть тебя от своего дома. Но я этого так не оставлю. Пусть он до отъезда переговорит с кем надо. Пусть все устроит. Иначе я лягу на рельсы перед его поездом!

— Ни в какой пушной институт я все равно поступать не собираюсь!

Мама тут же сравнила меня с жестокими дочерьми короля Лира. Она сказала, что эти дочери по сравнению со мной просто ангелы и пример нежных, заботливых деток.

— Перестань, мама. Мне надоели литературные сравнения. Давай говорить по-человечески... Институт, в котором работал Сергей Сергеич, вовсе не учебный, а научно-исследовательский. Понимаешь?

— Зачем же ты ходила туда каждый день?

— Чтобы вылечить Марию Федоровну, — спокойно ответила я. — Мне было там хорошо. И я буду ходить туда чаще, чем раньше, потому что Мария Федоровна остается одна. Не толкай меня больше на хитрости, мама! Никогда не толкай... Слышишь?

Мои слова произвели на маму небывалое впечатление — она стала вдруг тихой, растерянной. И заговорила совсем просто, даже робко:

— Пойми, Эльвирочка, я же для тебя старалась. Только для тебя... Разве мне что-нибудь нужно? Всю жизнь я оберегала тебя, боролась за тебя. И с папой, и с учителями, и вообще со всеми...

— Ты боролась против меня,— жестоко ответила я.— А вот папа... Сейчас мне все ясно. Только он слишком быстро уставал бороться, а ты не уставала никогда!

Мама опустилась на диван и тихо-тихо заплакала.

Я подбежала к ней.

— Прости меня, мамочка! Прости... Я знаю, что ты любишь меня больше всего на свете. Но мы должны были поговорить. Прости меня...

Я утешала маму, потому что все равно... любила ее и не могла видеть, как она плачет.

Сергея Сергеича мы провожали вдвоем с Леной. Сквозь окно он до последней минуты кричал нам одно и то же:

— Не забывайте маму! Не оставляйте ее одну!..

Когда поезд ушел, Лена крепко взяла меня под руку, и мы пошли вместе с другими провожающими, которые, как всегда после ухода поезда, были притихшими, опечаленными.

Я шла и думала о том, как хорошо было раньше, когда в два часа дня он приходил домой обедать — и читал газету, и ворчал. И ругал меня за то, что я не разбираюсь в международной политике.

Я со злостью поглядывала на женщин в шубах и на мужчин с меховыми воротниками будто из-за них он уехал в Красноярский совхоз. Вскоре оттуда, из совхоза, пришло письмо. Оказывается, Сергей Сергеич начал какие-то важные опыты, о которых давно мечтал. И еще он написал, что скучает обо всех... Значит, и обо мне.

В тот же день вечером я объявила дома, что поступлю на курсы медицинских сестер. У меня ведь уже был кое-какой опыт в этой области! А потом, может быть, поеду к Сереже... то есть к Сергею Сергеичу...

Папа сказал, что его кровь все-таки в конце концов себя проявила. И тетя Анфиса признала, что с точки зрения абсолютной справедливости я приняла верное решение.

А мама сказала, что после нашего последнего разговора у нее опустились руки и она вообще «устала бороться».

Прошло два года. Я закончила курсы. И вот уже давно работаю в больнице. Меня даже «повысили в должности» и назначили старшей сестрой. Мама была в восторге.

К Сергею Сергеичу я так и не поехала. Не решилась еще. Да и маму жалко...

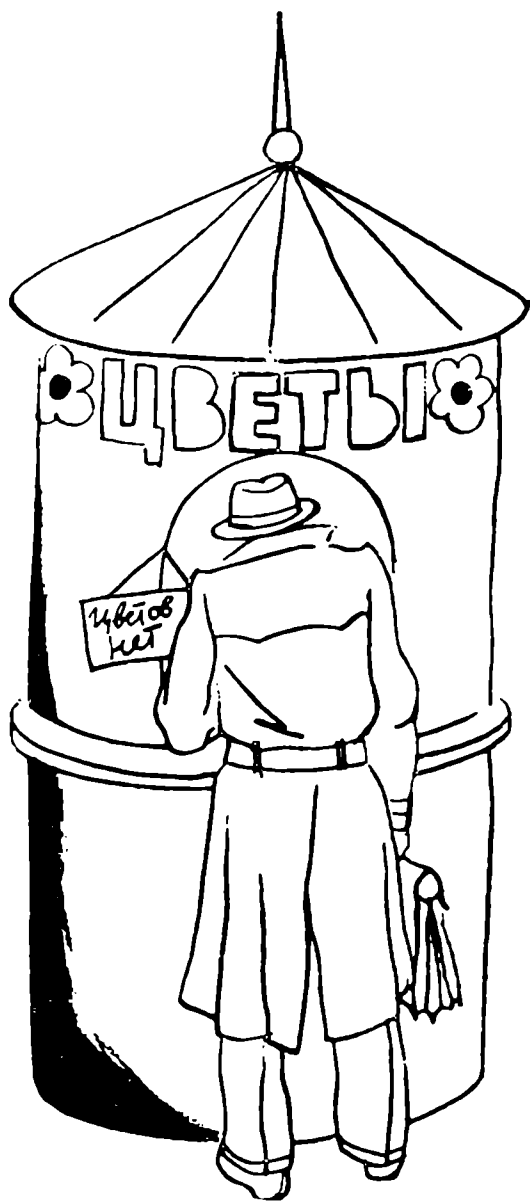
Он, между прочим, несколько раз приезжал в Москву. И однажды, когда мы гуляли у Патриарших прудов, сказал:

— В вашем характере, Эльвира, причудливо сочетается и хорошее и... очень странное. Помните, вы сами пришли, чтобы ухаживать за моей мамой. И это было так благородно. Но иногда вы, простите меня, были форменным дикарем. Да, дикарем... И я не мог понять вас. Теперь-то я разобрался. Но хотел бы совсем понять. Да, совсем...

И тогда мне захотелось, чтобы он узнал во всех подробностях о моей жизни. И о нашей семье. Рассказать ему об этом я бы ни за что не смогла — и вот стала писать... Исписала несколько школьных тетрадей в lined чечку. Но так и не послала их в Красноярский совхоз. Просто не решилась.

1955 г.

МИМОЗЫ



Андрей туманно представлял себе, что дарить женщинам к празднику. С подарками он не раз попадал впросак. Правда, Клава всегда очень долго его благодарила, но потом вела себя как-то странно. К примеру, с театральной сумочкой, купленной Андреем, она ходила только в магазин, а в театр — никогда. Его духами она не душилась.

— В чем дело? — недоумевал Андрей. — Флаконов красивей этого в магазине не было! Посмотри, какой замысловатый...

— Все хорошо, все очень хорошо, — успокаивала его Клава. — Просто я берегу твой подарок. Он дорог мне — и я берегу.

Но в этом году Андрею повезло. За несколько дней до праздника Клава, вернувшись с работы, сказала:

— Утром, я видела, продавали мимозы. Спешила на

работу — и не могла купить. Мои самые любимые цветы! Раз появились — значит, весна. Каждый цветочек похож на маленького цыпленка, присевшего на ветку!

— Твои самые любимые цветы? — механически, не отрываясь от газеты, переспросил Андрей.

— Я сообщаю тебе об этом каждую весну, — обиделась Клава. И, как всегда в подобных случаях, стала нарочито громко стучать и звенеть на кухне.

Андрей вспомнил об этом разговоре вечером седьмого марта, когда мужчины из их конструкторского бюро устремились в магазины за подарками. Днем они все получали устные консультации у секретарши начальника, которая считалась самой элегантной женщиной не только в бюро, но и во всем научно-исследовательском институте. Она любила давать советы по части подарков, нарядов и правил хорошего тона.

Пожалуй, только Андрей не советовался с секретаршей начальника. Он знал, что нужно преподнести Клаве: он подарит мимозы, ее самые любимые цветы.

В цветочном магазине, неподалеку от института, покупателей не было. Одна только продавщица сидела в уголке, сосредоточенно разглядывая свои ногти и, видно, определяя, нужно ли наводить к празднику маникюрный глянец.

«Вот хорошо! — подумал Андрей. — Совсем пусто!» Но тут он заметил, что и на полках тоже было пусто. Стояли цветочные горшки, перепачканные землей. Из горшков лезли вверх какие-то странные растения. Стебли их напоминали кривые корни хрена, а цветы были такие хилые, такие невзрачные, что и цветами-то их назвать было нельзя.

Увидев Андрея, продавщица проворно вскочила с табурета, на ходу взбивая прическу. И до неграмотности учтиво спросила:

— Что будет угодно для вас?

— Мне нужны мимозы, — сказал Андрей, с грустью поглядывая на уродливые растения в цветочных горшках.

— Мимозы? Имелись утром, имелись днем... Сейчас все кончились. Сами понимаете: завтра праздник. Все за этим товаром охотятся.

Андрей со злостью взглянул на продавщицу: и потому,

что в магазине не было мимоз, и потому, что она бесцеремонно называла «товаром» любимые Клавины цветы.

— Возьмите вот эти, — предложила продавщица. — Последние три горшка остались. Тоже очень редкие цветочки...

— Я вижу, что редкие, — хмуро улыбаясь, сказал Андрей.

— И холода не боятся.

— Их самих испугаться можно! А больше ничего нет?

— Сегодня ничего, а завтра подбросят.

Нет, завтра будет поздно... Ему хотелось, чтобы утром, в день праздника, подарок был на Клавином столе. Несколько минут он молча размышлял. А продавщица за это время собралась с силами и пошла в атаку:

— Возьмите эти цветы. Не пожалеете... Их только надо раскрыть руками, а там, внутри, они лиловые, сиреневые... Очень даже оригинальные цветочки! И простоят долго. А ваши мимозы на второй день осыплются. Мужчины ведь в цветах ничего не понимают.

Сама того не подозревая, она привела самый убедительный для Андрея аргумент. Может, и в самом деле не понимает? Он нагнулся и понюхал цветок.

— Изумительный аромат! — крикнула в этот момент продавщица.

И Андрею показалось, что цветы в самом деле приятно пахнут. К тому же он очень устал, ему хотелось поскорей добраться домой и поужинать.

— Ну ладно, — сказал он. — Пришлите завтра утром. Домой... Адрес я напишу.

Он полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда толстый граненый карандаш.

«Первомайская улица»... — написал Андрей. И задумался. Он вспомнил вдруг, что этот карандаш, вызывавший зависть у других инженеров (а только инженеры-конструкторы умеют ценить хорошие карандаши!), достала ему Клава. Она ездила за ним на край города, к какой-то школьной подруге, работавшей сейчас в писчебумажном магазине.

Вспомнил Андрей и другое. Недавно ему захотелось прочитать роман, о котором много спорили его друзья-инженеры. Но за журналом в институтской библиотеке установилась длинная очередь. Клава обзвонила всех своих друзей. А как-то в воскресенье она поехала за город, на кирпичный

завод, и там, как в детские годы, выменяла у своей подруги нашумевший роман на сборник фантастических повестей.

Так было всегда. Сперва Клава хмурилась:

«Ты, Андрюша, как маленький: увидишь чужую игрушку — и хочешь такую же!..»

Но в тот же день она принималась искать приглянувшуюся ему «игрушку», как это много лет назад делала мама. Он вспомнил... И карандаш остановился.

— Вы не указали дом и квартиру, — откуда-то с другой планеты раздался голос продавщицы.

Андрей скомкал листок.

— А где сейчас можно достать мимозы?

Изысканную вежливость продавщицы как ветром сдуло.

— Справок не даем! — процедила она. Вновь уселась на табурет и стала с демонстративным вниманием изучать свои ногти.

Андрей вышел на улицу. Вечер был неуютный, метельный... Казалось, мороз, незаконно перешедший границу весеннего месяца, хотел посильнее накуролесить, чтобы оставить по себе память. Усталому и голодному Андрею ветер, переносивший с места на место стайки снежинок, казался обжигающе холодным, пронизывающим. В такие минуты, поеживаясь, приятно вспомнить лето, какой-нибудь день, поразивший тебя красками и щедростью тепла.

Андрей вспомнил такой день... Он возвращался с курорта, а Клава встречала его на вокзале. Соседи по купе, как это обычно бывает, с любопытством разглядывали женщину, о которой они столько слышали за двое суток пути. Клава смущалась и закрывала лицо огромным букетом.

«Откуда такие чудесные цветы? — спросил Андрей. — Можно подумать, что не я приехал с юга, а ты».

«Купила на привокзальной площади, она вся в цветах...»

Вспомнив об этом, Андрей решил добраться до вокзала. Это было нелегко, но он смело пустился в путь.

Транспорт переживал бурные часы «пик». Помня о завтрашнем празднике, Андрей долго пропускал вперед всех женщин, стоявших в очереди, — и в результате только одна его нога уместилась на подножке троллейбуса. Затем он пересел на трамвай, проехал несколько остановок, вышел на привокзальную площадь — и обнаружил, что никаких цветов на площади не продают.

— Утром были мимозы, а сейчас одни только папиросы остались, — сказала лоточница, которую мороз заставлял по-птичьи прыгать на одном месте и колотить себя в бока. Казалось, она раздраженно наказывала себя за какую-то серьезную провинность. — Вы бы к драмтеатру съездили. Там цветочный ларек имеется...

Кругом были парфюмерные и галантерейные магазины. Их витрины опрокинулись на панель широкими, светлыми квадратами. Внутри, на полках, он знал, были вещи, неотразимо заманчивые для женского сердца. Но Клава хотела украсить комнату весенними цветами — и Андрей решил достать их во что бы то ни стало!

Он снова втиснулся в трамвай.

В окне цветочного ларька, возле драмтеатра, Андрей цветов не увидел — он увидел лишь заиндевевшее лицо старичка продавца, даже на морозе не потерявшее своей ласковости в сочетании с невинной, незлобивой хитрецей. Усы старичка, казалось, были вылеплены из снега, и из снега вылеплена смешная метелочка на подбородке.

— У вас есть мимозы? — безнадежным голосом спросил Андрей.

Старик развел руками и при этом так улыбнулся, словно отрицательный ответ его должен был обрадовать Андрея.

Андрей облокотился о деревянную притолоку. «А Клава бы все-таки достала цветы, если б они нужны были мне, — подумал он. — Из-под земли бы достала... Да, мы подчас куда беспомощней женщин!»

И тут, сам не зная почему, он рассказал старичку историю своих поисков.

— Конечно, жена и без мимоз обойдется... А все-таки хотелось бы!..

— Да, понимаю вас, — сказал старичок, с нескрываемым удивлением разглядывая Андрея. — Не так уж часто современные молодые люди о цветах беспокоятся. Цветы вроде и ерунда... Безделица вроде. А через них, между прочим, жена ваша многое увидеть может...

Андрей вытянулся во весь свой недюжинный рост и зашагал прочь от ларька с таким видом, будто собрался отправиться за мимозами на край света, будто решил не-

медленно слетать на юг, где растут любимые Клавины цветы.

Но вдруг он услышал сзади:

— Молодой человек, можно вас на минуточку!

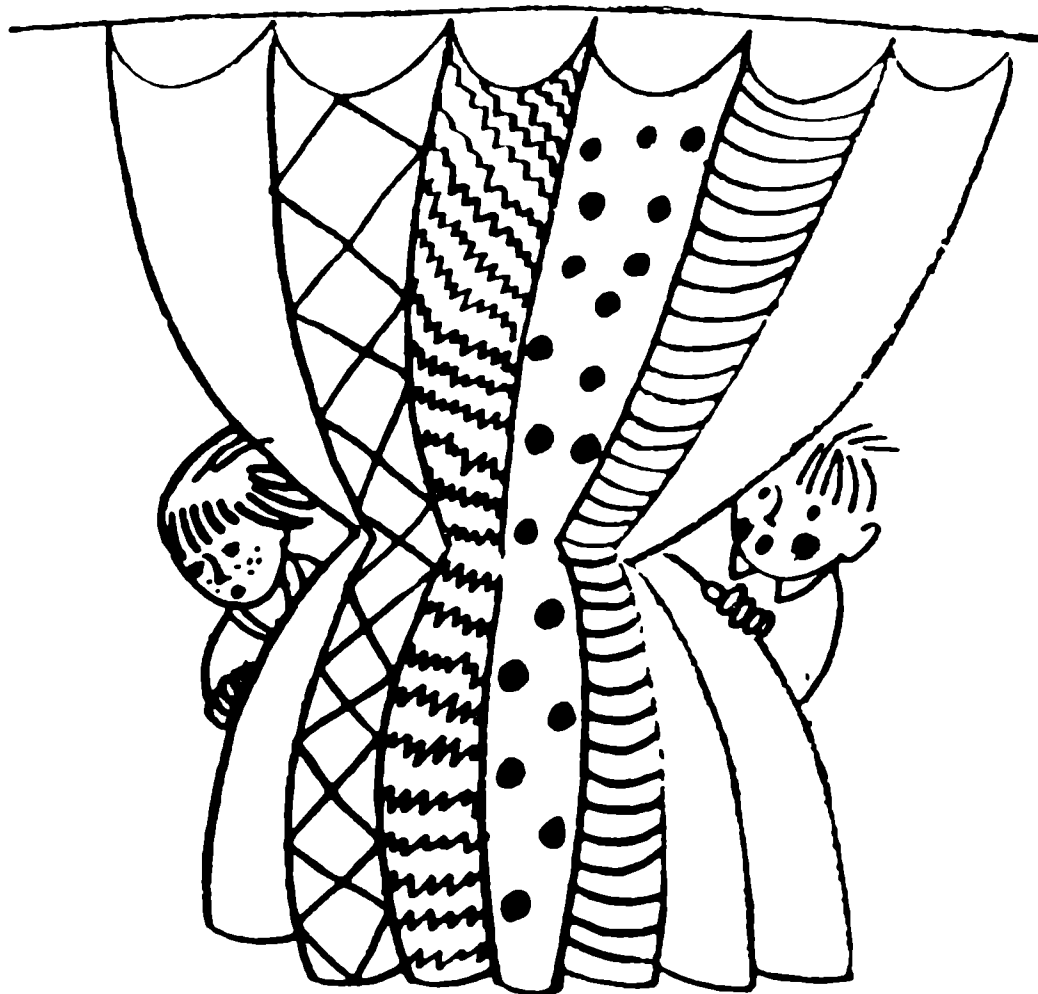
Андрей вернулся к ларьку.

— Тут я, по правде сказать, оставил один букетик для дочери, — извиняющимся голосом сообщил старичок. — Да вижу, вам цветы очень нужны. А ей пускай жених достанет, пусть тоже поищет! Это его дело. Верно я говорю?

— Еще бы!.. — воскликнул Андрей, готовый расцеловать старичка в его снежные усы и в смешную заиндеветшую метелочку на подбородке.

Букет был аккуратно завернут в большой лист шершавой бумаги. Но цветы спрятать нельзя! Пассажиры троллейбуса вдыхали нежнейший аромат юга, ворвавшийся в побеленный морозом вагон. Молодая женщина завистливо взглянула на сверток, потом на Андрея, а потом бросила укоризненный взгляд в сторону своего спутника, мрачно уткнувшегося в журнал.

«Правильно, правильно!.. Пусть тоже поищет!» — подумал Андрей. Он тихонько отвернул край оберточного листа, взглянул еще раз на любимые Клавины мимозы. И каждый цветок показался ему в самом деле похожим на только-только вылупившегося, неправдоподобно маленького цыпленка, присевшего на зеленую веточку.



**ДЛЯ МЛАДШИХ БРАТЬЕВ
И СЕСТЕР**

ПОВЕСТИ

САША И ШУРА



«НЕ ЗАБУДЬ ПРО САМОЕ ГЛАВНОЕ!»

Всю свою сознательную жизнь я мечтал ездить и путешествовать.

Помню, например, когда я был еще совсем маленьким, я каждый день ездил с бабушкой на трамвае в детский сад. Тогда я мечтал стать вагоновожатым. Дома я вытаскивал на середину комнаты старый деревянный чемодан и ставил его на по́пá. Это был электромотор. Сам я усаживался на табуретке перед чемоданом и три часа подряд вертел ручку от мясорубки. На «поворотах» я постукивал чайной ложечкой по дну старой, закопченной алюминиевой кастрюльки — давал звонки. «Лезут под самые колеса! Жизнь, что ли, надоела?» — бормотал я себе под нос. Я слышал, что так именно ругаются вагоновожатые.

За моей спиной были расставлены стулья. На самом последнем стуле всегда сидела бабушка с кожаной авоськой

на груди (я приспособил к сумке веревочные тесемки). Бабушка была одновременно и кондуктором и контролером. Но только иногда бабушка засыпала, уронив голову на авоську, — наверное, уставала от длинного пути. И тогда я вместо нее шепотом объявлял остановки и шепотом кричал на пассажиров: «Ну, что остановились? Проходите вперед, там люди на подножке висят!»

Но на самом деле в моем вагоне был только один взаправдашний пассажир — черный кот по имени Паразит. Это бабушка его так назвала за то, что он однажды съел целую миску куриных котлет. Больше кот никогда ничего не таскал, а имя за ним так и осталось. Только называли мы его не как-нибудь грубо, а, наоборот, очень даже ласково: Паразитиком или даже Паразитушкой. Наш черный кот не был знаком с правилами уличного движения — он то и дело выпрыгивал из вагона на полном ходу. Я резко тормозил, бабушка штрафовала Паразита. Но это на него нисколько не действовало, и он снова выпрыгивал на ходу, не понимая, что рискует жизнью.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды, в воскресенье, мы с мамой не поехали в Химки. Там я первый раз увидел большие, какие-то очень важные и неторопливые пароходы — и сразу захотел стать капитаном дальнего плавания. Стулья расставлялись по-прежнему, но сам я залезал в перевернутую вверх ножками табуретку, которую ставил на обеденный стол. Это был капитанский мостик. Паразит даже в самые сильные штормы смело выпрыгивал за борт. А я с мостика бросал ему надутую велосипедную шину — это был спасательный круг.

Но больше всего я мечтал поехать куда-нибудь далеко-далеко, без мамы, без папы и вообще без взрослых. Чтобы никто не говорил мне, что пить воду из бачка опасно (а вдруг недокипела!), стоять у открытого окна рискованно (вдруг искра от паровоза в глаз попадет!), а переходить на ходу из вагона в вагон просто-таки смертельно. И чтобы я мог, как Паразит, бегать и выпрыгивать куда и как захочу.

Прошло много лет... И вот наконец моя мечта сбылась! Я поехал один, да еще на поезде, да еще на все лето, и не куда-нибудь на дачу, а далеко — в другой город, к маминemu папе, то есть к моему дедушке.

Правда, мама попыталась с самого начала все испортить. Она как вошла в вагон, так сразу тяжело вздохнула, словно у нее горе какое-нибудь случилось:

— Вот приходится сына одного отправлять. Может, возьмете над ним шефство, товарищи?

У окна, спиной к двери, стоял военный. Он был невысокого роста, но такой широкоплечий, что загораживал все окно, и мы сперва даже не могли увидеть бабушку, которая была на перроне и тихонько помахивала нам ладошкой.

Услышав мамины слова, военный обернулся, и я увидел, что это подполковник-артиллерист. Подполковник оглядел меня так внимательно, что мне сразу захотелось поправить пояс и пригладить волосы.

— А что ж над ним шефствовать? — удивился он. — Взрослый, вполне самостоятельный парень!

«Какой замечательный человек! — подумал я. — Настоящий боевой офицер! Вот, наверное, сейчас скажет: «Да я в его годы...» Но подполковник ничего про себя «в мои годы» не вспомнил, а снова отвернулся к окну.

И тут же я понял, что не одни только хорошие и сознательные люди на свете живут.

На нижней полке полулежала толстая-претолстая, или, как говорят, полная, женщина, с бледным, очень жалостливым лицом. Но я уж заметил: бывают такие жалостливые люди, на которых только взглянешь — и сразу не захочется, чтобы они тебя жалели или делали тебе что-нибудь доброе. Женщина лежала с таким видом, как будто весь вагон был ее собственной квартирой и она уже очень-очень давно жила в этой квартире. А вокруг было полно всякой еды, завернутой в бумагу и засунутой в баночки, как бывает у нас на кухне перед Новым годом.

В уголке сидел мальчик с таким же точно бледным и жалостливым лицом, только очень худенький. На голове у него была бескозырка с надписью «Витязь». А ноги его были накрыты пледом, на котором в страшных позах застыли огромные желтые львы.

Полная женщина — ее звали Ангелиной Семеновной — приподнялась и схватила маму за руку:

— Ах, мужчины этого не понимают! Конечно, я присмотрю за ребенком! (Так прямо и сказала — «за ребенком»!) Я его познакомлю со своим Веником.

Я подумал: «Бывают же на свете имена: «Веник»!.. Еще бы метелкой назвали!» — и засмеялся.

— Вот видите, как он доволен! — воскликнула Ангелина Семеновна. — Меня все дети любят, просто обожают!

Подполковник отвернулся от окна и удивленно взглянул в мою сторону, точно хотел спросить: «Неужели вы и в самом деле так уж ее любите?» За всех детей я отвечать не мог, но мне лично Ангелина Семеновна не очень понравилась. И вообще я не понимал, как можно про самого себя сказать: «Меня все обожают».

Оказалось, что Ангелина Семеновна и Веник тоже ехали в Белогорск, но каким-то «диким способом». Что это значит, я тогда не понял. Мне сразу вспомнилась школа, потому что математик Герасим Кузьмич часто нам говорил: «Задача простая, а вы решаете ее каким-то диким способом».

— Мы — дикари! — сказала Ангелина Семеновна. — А это, — она нежно наклонилась к Венику, — мой маленький дикареныш. Хочу залить его сметаной и молоком.

Мне представилось, как бледный «витязь», по имени Веник, барахтается в сметане и молоке и пускает белые, жирные пузыри. Я снова засмеялся.

— Вы оставляете своего сына в прекрасном настроении, — заявила Ангелина Семеновна. — Он — среди родных людей!

Но мама перед уходом все-таки обратилась к подполковнику:

— Вы уж тоже присмотрите, пожалуйста, за моим Сашей. Ладно?

Подполковник кивнул — и она перестала сутулиться, словно у нее гора с плеч упала.

Потом мама пожелала всем счастливого пути, поцеловала меня и пошла на перрон, к бабушке.

На перроне она сложила ладони рупором и крикнула: — Не забудь про самое главное! Не забудь!..

И, разрушив свой рупор, погрозила мне пальцем. Подполковник, тоже глядевший в окно, конечно, ничего не понял.

А я все понял — и у меня сразу испортилось настроение.

КАК Я ЛЕТОМ ДВОЙКУ ПОЛУЧИЛ

Лишь только тронулся поезд, Ангелина Семеновна сейчас же начала «шефствовать» надо мной.

Прежде всего она попросила, чтобы я уступил ее Венику свою нижнюю полку.

— Он у меня очень болезненный мальчик, ему наверх залезать трудно.

— Потренируется и залезет, — сказал подполковник, которого звали Андреем Никитичем.

— Веник обойдется без посторонних советов. У него есть мама! — отрезала Ангелина Семеновна. Она вообще косо поглядывала на Андрея Никитича.

А я, конечно, с удовольствием уступил нижнюю полку, потому что ехать наверху куда интересней: и на руках можно подтягиваться, и в окно смотреть удобней.

Но это было только начало.

Ангелина Семеновна очень точно знала, на какой станции что должны продавать: где яички, где жареных гусей, а где — варенец и сметану. На первой же большой остановке она попросила меня сбегать на рынок, который был тут же, возле перрона.

«И так уж продуктовый магазин в вагоне устроила! — подумал я. — Куда же еще?..» Мне очень хотелось побегать вдоль вагонов, добраться до паровоза, посмотреть станцию, но пришлось идти на рынок. Сама Ангелина Семеновна командовала мной сквозь узкую щель в окне: «Вон там продают куру! (Она почему-то называла курицу «курой».) Спроси, почем кура... Ах, очень дорого!.. А вон там огурцы! Спроси, почем... Нет, это невозможно!»

В результате я ничего и не купил. Но Ангелина Семеновна объяснила мне, что для нее, оказывается, самое интересное — не покупать, а прицениваться.

То же самое было и на второй большой остановке. А на третьей я не стал спрыгивать вниз, нарочно повернулся носом к стенке и захрапел. Но Ангелина Семеновна тут же растолкала меня. Она сказала, что спать днем очень вредно, потому что я не буду спать ночью, а это отразится на моем здоровье, за которое она отвечает перед мамой, и поэтому я должен сейчас же бежать на станцию за варенцом.

— Вы просто эксплуатируете детский труд,— не то в шутку, не то всерьез заметил Андрей Никитич.— Послали бы своего Веника. Ему полезно погулять на ветерке — вон какой бледный!

Ангелина Семеновна очень разозлилась.

— Да, Веник болезненный мальчик! — сказала она так, будто гордилась его болезнями.— Но зато он отличник, зато прочитал всю мировую литературу! Он даже меня иногда ставит в тупик.

— А за что это... «зато» он отличник? — спросил Андрей Никитич своим спокойным и чуть-чуть насмешливым голосом.— Вот и Саша, наверное, тоже хорошо учится.

При этих словах у меня неприятно засосало в том самом месте, которое называют «под ложечкой».

— Мой племянник тоже отличник,— продолжал Андрей Никитич,— а такие гири поднимает, что мне никогда не поднять.

— Ну, Веник циркачом быть не собирается! — заявила Ангелина Семеновна. И сама поплелась на станцию.

С тех пор она больше не разговаривала с Андреем Никитичем.

Да и со мной тоже. Ко мне она обращалась только в самых необходимых случаях. Например, говорила: «Мне нужно переодеться». И мы с Андреем Никитичем оба выходили в коридор.

Он тоже, как и Ангелина Семеновна, хорошо изучил наш путь и знал, казалось, каждую станцию. Но только совсем по-другому.

— Видишь кирпичную коробку? — спрашивал он.— Это консервный завод. Сома в томате любишь? Так вот здесь, на той вон речке, что за станцией, этого ленивого сома в сети загоняют, а потом уж в томат и в банку!.. А вон там, за поворотом, большущий совхоз. Животноводческий!.. Когда в самолете летишь, кажется, что облака с неба вниз спустились и ползают по земле. А на самом деле это белые овцы. Стада овец!

Андрей Никитич ехал в гости к брату.

— Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать,— сказал он.— А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду...

Я как услышал, что Андрею Никитичу надо лечиться,

так прямо ушам своим не поверил. Зачем, думаю, такому силачу лечиться? Ведь он в два счета справился с окном, которое, как говорили проводники, «заело» и которое они никак не могли открыть.

Он заметил мое удивление и сказал:

— Да, облицовка-то вроде новая, не обносилась еще, а мотор капитального ремонта требует.

— Какой мотор? — удивился я.

Андрей Никитич похлопал себя по боковому карману — и я понял, что у него больное сердце.

— Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погонны серебряной лычкой — и в отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...

Андрей Никитич заходил по коридору. Шаги у него вдруг стали медленные и тяжелые-тяжелые, как будто он на протезах ходил.

Потом он остановился возле окна, погрузил все десять пальцев в свои густые, волнистые волосы и стал изо всей силы ерошить их, словно грустные мысли отгонял.

— А ведь я на следующей станции за Белогорском вылезу, — сказал Андрей Никитич. — Выходит, соседями будем.

Я очень обрадовался:

— Приходите к нам в гости! А? Вам ведь, наверное, гулять полезно? И дедушка как раз доктор...

Я достал нарисованный мамой план городка. Там была и дорога, которая вела от станции к дедушкиному домику. Это мама для меня нарисовала, чтобы я не заблудился. Андрей Никитич долго разглядывал план и чего-то ухмылялся про себя.

— Ладно, — говорит, — как-нибудь нагряну.

Вечером Андрей Никитич достал из бокового кармана кителя маленькие, будто игрушечные, походные шахматы — и мы стали сражаться. Я не выиграл ни одной партии. Но Андрей Никитич не предлагал мне фору и долго обдумывал каждый ход. Мне это очень нравилось, и я сдавался с таким радостным видом, что Венику издали, наверное, казалось, что я все время одерживаю блистательные победы.

Венику тоже захотелось сыграть в шахматы. Но я заметил, как Ангелина Семеновна наступила ему на ногу — он испуганно заморгал глазами и уткнулся в книгу.

А ночью я вдруг проснулся оттого, что вспыхнул верх

ний синий свет. Я приоткрыл глаза и увидел, что Андрей Никитич ищет что-то в боковом кармане кителя, который висел у него над головой на гнутой алюминиевой вешалке. Наконец он вытащил из кармана кусочек сахара. От синей лампы и белоснежный сахар, и серебристая вешалка, и зеленый китель, и лицо Андрея Никитича — все казалось синим.

«Проголодался он, что ли? — удивился я. — Вот странно: взрослый, а сладкое любит. В боевом кителе сахар таскает!» Но тут я увидел, что Андрей Никитич достал из-под подушки маленький пузырек, стал капать из него на сахар и шевелить губами — отсчитывать капли. Потом он спрятал пузырек обратно под подушку, а сахар положил в рот — и тяжело задышал. Я вспомнил, что так же вот принимала лекарство моя бабушка, когда у нее, как она говорила, «сосуды лопались».

Я свесился с полки и тут только разглядел, что лицо у Андрея Никитича было очень бледное (издали-то мне синяя лампа мешала разглядеть), а на лбу выступили крупные капли.

— Андрей Никитич, вам плохо? — прошептал я. — Может, нужно что-нибудь?

— Нет-нет... Ничего не нужно, — так же шепотом ответил он и через силу улыбнулся. — Спи... Тебе ведь завтра вставать рано.

Он потушил синюю лампу, но я долго еще не решался уснуть: а вдруг Андрею Никитичу станет плохо и нужна будет срочная помощь? Чтобы не слипались глаза, я начал глядеть в окно.

А за окном медленно просыпалось утро. Понизу стелился белый туман, а поверху — такие же белые клубы от паровоза. Между этими дымками, как на длинном-предлинном экране, проносились поля, деревни, неровные, словно с отбитыми краями, голубые блюда озер...

Незаметно я и заснул.

Разбудил меня Андрей Никитич. Вид у него был бравый, лицо было чисто выбрито, пахло одеколоном и чем-то еще. Мне показалось, что это запах свежей студеной воды. Говорят, что вода не имеет запаха, а на самом деле имеет, и даже очень приятный.

Внизу в полной боевой готовности, окруженная своими бесчисленными чемоданами, узелками и сумками, восседала

Ангелина Семеновна. А Веник читал книгу, тихо забившись в угол скамейки.

Он вообще всю дорогу читал. А говорил очень мало и какими-то мудреными фразами. Например, вместо «хочу есть» он говорил «я проголодался», а вместо «хочу спать» — «меня что-то клонит ко сну».

Я быстро собрал свои вещички в маленький чемодан, который у нас дома называли «командировочным», потому что папа ездил с ним в командировки. Мы с Андреем Никитичем вышли в коридор. И тут я, помню, тяжело вздохнул. И вагон наш, сбавляя скорость, тоже тяжело вздохнул, словно ему не хотелось отпускать меня.

Я заметил, что в поезде как-то часто меняется настроение. Вот, например, в первые часы пути мне все казалось очень интересным, просто необычным: и стук колес где-то совсем близко, прямо под ногами; и настольная лампа, похожая на перевернутое ведро; и лес за окном... Но уже очень скоро меня стало разбирать любопытство: а какой из себя этот самый Белогорск? Как я там жить буду? И уже хотелось, чтобы поскорее замолчали колеса и поскорее я добрался до дедушки. А вот сейчас мне стало грустно... Я успел привыкнуть ко всему в вагоне, особенно к Андрею Никитичу, и очень не хотел с ним расставаться.

* * *

Послушные паровозному гудку, тронулись и поплыли вагоны. Андрей Никитич стоял у окна и махал фуражкой. Он махал мне одному. Я это знал. Знала это и Ангелина Семеновна, поэтому она демонстративно повернулась к поезду спиной и стала рыться в своем синем мешочке, похожем на те мешки, в которых девчонки сдают галоши в раздевалку, только поменьше. Ангелина Семеновна прятала этот мешочек под кофтой.

Сперва она вытащила какую-то бумажку, сделала испуганное лицо и спрятала деньги обратно. Потом вынула бумажку поменьше и снова испугалась. Наконец вытянула совсем маленькую и стала размахивать этой бумажкой с таким видом, будто клад в руке держала. Скоро к ней подъехала телега. Возчик, небритый дяденька с папиросой за ухом, оглядывался по сторонам так, словно украл что-нибудь.

И лошаденка тоже испуганно косила своими большими лиловыми глазами.

— Только поскорше, гражданочка,— сказал возчик.— Поскорше, пожалста.

Казалось, он так торопится, что нарочно сокращает и коверкает слова. И еще мне показалось, что все слова, которые он произносил, состояли из одной только буквы «о».

Ангелина Семеновна «поскорше» никак не могла. Она очень долго устраивалась в телеге. Сперва размещала вещи, чтобы ничего не упало, не разбилось и не запачкалось. Потом долго усаживала Веника, чтобы его не очень потрясло и чтобы ноги в колесо не попали.

Усевшись сзади, она догадалась наконец спросить, к кому я приехал. А услышав, что я приехал к бабушке и что бабушка мой доктор, соскочила на землю, за что возчик обозвал ее «несознательной гражданочкой».

— У тебя здесь бабушка? — воскликнула Ангелина Семеновна.— Так это же чудесно! Садись к нам! Поедем вместе. Может быть, у него комната для нас найдется, а? И Веник будет под наблюдением — он ведь такой болезненный мальчик. Будем жить одной семьей!

Я вовсе не собирался жить с Ангелиной Семеновной «одной семьей» и поэтому сказал, что у бабушки всего одна и очень маленькая комнатка, хотя на самом деле понятия не имел, какая у него квартира. Ангелина Семеновна залезла обратно в телегу, возчик хлестнул свою лошаденку — за скрипели колеса, и ноги Ангелины Семеновны заколотились о деревянную грядку телеги.

Я огляделся по сторонам. За станцией и по обе стороны от нее была глубокая-глубокая, вся в солнечных окнах, березовая роща. Воздух был какой-то особенный — свежий, будто только что пролился на землю шумный летний дождь. Возле реки всегда бывает такой воздух. Но самой реки не было видно: она пряталась за рощей.

От всей этой красоты я так расчувствовался, что забыл придерживать пальцем крышку своего «командировочного» чемодана, как наказывала мне мама. Чемодан раскрылся — и что-то глухо шлепнулось в траву. Я нагнулся и увидел, что это книжка, а вернее сказать — учебник. Да, учебник русского языка, грамматика. Я вспомнил про то самое, «самое главное», о чем кричала с перрона мама,—

воздух сразу перестал казаться мне каким-то особенным, да и березы выглядели не лучше подмосковных.

Я мрачно опустил чемодан на траву и положил учебник обратно. Потом достал нарисованный мамой план пути, развернул его... И вдруг почувствовал, что лицу моему нестерпимо жарко, хоть утренние лучи еще только светили, но почти не грели. В левом углу листа моей рукой большими печатными буквами было выведено: «МОРШРУТ ПУТИ. КАК ИДТИ К ДЕДУШКИ». Чей-то решительный красный карандаш перечеркнул букву «о» в слове «моршрут», букву «и» в слове «дедушки» и написал сверху жирные «а» и «е». А чуть пониже стояла красная двойка, с какой-то очень ехидной закорючкой на конце.

Кто это сделал? Я сразу понял кто. Но почему же он так приветливо махал мне из окна фуражкой? Почему? Догнать поезд я уже не мог. Да и не догонять нужно было поезд, а бежать от него в другую сторону, чтобы не встретиться с Андреем Никитичем.

Я СТАНОВЛЮСЬ ШУРОЙ

Писатель Тургенев говорил, что русский язык «великий и могучий». Это он, конечно, правильно говорил. Но только почему же он не добавил, что русский язык еще и очень трудный? Забыл, наверное, как в школе с диктантами мучился.

Так рассуждал я, огибая березовую рощу.

Но может быть, думал я, во времена Тургенева учителя не так уж придирались и не снижали отметки за грязь и за всякие там безударные гласные? А я вот из-за этих самых безударных сколько разных ударов получал! И в школе, и дома, и на совете отряда...

А вообще-то, рассуждал я, какая разница — писать ли «моршрут» или «маршрут», «велосипед» или «виласипед»? От этого ведь велосипед мотоциклом не становится. Важно только, чтобы все было понятно. А какая там буква в середине стоит — «а» или «о», — это, по-моему, совершенно безразлично. И зачем только люди сами себе жизнь портят? Когда-нибудь они, конечно, додумаются и отменят сразу все грамматические правила. Но так как пока еще люди до это-

го не додумались, а додумался только я один, мне нужно было готовиться и сдавать переэкзаменовку.

Рассуждая таким образом, я обогнул рощу — и сразу увидел Белогорск. Городок взбежал на высокий зеленый холм. Но не все домики добежали до вершины холма. Некоторые, казалось, остановились на полпути, на склоне, чтобы немного передохнуть. «Так вот почему городок называется Белогорском! — подумал я. — Он взобрался на гору, а все домики сложены из белого камня — вот и получается Белогорск».

Я тоже стал медленно взбираться на холм.

Чтобы не терять времени даром, я начал обдумывать план своих будущих занятий. Мне нужно было каждый день заучивать правила, делать упражнения и писать диктанты. «Диктовать будет дедушка», — решил я.

Прикинув в уме, сколько в учебнике разных правил и упражнений, я решил, что буду заниматься по три часа в день. Спать буду по семь часов — значит, четырнадцать часов у меня останется для купания и всяких игр с приятелями (если я с кем-нибудь подружусь). Ну, и для чтения, конечно. Между прочим, наша учительница говорила, что, если много читать, обязательно будешь грамотным. Но я не очень-то верил этому, потому что читал я много (за день мог толстенную книгу проглотить!), а диктанты писал так, что в них, кажется, красного учительского карандаша было больше, чем моих чернил.

Когда я однажды высказал все это нашей учительнице, она ответила: «Если пищу сразу проглатывают, она вообще никакой пользы не приносит. Ее надо не спеша разжевывать». Мне было непонятно, что общего между пищей и книгами. Тогда учительница сказала, что книги — это тоже пища, только духовная. Но я все-таки не понимал, как можно разжевывать «духовную пищу», то есть книги, не спеша, если мне не терпится узнать, что будет дальше и чем всё кончится. А если книга неинтересная, так я ее вообще «жевать» не стану. В общем, книги мне пока не помогали справляться с безударными гласными.

По маминому чертежу я быстро отыскал дедушкин домик. Вернее сказать, это был дөм, в котором жил дедушка, потому что, кроме него, там жила еще одна семья. Обо всей этой семье я еще подробно ничего не знал, а знал

только об одной Клавдии Архиповне, которую мама называла «тетей Кланей», потому что она нянчила маму в детстве, как меня бабушка. В Москве мама предупредила, что дедушка не может прийти на станцию: он очень рано уходит в больницу, ни за что утренний обход не пропустит! А ключи он оставит у тети Клани.

В домик вели два крыльца. Одно было пустое и заброшенное какое-то, а на ступеньках другого лежал полосатый коврик и стояли ~~большие~~ глиняные горшки с цветами и фикусами. Их, наверное, вынесли из комнаты для утренней поливки. Конечно, здесь именно и жила тетя Кланя.

Я направился к крыльцу, но тут, будто навстречу мне, запахнулась дверь и на крыльцо вышел мальчишка лет двенадцати в трусах, с полотенцем.

Мальчишка, прищурив глаза, поглядел на солнце, с удовольствием потянулся, — и я с грустью подумал, что, пожалуй, не решусь при нем снять майку: уж очень у него было загорелое и мускулистое тело.

Ловко перепрыгнув через цветочные горшки, мальчишка подбежал к рукомойнику. Рукомойник висел на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молодая березка, то и дело подметавшая своей листвой край черепичной крыши.

Сперва мне показалось, что мальчишка не заметил меня. Он преспокойно разложил на полочке мыло, щетку, зубной порошок. И вдруг, не глядя на меня, спросил:

— Приехал?

— Приехал... — растерянно ответил я.

Мальчишка старательно намылился, повернул ко мне свое лицо, все в белой пене, и не раскрывая зажмуренных глаз, задал второй вопрос:

— Тебя как зовут?

— Сашей.

Мальчишка постучал ладонью по металлическому стержню умывальника, пригнувшись, попрыгал под несобранной, веерообразной струей, пофыркал и потом сказал, точно приказ отдал:

— Придется тебе два месяца побыть Шурой!

— Как это — придется?.. Почему?

Не очень-то внятно, потому что рот его был полон белого порошка, мальчишка сказал:

— Меня тоже Сашей зовут. Так уж придется тебе побыть Шурой. Чтобы не путали. Понял?

Понять-то я понял, но мне это не очень понравилось.

— Я все-таки тоже хотел бы остаться Сашей, — тихо проговорил я.

Мальчишка от неожиданности даже проглотил воду, которой полоскал рот.

— Мало что хотел бы! У себя в Москве будешь распоряжаться! Понял?

Заметив, что я растерялся, он взглянул на меня чуть-чуть ласковей:

— Ладно. Иди, Шурка, за мной. Ключи дам.

— Иду, — ответил я — и таким образом принял свое новое имя.

— Только горшки не разбей, — предупредил меня Саша. — А то бабушка за них нащелкает! — Он звучно щелкнул себя по загорелому лбу и добавил: — А мне за тебя от бабушки все равно попадет.

— Как это — за меня?

— Очень просто. Она мне встречать тебя приказала. А я не пошел. Что ты, иностранная делегация, что ли? Если бы еще от станции далеко было или дорога запутанная! А то так, ради церемонии... Здравствуй, мол, Шурочка! Ждали тебя с нетерпением, спасибо, что пожаловал! Не люблю я этого.

Саша взглянул исподлобья так сердито, словно я был виноват, что он не выполнил приказа бабушки и что ему за это попадет.

— Давай скажем, что ты встречал! предложил я, желая выручить Сашу. — Ведь она не узнает.

Но он посмотрел на меня еще злее:

— Не люблю я этого!

«То не любишь, это не любишь! — с досадой подумал я. — А что, интересно, ты любишь?»

Квартирка состояла из двух маленьких комнат и кухоньки. Одна комната была такая солнечная, что в ней, не зажмурившись, стоять было невозможно. А другая — совсем темная: в ней не было ни одного окна.

— Отец с матерью давно окно прорубить хотели, а я не разрешаю, — сказал Саша.

— Почему? — удивился я.

— Там пленки проявлять здорово! Понял? Полная темнота!

— Понял. И они тебя послушались? Папа с мамой?..

— А как же! Только бабушка сперва не соглашалась. Но я ей такую карточку сделал, что она потом каждый день стала фотографироваться.

Саша кивнул на фотографию, висевшую над кроватью. С карточки придиричивыми Сашиними глазами глядела на меня исподлобья бабушка. Не только глаза, но и все лицо ее было строгое и очень властное. А лоб был высокий и весь в морщинках, которые соединялись и пересекались одна с другой.

Саша, видно, очень хорошо фотографировал, если морщинки так ясно получились.

Я, между прочим, совсем не такой представлял себе тетю Кланю, которая, по словам мамы, вынянчила ее. Я ожидал увидеть добрую и очень разговорчивую старушку. А у тети Клани губы были так плотно сжаты, словно наглухо прибиты одна к другой.

— Слушай, Шурка, зачем сейчас к дедушке перетаскиваться? — Саша через окно кивнул на пустое, заброшенное крылечко. — У него еще и дверь туго открывается. Пока будем возиться, бабушка с рынка вернется и захватит нас. Давай прямо на реку махнем. А чемоданчик твой пока под кровать задвинем.

В это время слышался топот босых пяток по деревянным ступеням.

— Вот и Липучка явилась, — сказал Саша.

— Кто-кто?

— Липучка. Моя двоюродная сестра. Через три дома отсюда живет. Ее вообще-то Липой зовут. Полное имя Олимпиада, значит. Не слышал, что ли? Это ее в честь матери назвали. А я в «Липучку» перекрестил, потому что она как прилипнет, так уж ни за что не отвяжется.

«Везет же! — подумал я про себя. — То Веник, то Олимпиада...»

Липучка между тем беседовала с цветами. «Ой, какие же вы красавцы! Ой, какие же вы пахучие!» — доносилось с крыльца. Но вот она появилась на пороге. Это была рыжая девочка, с веснушками на щеках, с уже облупившимся, удивленно вздернутым носиком. И выражение лица

у нее было такое, будто она все время чему-то изумлялась или же чем-то восторгалась.

— Ой! Внук дедушки Антона приехал! — вскрикнула Липучка, точно она с нетерпением ждала меня и наконец-то дождалась.

Тогда я еще не знал, что Липучка вообще каждую свою фразу начинает со слова «Ой!». Я очень удивился, что она назвала моего дедушку Антоном.

— Почему Антон? — спросил я.

— Ой, как же «почему»? Как же «почему»?

— Потому что он — не Антон...

Я не заметил даже, что случайно сказал в рифму. Но Липучка заметила, и ей это очень понравилось. Она стала хохотать и сквозь смех приговаривала:

— Он — Антон! Он — Антон!..

Смех у нее был какой-то особенный: послушаешь — и самому смеяться захочется.

Я прошептал про себя мамино имя-отчество: ее звали все-таки не Мариной Антоновной, а Мариной Петровной. Значит, если говорить по-Липучкиному, дедушка мой был «дедушкой Петром», а вовсе не «дедушкой Антоном». Я все это высказал ей, а она вытаращила свои зеленые, как у нашего Паразита, глазищи и стала тыкать в меня пальцем:

— Ой, Сашка, посмотри на него! Не знает, как собственного дедушку зовут! А свое-то имя ты помнишь?

Саша, ухмыляясь, засовывал под кровать мой «командировочный» чемоданчик.

— Ну, накричалась? — насмешливо спросил он. — Теперь умного человека послушайте. Дедушку-то, ясное дело, Петром Алексеевичем зовут. Ты, Липучка, про это не знаешь, потому что только в прошлом году сюда приехала. А мы дедушку уж три года Антоном зовем: он у нас в школе однажды Антона Павловича Чехова изображал... Ну, в постановке одной. Мы «Каштанку» показывали. И еще «Хамелеона». А дедушка от имени Антона Павловича вел программу и на вопросы отвечал. С тех пор мы его и прозвали. Понятно?

— Понятно... — прошептала Липучка и так виновато взглянула на меня своими зелеными глазами, как наш Паразит после знаменитой истории с куриными котлетами.

— Айда на реку! — скомандовал Саша.

Запирая дверь, он шепнул мне:

— Вообще-то женщин во флот брать не полагается. Но уж приходится. А то ведь такой визг поднимет! Да и команды у нас не хватает.

— В какой флот? — не понял я.

— Там увидишь!..

У РЕКИ БЕЛОГОРКИ

Когда мы сбежали с холма на золотистый песчаный берег, Саша строго предупредил меня:

— Ты ей не верь. С виду она вон какая веселая, сверкает на солнышке, а на самом деле — хитрая и коварная...

Я с удивлением посмотрел на Липучку: она и вправду очень весело глядела на все вокруг, и рыжие волосы ее в самом деле сверкали на солнышке. «Неужели она хитрая и коварная? — подумал я. — Скажи пожалуйста! А на вид такая приветливая. Хотя мама всегда говорит, что я плохо разбираюсь в людях».

Я глазел на Липучку с удивлением — и она спросила:

— Веснушки разглядываешь, да? Много, да? Очень?..

И стала тереть свои щеки, словно хотела уничтожить маленькие, очень симпатичные коричневые точки.

— Да нет, он просто не понял, — усмехнулся Саша. — Думает, что я про тебя сказал — коварная и хитрая. Ты, ясное дело, тоже хитрая. Но только я про Белогорку говорил. В ней ямы на каждом шагу и воронки студёные... Ты, Шурка, плаваешь хорошо?

Я неопределенно пожал плечами, потому что умел плавать только по-собачьи, а всякие там брассы и кроли еще не изучил: давно собирался, все откладывал из года в год.

Река называлась Белогоркой потому, что в ней отражались и зеленый холм и белые домики. Липучка даже говорила, что она свой домик в воде различает. Но Саша не верил.

— А раскладушку свою, случайно, не разглядела? Или ты ее днем за шкаф прячешь?

Белогорка была довольно широкой и на вид очень безобидной рекой. Она петляла между зелеными холмами, точно убегая от кого-то, хотела замести свои следы. Над берегом нависла песчаная глыба ржавого цвета, словно огромная собака тянула к реке свою лохматую морду. А под глыбой (чтобы дождь не замочил) были аккуратно сложены причудливые ветвистые коряги, балки, доски и бревна разных цветов: белые — березовые, рыжие — сосновые, зеленовато-серые — осиновые. Тут же валялась старая калитка неопределенного цвета со сломанными перекладинами.

— Наш строительный материал, — гордо сообщил Саша. — Будем плот строить.

— Значит, у нас будет не флот, а плот? — уточнил я.

Липучка снова захохотала:

— Опять в рифму сказал! Опять в рифму!

И стала приговаривать: «Не флот, а плот! Не плот, а флот!..»

Чуть поодаль стоял зеленый шалаш, сложенный из хвойных и березовых ветвей.

— А это склад инструмента и сторожевая будка, — объяснил Саша.

Он осторожно, на цыпочках, подошел к шалашу, вытащил оттуда пилу, топор, молоток, баночку с гвоздями. Потом выволок из шалаша за передние лапы белого пушистого пса и стал всерьез упрекать его:

— Целый день дрыхнешь, да? Эх, Бёрген, Бёрген! Да в военное время с тобой бы знаешь что сделали?! Заснул на посту! Хорош сторож... Я все инструменты вытащил, а тебе — хоть бы хны!

Выслушав все это, пес сладко, с завываньем зевнул, фыркнул, стряхнул с морды песок, а потом вскочил на лапы и принялся отважно лаять.

— Лучше поздно, чем никогда, — усмехнулся Саша. — Эх, Берген, только за старость тебя прощаю! Все-таки старость уважать надо. Да артист ты уж больно талантливый. — Повернувшись ко мне, Саша объяснил: — Он у нас в «Каштанке» главную роль исполнял. И еще как! Три раза раскладываться выходил.

— Как зовут собаку? — с удивлением спросил я. — Берген?

— Ой, правда, хорошее имя? Это Саша придумал. Оригинальное имя, правда? — затараторила Липучка.

— А что это значит — Берген? — спросил я. — Уж лучше бы назвали просто Бобиком или Тузиком. А то Берген какой-то... Чуть ли не «гут морген»!

— Сам ты «гут морген»! — рассердился Саша. — Мы со смыслом назвали.

— С каким же смыслом?

— Не понимаешь, да? Эх, и медленно у тебя котелок варит! Какой породы собака?

— Шпиц, — уверенно ответил я, потому что эту породу нельзя было спутать ни с какой другой.

— Ясное дело, шпиц. А теперь произнеси в один прием название породы и имя. Что получится?

— Шпиц Берген... Шпиц Берген...

Да, видно, Саша, как и я, бредил путешествиями и дальними землями, если даже собаку в остров перекрестил.

Он вытащил из шалаша большой фанерный ящик.

— А это что? — спросил я.

Он опять нахмурился:

— Не видишь, что ли? Ящик из-под сахара. Мы его к плоту прибьем — и получится капитанский мостик, с которого я буду вами командовать. Понял?

— Понял.

— Мог бы сам догадаться.

После этого мне, конечно, не очень-то хотелось задавать Саше новые вопросы. Но я все-таки не удержался и спросил:

— А куда мы поплывем? Куда-нибудь далеко-далеко? Я давно хотел...

И эти слова почему-то очень не понравились Саше.

— Ишь какой Христофор Колумб объявился! «Поплывем! Далеко-далеко»! Будем здесь, возле холма, курсировать — и все.

— У-у!.. — разочарованно протянул я. — Это неинтересно. Я думал, будем путешествовать...

— Мало что неинтересно! Не могу я из города уехать. Понял?

— Почему не можешь?

— Не могу — и все. Тайна!

— Тайна? — шепотом переспросил я. Это слово я всегда произносил шепотом. — Здесь, в Белогорске, тайна?

— Да вот, представь себе. Здесь, в Белогорске.

— И ты из-за нее не можешь уехать?

— Не могу.

Я позавидовал Саше: у него была тайна! И наверное, очень важная, если из-за нее он отказывался от дальнего путешествия. Чтобы я больше ничего не выводывал, Саша тут же заговорил о другом.

— Ты, Олимпиада, кормила Бергена? — с напускной строгостью спросил он.

Я помимо воли улыбнулся:

— Олимпиада!..

— Чего зубы скалишь? — разозлился Саша. — Ничего нет смешного. Пьесы Островского никогда не читал? У него там Олимпиады на каждом шагу.

— Я читал Островского. И даже в театре смотрел.

— Ой, ты небось каждый день в театр ходишь? — воскликнула Липучка, которая совсем не обиделась на меня.

— Не каждый день. Но часто...

— Ты и в Большом был?

— Был.

— Ой, какой счастливый! Ты небось и книжки все на свете перечитал? У вас ведь там прямо на каждой улице библиотеки!

— Да... читаю, конечно...

Только-только я стал приходить в хорошее настроение, как Липучка все испортила:

— Ой, ты небось отличник, да?

И почему ей пришел в голову этот дурацкий вопрос? Я только и мог неопределенно пожать плечами.

— Я так и думала, что ты отличник!

А Саша все хмурился. «Наверное, хвастуном меня считает, — подумал я. — Но ведь я ничего определенного не сказал. Я только пожал плечами — и все. Это же Липучка раскричалась: «Отличник, отличник!» А почему я, в самом деле, должен срамиться и всем про свою двойку докладывать?»

— Ясное дело, у них там отличником быть ничего не стоит, — мрачно сказал Саша. — Все книжки перечитаешь, пьесы пересмотришь — и сразу все знать будешь. Даже в учебники лазить необязательно.

От Сашиных слов мне почему-то захотелось нагнуться и лучше разглядеть камешки под ногами.

— Ну ладно, — сказал Саша. — Давайте плот строить.

Он объяснил, что мы скрепим все балки и бревна поперечными досками, перевьем их проволокой, приколотим ящик, из которого он, Саша, будет нами командовать, и спустим плот на воду.

— Ты работать умеешь? — сердито, заранее сомневаясь, спросил Саша.

— А чего тут уметь? Подумаешь, дело какое!

Тогда Саша приказал мне укоротить два березовых бревна, которые были гораздо длиннее других.

— Чтобы не выпирали, — объяснил он и принялся доламыивать старую калитку.

Я взял топор, закинул его обеими руками за правое плечо и что было силы хватил по краю бревна. Но бревно от этого не укоротилось, а треснуло где-то посередине и раскололось.

— Эх, ты! — с презрением произнес Саша. — Разве это топором делают? А пила зачем? Целое бревно испортил!

Даже Липучка смотрела на меня так, что я понял: она не только восторгаться умеет — и свое знаменитое «ой» по-разному произносит.

— Ой! — насмешливо сказала она. — Топор держать не умеет! Дрова, что ли, никогда не колот?

— А зачем ему колоть? — за меня ответил Саша. — У них там в квартирах и газ и паровое отопление... Что угодно для души! А еще кричал: «Путешествовать, путешествовать»! На экскурсии тебе ездить, а не путешествовать!

«Я ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ!»

Когда мы возвращались с реки, холм уже не был зеленым. Да и весь городок можно было назвать скорее не Белогорском, а Темногорском. Дорога показалась мне гораздо длиннее и круче, чем утром. Я подумал, что летние дни очень длинные и раз уже успело стемнеть — значит, совсем поздно. Вдобавок ко всему у меня что-то перекашивалось в животе и неприятно посасывало под ложечкой.

За целый день я съел всего два невымытых горьких огурца и кусок черствого черного хлеба. Все это хранилось у Саши в зеленом шалаше. Один раз Саша сбегал в город и принес

оттуда миску горячего супа, но отдал ее шпицу Бергену. А нам с Липучкой он не дал супа, потому что мы, по его словам, должны были тренировать свои желудки и закаляться, как будущие моряки.

— Ну да, «закаляться»! — ныл я, с завистью поглядывая на шпица Бергена, который шумно лакал из миски дымный, пахучий суп. — Если бы далеко поплыли, тогда другое дело! А то здесь, поблизости, будем крутиться. Зачем же нам закаляться?

«Сам небось наелся в свое удовольствие, когда шпицу за едой бегал!» — со злостью думал я о Саше, поднимаясь на холм и от голода чувствуя слабость в ногах. Что бы сказала мама, если б узнала про сегодняшний день! Ведь она сколько раз повторяла: «Ты должен поправиться, ты должен поправиться! И ешь в одни и те же часы — это самое важное!» Слушая мамины слова, я только усмехался, а вот сейчас я почувствовал, что есть вовремя — это, может быть, и не самое важное дело, но, во всяком случае, очень существенное.

Вспомнив о маме, я с ужасом вспомнил и о том, что до сих пор не послал телеграмму. А ведь она перед отъездом говорила: «Прежде всего дай телеграмму. Прежде всего! А то мы все здесь с ума сойдем. Помни, что у бабушки больное сердце!»

«Наверное, все уже давно сошли с ума!» — подумал я и помчался на почту.

В Белогорске все было очень близко, и почта тоже была совсем рядом с дедушкиным домом.

Возле окошка с бланками в руках стояло несколько человек.

Я еще ни разу в жизни не посылал телеграмм, но знал, что настоящая телеграмма должна быть очень короткой. «Это хорошо, — подумал я, — меньше ошибок насажаю». К тому же у меня болел средний палец: от пилы на нем выскочил беленький, точно резиновый пузырь.

Текст телеграммы я придумал сразу: «П р и е х а л п о п р а в л я ю с ь Ш у р а». Как будто коротко и ясно? Но оказалось, что не так уж ясно. Два вопроса сразу стали мучить меня: «приехал» или «поехал», «поправляюсь» или «паправляюсь»? Я старался изменить телеграмму, чтобы в ней не было ни одной безударной гласной. Но у меня ничего не

выходило. Боясь, чтобы телеграфистка, как Андрей Никитич, не вклеила мне двойку, я прибегнул к своему старому, испытанному способу: написал сомнительные буквы так, чтобы не было понятно: «е» это или «и», «а» или «о».

В последнюю минуту я вдруг вспомнил, что ведь мама никогда не называла меня Шурой. Зачеркнул «Шура» и написал «Саша». И как это меня за один день так приучили к новому имени?!

У окошка остались только двое. Передо мной стоял человек в белой соломенной шляпе. Спина его, и без того немного сутулая, совсем сгорбилась, наклоняясь к окошку.

За стеклянной перегородкой сидела старая телеграфистка со сморщенным лицом. На кончике ее носа умещались сразу двое очков. Но глядела она поверх облезлой коричневой оправы, и я не мог понять, зачем же она так отягощает свой нос. Каждую телеграмму телеграфистка негромко прочитывала вслух и делала это с таким сердитым видом, будто написавший телеграмму лично перед ней в чем-то провинился. Но, увидев человека в соломенной шляпе, она приподнялась, просунула сквозь окошко руку, испачканную лиловыми чернилами, и поздоровалась.

— Наша Ляленька совсем забыла про ангины, — сказала она. — Не знаю уж, как вас благодарить!

— А вот примите телеграмму и отправьте поскорее. Это, вообразите, очень важно, — ответил человек в соломенной шляпе. Голос у него был хрипловатый, но очень участливый.

Телеграфистка осторожно, одними пальцами, точно драгоценность какую-нибудь, взяла бланк и стала шептать:

— «Москва, Ордынка...»

«Моя улица!» — чуть было не крикнул я. И мне вдруг показалось, что я уехал из Москвы давным-давно, хотя на самом деле это было только позавчера.

Телеграфистка долго не могла разобрать номер дома. Но не спрашивала, боясь лишний раз побеспокоить человека в соломенной шляпе. Наконец она зашептала дальше:

— «Дом шестнадцать, квартира семь...»

Я замер.

— «Почему не приехал Саша? — шептала телеграфистка. — Волнуюсь, молнируй. Папа».

Я, как говорится, потерял дар речи. Папа? Здесь мой

папа? Но тут же я понял, что это не мой папа, а папа моей мамы — стало быть, мой дедушка! Телеграфистка уже начала подчеркивать слова в телеграмме, но я остановил ее:

— Пойдите! Пойдите... Я приехал! Приехал! Честное слово, приехал!

Я увидел, как дрогнула соломенная шляпа. Человек обернулся — и я, отступив на шаг, тихо сказал:

— Дедушка...

Он и правда был похож на Антона Павловича Чехова: русая курчавая бородка, такие же усы, пенсне на цепочке. Только выглядел он гораздо старше Антона Павловича, потому что Чехов, к сожалению, не дожил до его лет.

Я видел дедушку очень давно, когда в школу еще не ходил. Дома у нас висела его фотография. Но там он был совсем молодой — моложе, чем сейчас мой папа.

Дедушка гладил меня по голове и разглядывал, как бы желая удостовериться, я это или не я.

— Саша? Приехал, а?.. Слава богу, слава богу! А то уж совсем голову потеряли...

Дедушка высунулся в окно и негромко позвал:

— Клавдия Архиповна! Он здесь! Приехал, вообразите!

Сразу с шумом распахнулась дверь, и вошла высокая, худощавая женщина в фартуке. Я узнал Сашину бабушку. Она с грозным видом оглядела меня и, точь-в-точь как Саша сегодня утром, спросила:

— Приехал?

Потом выждала немного и своим грубоватым, мужским голосом задала новый вопрос:

— Заявился, значит? Пожаловал! А где же целый день околачивался?

— Мы, тетя Кланя, на реке были... — стал робко оправдываться я.

И тут лицо Клавдии Архиповны преобразилось. Глаза ее подобрели и стали такими теплыми, словно она вспомнила что-то далекое и очень приятное.

— Как?.. Как ты сказал? «Тетя Кланя»! Да ведь это его Маришка научила! Маришка! Значит, не забыла меня? Она одна меня только так величала. А больше никто...

Я понял, что Маришкой она называла мою маму.

Клавдия Архиповна стала разглядывать меня уже не с таким грозным видом.

— А Маришка-то в его годы покрепче была. Да, покрепче. Ишь, бледный какой, ровно уксус глотает. И взгляд пугливый. Маришка-то наша посмелее была.

Телеграфистка, должно быть, ко всему привыкла: сколько чужих радостей и печалей проходило каждый день через ее окошко! И все-таки она привстала, облокотилась на столик и тоже с интересом разглядывала меня.

— Маринин сынок? — недоверчиво спросила она. — Такой большой? Эх, и летят же годы! Помню, как она сама до окошка моего не дотягивалась...

Телеграфистка тяжело опустилась на стул, стащила с носа обе пары очков и мечтательно запрокинула голову: молодость свою вспомнила.

Тетя Кланы была права — должно быть, у меня и правда был испуганный взгляд: разве приятно, когда тебя с ног до головы, как экспонат какой-нибудь, разглядывают?

Дедушка послал маме телеграмму о моем благополучном приезде, и мы отправились домой.

Уже у самого дома тетя Кланы сказала:

— А Сашке моему я сегодня нащелкаю по затылку! Это всё его проделки.

— Пощадите его, Клавдия Архиповна! — заступился дедушка. — Я уже совсем успокоился, вообразите.

— Нет, не уговаривайте меня, Петр Алексеич. Не успокаивайте, — сказала тетя Кланы таким мирным тоном, что я понял: она сама успокоилась и Саше ничего не грозит.

У дедушки в комнате на самом видном месте, в рамке под стеклом, висела похвальная грамота, которую моя мама получила в десятом классе.

— Я еще много грамот храню, — сказал дедушка. — Все-то не вывесишь. Марина, вообрази, в каждом классе награды получала. Только в пятом не получила. И кажется, еще в седьмом. Потому что болела. А?

Я, конечно, был очень рад за свою маму, был очень доволен, что она всегда так хорошо училась, но настроение у меня все же испортилось. Я сразу решил, что буду писать диктанты без всякой дедушкиной помощи. И ни слова не скажу ему о своей двойке, ни слова!

Дедушка задавал мне много разных вопросов, а я подробно рассказывал ему про здоровье мамы, и папы, и папиной мамы, то есть моей бабушки... А потом я поскорей лег в

постель, пока дедушка не добрался до моего здоровья и до моих отметок.

Но заснул я не скоро. Я думал о своих занятиях. И еще я завидовал Саше: у него есть тайна! И какое-то очень важное, таинственное дело! А вот у меня, кроме переекзаменировки, никаких таинственных дел не было.

Потом я с грустью подумал о том, что за весь день не сделал ни одного упражнения, не написал ни одной строчки диктанта и не выучил ни единого правила. Я быстро произвел в голове кое-какие перерасчеты и пришел к выводу, что теперь мне нужно будет заниматься не три часа в день, а три часа и десять минут.

«НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ...»

Странно бывает просыпаться на новом месте. Сперва, в самый первый миг, не можешь понять, где ты и что с тобой. Потом, конечно, вспоминаешь — и становится как-то грустно, одиноко.

Просыпаясь дома, я всегда видел в окне молодое деревце неизвестной породы. По крайней мере, никто из мальчишек в нашем дворе не знал, как оно называется. Осенью, в дождливые дни, деревце прижималось к окну своими голыми ветками, такими нйточно-тонкими, что их можно было принять за трещины на стекле. А весной деревце покрывалось зелеными, похожими на сердечко листиками.

Дальше, за деревцем, за двором, я привык видеть недостроенный дом с пустыми, незастекленными окнами — весь в деревянных лесах. Мне казалось, что дом этот строится всю мою жизнь. Его и правда начали поднимать много лет назад, а потом почему-то бросили. Об этом даже в газете статья была.

А в это утро передо мной было не окно, а белая стена, увешанная разными замысловатыми полочками и деревянными фигурками животных, как будто здесь устроили выставку нашего школьного кружка «Умелые руки».

Все это была дедушкина работа.

«А с лобзиком — преотличнейший отдых, — еще накануне вечером объяснил мне дедушка. — Руки работают, а нервы спят».

Окно было сзади, над головой. Мама никогда не разрешала так спать, говорила, что в голову надует. А вот дедушка (доктор!) сам предложил поставить раскладушку возле окна.

— Преотличнейшая будет вентиляция! — уверял он.

Дедушкина кровать была уже застелена. «Неужели так рано ушел на работу?» — подумал я. Но тут же заметил висевшую на стуле самодельную палку, на которой были выжжены при помощи увеличительного стекла разные причудливые узоры. Часы показывали семь утра. Это были самые обыкновенные ходики. Но дедушка вставил их в красивую резную оправу из дерева, тоже самодельную, так что виден был один только циферблат.

Мне показалось, что кто-то за моей спиной крадучись, с тихим шорохом лезет в окно. Я быстро вскочил и увидел, как загорелая рука положила на подоконник две газеты и письмо. Газеты «Правда» и «Медицинский работник» были вчерашние. Я взглянул на письмо — и тут же узнал крупный, аккуратный и разборчивый, как у девчонок-отличниц, мамин почерк. Письмо было адресовано Саше Петрову, то есть лично мне. Я хотел разорвать конверт, но тут послышался голос дедушки:

— Подожди, подожди! Давай марку исследуем.

Дедушка стоял на пороге по пояс голый и растирался мохнатым полотенцем.

Несколько минут он произносил одно только слово: «Хор-рошо-о! Хор-рошо-о!» Потом надел пенсне, взял у меня конверт и стал разглядывать марку.

— Да, ничего нет лучше утреннего обтирания! Так-с... — Он артистически ловко отделил марку от конверта. — Вообрази, все зубчики уцелели, все до одного! У меня еще не было такого экземпляра.

С виду дедушка Антон был старик как старик (палка, пенсне, жилет с цепочкой), но в то же время в нем было много мальчишеского: он собирал марки, обтирался холодной водой, что-то выжигал, вырезал, выпиливал...

На полке стояли самодельные шахматы (тоже его собственной работы), в которые, как предупредил дедушка, мы обязательно будем играть, «потому что шахматы — преотличнейшая гимнастика для человеческих мозгов».

Спал дедушка на узкой деревянной кровати и укрывался одной только простыней.

Пока дедушка одевался, я читал вслух мамино письмо:

— «Дорогой Саша! — писала мама. — Как только мы с бабушкой вернулись с вокзала, так сразу я села писать письмо. Ведь я забыла предупредить тебя о том, что Белогорка — очень опасная река. Там много ям и воронок. Так что, прошу тебя, не удаляйся от берега...»

— А ты что, плаваешь плохо? — спросил дедушка.

— Да нет... Просто мама боится.

— «Боится»! — Он покачал головой. — Сама-то, поди, Белогорку нашу по десять раз переплывала. Забыла, что ли, как девчонкой была?

Я стал читать дальше и убедился, что мама решила вконец опозорить меня перед дедушкой.

— «Кушай в одно и то же время! — писала она. — Это самое важное. И ни в коем случае не пей воду из колодца!..»

Дедушка в это время сидел на кровати и, побрякивая, натягивал ботинок. Он так и застыл, пригнувшись всем телом к вытянутой ноге.

— Кушать в одно и то же время — весьма полезно. Присоединяюсь! Но в чем же, скажи на милость, колодезная вода проштрафилась? Преотличнейшая вода! Как врач рекомендую и даже прописываю! — И, продолжая натягивать ботинок, он проворчал: — Сама-то всегда к колодцу бегала... И никогда, слава богу, не болела.

Но самое неприятное в маминем письме было дальше.

— «Ты, Сашенька, гуляй, играй с товарищами, — писала мама. — Но в то же время...» — На этой фразе я споткнулся и замолчал: дальше мама писала о моей переекзаменовке и о том, как упорно я должен пыхтеть над учебниками.

— Что там «но в то же время»? — спросил дедушка, надевая жилет. — Разобрать не можешь? У Марины ведь каллиграфический почерк. Не скажешь даже, что докторская дочка.

— А у докторов разве плохие почерка? — спросил я с наигранным интересом, лихорадочно соображая, что же делать дальше.

— У докторов почерки прескверные: пишут истории болезни, рецепты — торопятся. Вот и выходят каракули. Дайка я тебе помогу разобрать.

— Да нет, уже все понял, — остановил я дедушку. И стал горячо, прямо-таки вдохновенно сочинять: — «Но в то же время ты, Саша, должен заботиться о своем дедушке! Ты должен во всем помогать ему. Не забывай, что он уже старик...»

— Что, что? — насторожился дедушка и даже палкой слегка пристукнул. — Так прямо и написано: «старик»? Дай-ка я посмотрю!..

— Нет-нет, ошибся! — вновь остановил я дедушку. — Тут написано не «старик», а «привык»... Значит, так: «Не забывай, что он уже привык жить один, и поэтому не утомляй его, не шуми, не надоедай!»

Для правдоподобности я закончил письмо так, как закончила его сама мама:

— «Целую тебя, Сашенька. Поцелуй и дедушку. Я ничего не написала ему и о нем, потому что думаю послать ему завтра отдельное письмо...»

— Как же — ничего не написала? — удивился дедушка. — Ты ведь только что читал...

— Забыла, наверное, — предположил я. — Просто забыла. И сунул письмо под подушку.

Дедушка покачал головой и недовольно подергал цепочку от пенсне:

— Да, память, поди, прескверная стала. Ей бы самой приехать сюда. Отдохнуть от шума, от города...

Дедушкина палка бойко пересчитала ступеньки крыльца и, прикоснувшись к земле, как бы потеряла голос.

Я остался в комнате один. И сразу, подгоняемый маминим письмом, решил сесть заниматься. Чтобы убедить самого себя, что заниматься буду очень серьезно, я разложил на столе сразу две тетради, учебник грамматики и томик Гоголя. Я решил тренироваться на гоголевских текстах, чтобы было одновременно и полезно и весело. К тому же учительница говорила нам, что у Гоголя попадаются фразы, очень трудные для двоечников.

«Возьмусь за самое трудное! И просижу сегодня ровно три часа десять минут. Ни за что на свете не нарушу графика!» — так мысленно поклялся я сам себе. И в ту же секунду услышал пронзительный крик:

— Ой, пираты! Пираты... Пираты напали!

ПИРАТЫ

По ступенькам застучали голые пятки.

Пока Липучка появилась в дверях, я успел накрыть тетради и книжки скатертью и запустить глаза в потолок. Распахнув дверь, Липучка взглянула на меня так, словно кругом бушевал пожар, а я сидел себе преспокойно, не замечая никакой опасности.

— Ой, сидит! Ручки скрестил, мечтает! А там пираты напали! Шалаш растаскивают. Бежим скорей! Где дедушкина палка?

— Где палка? — заволновался я, вскакивая со стула. — Она в больнице... То есть дедушка в больнице.

— Ой, плохо! А то бы мы их палкой по шляпам!

— По каким шляпам?

— Там увидишь. Бежим!

Саша был уже во дворе. Между нашим и Сашиним крыльцом на веревке белым накрахмаленным занавесом было развешано белье. Саша приказал Липучке снять белье и отнести его в комнату.

— Сделаем из веревки лассо, — крикнул он, — и накинем на них, если будут сопротивляться!

Мы отвязали от столбов веревку. Саша ловко, в два приема, сделал на конце петлю и покрутил ею в воздухе. Потом спрятал «лассо» под рубашку, и мы помчались с холма вниз, к реке.

Подбежав к берегу, мы спрятались в кустах и стали наблюдать.

Пиратов было двое. Вместо черных пиратских флагов они держали в руках белые панамы и зловеще обмахивались ими. Оба они были в красных купальных костюмах и с зелеными листочками на носах. Но только один пират был толстый-претолстый, а другой — щуплый и худенький.

Пиратская база, в виде теплого зимнего одеяла и разных баночек-скляночек на нем, расположилась вблизи от нашего шалаша. Тут же лежали снятые с него зеленые ветки. Обмахнувшись панاماми, пираты как ни в чем не бывало стали продолжать свое разбойничье дело. Отдирая широкую хвойную ветку, толстый пират или, вернее, пиратка произнесла:

— Не лезь, Веник, ты занозишь руки иголками! Я все сделаю сама. У нас будет очаровательный тент. Мы спрячемся под ним от солнца. А то может быть солнечный удар!

— Я их знаю,— еле-еле, сквозь смех, выговорил я.— Это же дикари! Самые настоящие дикари!..

— Ясное дело, дикари, раз в чужой дом залезли,— угрюмо согласился Саша.— Мы строили, а они ломают... Сейчас вот на этого бегемота в панаме накину лассо!

Но заарканить Ангелину Семеновну Саша не успел... В стане пиратов вдруг поднялось страшное смятение. Веник хотел залезть внутрь шалаша и, видно, наступил на лапу спавшему там шпицу Бергену. Старый пес вскочил, взвизгнул и спросонья тяпнул Веника за ногу.

Что тут началось!

— Покажи мне ногу! Покажи маме ногу!— завопила Ангелина Семеновна.

А разглядев ногу Веника, она завопила еще сильнее:

— Боже мой! Это бешеная собака! Видишь, она все время отворачивается от реки, она боится воды! Она боится воды. Она бешеная!..

— Сама бешеная, а нашего Бергена оскорбляет!— проворчал Саша.— Молодец, что тяпнул: не будут чужие вещи таскать!

Ангелина Семеновна вдруг замахнулась чем-то — мы не разглядели, чем именно,— и шпиц жалобно взвизгнул.

— Ну, вот видишь!— закричала Ангелина Семеновна.— Я проверила! Она, конечно, боится воды. Слышишь, как визжит?

Пиратка сгребла свое ватное одеяло, баночки и скляночки с едой и, крикнув Венику: «За мной! В больницу!» — стала карабкаться на холм. Впопыхах она даже не надела платья, а так и полезла в своем красном купальном костюме.

— Ей бы гладиаторшей в цирке работать. Быков пугать! — сказал Саша.

А Липучка ничего не могла произнести: она беззвучно хохотала, трясая плечами и хватаясь за живот.

Как только мы вылезли из своего укрытия, шпиц Берген с визгом бросился к нам навстречу.

— Ой!— вскрикнула Липучка.— Они его поранили!

И правда, вся морда у пса была в крови... Кровь, стекая по длинной белой шерсти, капала на камешки. Сашино лицо

вдруг побледнело и стало таким злым, что я испугался. Глаза сузились и стали похожи на металлические полосы, а губы сжались еще плотней.

— Догоню их сейчас и сдам, как самых настоящих разбойников, в милицию,— процедил он. Опустился на колени и стал разглядывать раненого пса. Постепенно Сашины губы сами собой разжались и стали растягиваться в улыбку. Он поймал на ладонь одну красную каплю и слизнул ее.

— Ой, что ты делаешь?— изумилась Липучка.

— Морс пробую... Клюквенный морс! Главная пиратка облила его морсом, чтобы проверить, боится ли он воды. Понятно?

Липучка опять стала трясти плечами и хвататься за живот. Потом она потащила пса в реку умываться.

— Ну, не упрямясь, не упрямясь, пожалуйста! Ты вел себя, как настоящий герой: один сражался с двумя дикарями. И обратил их в бегство. А мыться боишься! Ну, не упрямясь!— приговаривала она.

Мы с Сашей стали ремонтировать шалаш, в котором появились просветы, словно длинные неровные окна.

— Хорошо еще, что плот наш по бревнышкам не растащили,— ворчал Саша.— Для «тента» своего... Чтобы от солнца прятаться! Кто же это из нормальных людей от солнца прячется?

Мы водворили колючие хвойные и шершавые лиственные ветки на их прежние места, заделали все просветы.

— Сейчас будем плот на воду спускать,— объявил Саша.

Наступила торжественная минута. Мы с трех сторон уцепились за бревна и поволокли плот к реке. Он упирался, цеплялся сучками за камни. Но мы все тащили, тащили — и вдруг плот стал легким, невесомым, он сам потащил нас за собой.

— Ур-ра! Поплыл! Поплыл!— завизжала Липучка.— Ур-ра!— И первая полезла на плот.

Мы с Сашей тоже полезли — и разноцветная, сколоченная из разных бревен «палуба» заходила ходуном.

Мама всегда говорит, что у меня очень богатое воображение... Однажды, когда мы с ней зашли в посудный магазин, я представил себе, что разнокалиберные чайники, стоявшие на полке,— это одна большая семья: самый высокий,

тощий чайник, или, вернее сказать, кофейник, — это сухопарый, подтянутый папа; самый толстый, в красных кружочках, — это расфуфыренная мама, а маленькие разноцветные чайнички — их многочисленные детишки. Помню, мама тогда сказала:

«С твоим воображением можно стать писателем. Но сейчас ты, к сожалению, можешь издать лишь «Полное собрание орфографических ошибок».

Так или иначе, но воображение у меня было очень богатое. И вот, впервые забравшись на плот, я на минуту прищурил глаза и представил себе, что переливчатая, чешуйчато-золотистая под солнцем вода — это вода океана, притихшего и виновато вздыхающего после бури. Наш плот — это все, что осталось от гигантского корабля, потерпевшего кораблекрушение. Зеленый холм — это вулкан, который в любую минуту и без всякого предупреждения может начать извергаться. А навстречу нам плывет неминуемая гибель в виде белого айсберга, с которым мы вот-вот должны столкнуться. Айсбергом мне почудился белый шпиц Берген, который не пожелал остаться без нас на полуострове, отважно пустился вплавь и догнал плот. Правда, шпиц, плывущий по реке, больше напоминал не грозную гору, а чудом уцелевшую в ясный, солнечный день льдинку, покрытую снегом.

Липучка втащила пса на борт нашего «корабля».

— Примем и его в нашу команду, раз людей не хватает, — сказал Саша.

Он забрался в ящик из-под рафинада, то есть на капитанский мостик, и отдал первое распоряжение:

— Ты, Шурка, будешь помощником капитана, боцманом и рулевым. Бери шест и слушай мою команду! Липучка будет доктором и коком. А кто у нас будет просто матросом? Ведь должны быть на корабле рядовые матросы? Ясное дело, должны.

Вдруг Саша вытянул руку и указал на холм, к вершине которого карабкались две смешные фигурки в белых панам, словно два живых гриба: один на толстой ножке, а другой — на тонкой.

— А если нам этого... худенького пирата матросом сделать?

Я не поверил своим ушам:

— Веника? Матросом? Да его мамаша от своей юбки ни на шаг не отпустит!

— Не отпустит? А мы его похитим,— совершенно серьезно сказал Саша.

— Как это — похитим? .

— Придумаю как. Мамаша и не заметит. Понятно?

— Да стоит ли из-за него руки марать? — усомнился я. — Похищать! Что он, восточная красавица, что ли? Без него обойдемся. Разве у тебя нет хороших товарищей?

— Товарищей у меня побольше твоего. Да они все в туристический поход уплыли...

— Уплыли? Вот видишь... И нам бы тоже! Почему ты с ними не уплыл?

Саша хмуро взглянул на меня:

— Не мог. Дело у меня есть.

— Тайна, да?

Саша утвердительно кивнул головой:

— Тайна.

«Будет ли такой счастливый день, когда я узнаю его тайну? — подумал я. — Доверит ли он мне?..»

Потом Саша сложил руки трубочками, приставил эти трубочки, как бинокль, к глазам и скомандовал:

— Полный вперед!

Я погрузил свой длинный шест в воду, достал до дна и что было сил оттолкнулся — наш плот рывком прибавил скорость.

ЧИСТЫЕ ПРОМОКАШКИ

Шли дни, а розовые промокашки в моих новеньких тетрадах оставались незапятнанными. Мне нечего было промокать, потому что я ничего не писал. За это время мама успела прислать еще два письма — одно дедушке и одно мне. Жалея дедушкины глаза, я оба письма прочитал вслух, а потом быстро разорвал их и развеял по ветру.

В каждом письме мама беспокоилась о моем здоровье, она советовала мне побольше дышать свежим воздухом и вовремя принимать пищу. Где-то в конце страницы — казалось, совсем другим, зловещим, не маминым почерком —

было написано: «Но в то же время...» И дальше мама напоминала о моей переэкзаменовке.

Тут я спотыкался и начинал выдумывать. «Но в то же время Саша не должен забывать и о духовной пище: побольше читать разных интересных книжек и главное — почаще ходить в кино!» — так сочинял я, читая письмо, адресованное дедушке. А сочинив про кино, я подумал, что каждый раз, читая мамины письма, смогу придумывать что-нибудь выгодное для себя. И в следующий раз, дойдя до слов «Но в то же время...» я сочинил вот что: «Но в то же время ты, Саша, ни в коем случае не должен расти маменькиным сынком. Купайся в реке сколько тебе будет угодно! И на солнце можешь лежать хоть целый день. Спать ложиться вовремя совсем не обязательно, можно лечь и попозже — ничего тебе не сделается! Да и насчет пищи я тоже передумала: можешь принимать ее в любое время...»

Кажется, я перестарался, потому что дедушка поправил пенсне на носу, будто желая получше разглядеть мое лицо.

— Так-с, — задумчиво произнес он. — Маменькиных сынков мы еще в гимназии били. И сейчас их терпеть не могу. Но вот относительно питания и солнечных ванн Марина, кажется, переборщила. А вообще-то, преотличнейшая вещь — расти на свободе!

Потом мама еще присылала письма. Несколько раз их читал дедушка. Но, к моему счастью, она ничего больше о переэкзаменовке не писала. Решила, что я наконец запомнил ее советы — и занимаюсь вовсю.

Я и в самом деле каждое утро раскладывал на столе свои учебники и тетради, самодельную деревянную чернильницу и самодельную резную ручку дедушкиной работы. Но розовые промокашки так и оставались чистыми, потому что тут же раздавался стук в дверь. Приходили дедушкины пациенты. Одним он просил передать рецепты, другим — устные советы. А так как все больные в городе с детства привыкли лечиться только у дедушки, верили только ему и называли его «профессором», дверь не переставала открываться и закрываться, как в самой настоящей поликлинике.

Приходили даже больные с Хвостика... Хвостиком называли окраину города, которая была за рекой и вытянулась в узкую, длинную ленту из белых домиков. В обход, через

мост, до Хвостика нужно было добираться часа полтора. А по реке, говорили, гораздо быстрее.

Некоторые пациенты просили дедушку зайти вечером к ним домой, «если он, конечно, не очень устанет». Они прекрасно знали, что дедушка все равно зайдет, как бы он ни устал.

Как только раздавались шаги, я поспешно прятал под скатерть все, что могло уличить меня. Ведь каждый раз я ожидал увидеть в дверях Сашу или Липучку, а для них я был «очень культурным, очень образованным и очень грамотным москвичом». Когда же наконец у меня лопалось терпение и я твердо решал оставить скатерть в покое... в дверях действительно появлялись мои новые друзья. Прятать улики было уже поздно, и я попросту сбрасывал их под стол. От этого учебники мои несколько поистрепались и стали какими-то «раздетыми»: выскочили из обложек.

Иногда мне вдруг чудились тяжелые шаги Андрея Никитича. Он ведь обещал «как-нибудь нагрянуть в гости». Но он не приходил. «Наверное, презирает меня! Смеется!» — с досадой думал я, вспоминая про двойку с ехидной закорючкой на конце.

Каждую ночь, ложась в постель, я делал сложные перерасчеты и заново составлял график своих занятий. Получалось, что я должен заниматься каждый день по три с половиной часа, потом по четыре часа, по четыре с половиной... Цифры все росли и росли. Когда наконец дошло до пяти часов, я сказал себе: «Хватит! Этак в конце концов получится, что я должен заниматься двадцать пять часов в сутки! Завтра меня никто не спугнет!»

И снова меня спугнула Липучка. Она всегда очень оригинально входила в комнату: стукнет — и тут же войдет, не дожидаясь, пока я скажу: «Можно» или «Кто там?». Непонятно даже, для чего она стучалась. Я еле-еле успевал сбрасывать под стол учебники и тетради. Так было и на этот раз.

Но на пороге Липучка очень долго переминалась. Ясно было, что она хочет о чем-то спросить меня или попросить.

Липучка была вся какая-то разноцветная: волосы — рыжие, лицо — красное от смущения, сарафан — неопреде-

ленного, выгоревшего цвета, ноги — сверху бронзовые, а внизу серые от пыли, будто присыпанные порошком.

— Ой, не знаю прямо, с чего начать... — выговорила наконец Липучка. — Ты, Шура, должен мне помочь! Заявление одно составить... Очень важное! В горсовет. Понимаешь?

Я покачал головой: дескать, пока ничего не понимаю.

— Ну в общем, дело такое, — стала объяснять она. — От станции до нашего города довольно далеко. Да еще дорога в гору... А автобуса нет. Хоть на себе вещи волоки!.. Надо, чтобы автобус ходил.

— А чего ты об этом беспокоишься? — удивился я.

Липучка стала тыкать в меня пальцем, как в чудо какое-нибудь:

— Вот смешно! Не понимает... Люди ведь с вещами приезжают, а автобуса нет. Ну вот, значит, разные... — Тут она замялась, подыскивая подходящее слово. — Ну в общем, разные несознательные... всем этим пользуются. На государственных телегах возят приезжих, а денежки себе в карман кладут. Да и маме моей приходится каждый день от станции сюда добираться...

Снова я подумал: «Нет, Липучка не только «ойкать» умеет!»

— Надо написать про все это, — решительно продолжала она. — Только я сама не смогу: не умею заявления писать. Ты лучше напишешь! Так, что сразу резолюцию красным карандашом поставят. Знаешь, в левом уголке...

«Да, поставят резолюцию красным карандашом! — подумал я. — Двойку с ехидной закорючкой... До чего же это неприятное дело — быть двоечником! И еще зачем-то, как дурак, пожимал плечами. Рассказал бы честно про двойку, а то вот выкручивайся теперь!»

Но вздыхать было поздно, и я выкрутился.

— Помочь — это можно, — сказал я. — Только у меня очень плохой почерк, ты ничего не разберешь. Я сам иногда не разбираю.

— Ой, это ничего! — успокоила Липучка. — Ты мне продиктуй, ладно? А я запишу.

Это был выход из положения.

— Хорошо, я буду диктовать, а ты пиши, — согласился я.

Ручка и чернила были на столе, словно поджидали Липучку.

Сочинять мне было не впервой: натренировался уже, читая мамины письма. Кроме того, одна наша соседка в Москве очень любила сочинять всякие жалобы и собирать под ними подписи жильцов: то ванна протекает, то кто-то из соседей долго разговаривает по телефону. Прежде чем собирать подписи, соседка читала свои заявления вслух на кухне. Каждую жалобу она начинала словами: «Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том...» И я начал диктовать Липучке:

— «Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том, что между городом и станцией нет автобусного сообщения...»

Потом я вспомнил, что соседка наша обязательно употребляла такие выражения: «используя свое служебное положение», «некоторые личности», «не пора ли». Я продиктовал Липучке:

— «Используя свое служебное положение, некоторые личности перевозят приезжих за деньги на государственных телегах. Не пора ли покончить с этим?..»

И еще мне вспомнилось, что каждую жалобу соседка наша кончала угрозой: если, мол, не примете мер, то буду жаловаться выше. И я продиктовал:

— «Если автобуса не будет, мы напишем жалобу в Москву!..» — А потом посоветовал Липучке: — Теперь собери подписи. Побольше подписей... И все будет в порядке.

— Ой, как коротко получилось! — воскликнула Липучка, разглядывая тетрадный лист, который остался почти чистым.

— Это хорошо, что коротко, — объяснил я. — Длинное заявление могут не дочитать до конца. Понимаешь?

— Понимаю. Ой, ты очень здорово продиктовал!

Она аккуратно свернула лист в трубочку, а я скромно развел руками: дескать, что уж тут особенного — написать заявление это для меня раз плюнуть!

Липучка хотела сразу бежать в горсовет, но я остановил ее:

— А подписи?

— Ой, их собирать очень долго!

Мне в голову сразу пришла идея.

— Не надо собирать. Напиши внизу так: «Белогорские пионеры, всего три тысячи подписей».

— Что ты, что ты! Три тысячи! У нас и с грудными младенцами столько ребят не наберется.

— Тогда напиши: «Всего двести подписей». И дело с концом.

— Ой, разве можно? Ведь это неправда!

— Для хорошего дела всегда соврать можно, — успокоил я Липучку.

Она снова уселась за стол. Но тут мы услышали, что кто-то лезет в окно.

ПОХИЩЕНИЕ

Саша поудобнее устроился, укрепил свои локти на подоконнике и обвел нас презрительным взглядом, как бы говоря: «Ерундой всякой занимаетесь, а я между тем...»

— Ой, что-нибудь случилось? — вскрикнула Липучка.

— Случилось, — преспокойно ответил Саша. — Приготовьтесь — сейчас комнату подметать буду.

Подметать комнату? Рехнулся он, что ли? Мы с Липучкой растерянно переглянулись.

— Чего глаза таращите? — Саша подтянулся на руках, вскарабкался на подоконник и спрыгнул на пол. — Веник со мной. Понятно?

— Ой, похитил? — Липучка, как всегда в минуты восторга, хлопнула в ладоши, так что даже помяла свое заявление. И, прижав руки к груди, затаила дыхание.

Саша обшарил глазами стены.

— У тебя йод есть? — спросил он у меня. — Что-то я аптечки не вижу...

— Не знаю. Есть, наверное... А зачем тебе йод?

— Ой, ты небось поранил его, когда у мамыши отбивал, да? — догадалась Липучка. — Лассо накинул, да?

— Что я, бандит какой-нибудь? Это я с пиратами хотел сражаться, а он вовсе не пират... Очень даже симпатичный парень, только застенчивый, как девчонка. Людей боится... Но мы это дело из него выбьем.

— Ой, мы его бить будем? — испугалась Липучка.

— Чудачка ты! Я же в переносном смысле. Ну, перевоспитаем, значит. Понятно?

— Понятно.

— А как же ты похитил? Ведь его мамаша от себя ни на шаг не отпускает,— спросил я.

— Узнаешь! Давай сюда йод.

Дедушка был доктором, но сам лекарств не любил. Я заметил, что, когда к нему приходили больные, он сразу лез в корзинку, стоявшую за диваном.

«Терпеть не могу, когда лекарства на видных местах выставляют,— говорил он.— Украшеньице так себе...»

Я полез в дедушкину корзину, нашел там пузырек с йодной настойкой и передал его Саше.

— А теперь позови Веника,— распорядился Саша.

— Позвать?.. А где он?

— Возле крыльца мнется. Стесняется. Ты ведь с ним в вагоне, кажется, в дипломатических отношениях не состоял.

— Да... Я там с Андреем Никитичем дружил. С подполковником артиллерии!— гордо сказал я. А потом, вспомнив, чем кончилась наша дружба, тихонько вздохнул.— Веник там, в вагоне, все время книжки читал.

— Ой, книжки читал!— восхитилась Липучка.— Он тоже небось, как и ты, до ужаса грамотный, да?

Что касается Веника, то я не мог дать никаких определенных сведений, а сам я был грамотный действительно «до ужаса». И поэтому еще раз вздохнул. Липучка помчалась приглашать Веника... Он робко вошел в комнату и остановился на пороге. Был он в белой панаме и с книгой под мышкой.

— Идет по городу — книгу читает,— сообщил Саша.— Ты и в Москве тоже с раскрытой книгой улицы переходишь?

— Что вы! В Москве я только в метро и в троллейбусе читаю.

— На «вы» меня, пожалуйста, не называй. Понятно? Ишь какой интеллигентный! Задирай-ка рубаху!

Веник испуганно огляделся, точно просил у нас с Липучкой защиты.

— Ага, понимаю. Стесняешься?— сказал Саша.— Ты, Липучка, отвернись.

Веник покорно задрал рубаху и обнажил свое худенькое и бледное тело.

— Тебе бы Снегурочку в театре изображать,— сказал Саша.— Куда тебя доктора от бешенства колют? Покажи.

Веник испуганно схватился за живот.

— А вы что? Намерены... тоже колоть меня?

— Что я, сумасшедший, что ли? Как твоя мамаша?

Веник вдруг решительно одернул рубаху, и его бледное личико гневно порозовело, чего я уж никак не ожидал.

— Вы, пожалуйста, мою маму не задевайте!— гордо произнес он.

Саша так и застыл с пузырьком в одной руке и с пробкой в другой.

— Ишь ты! «Не задевайте»!— удивленно и вместе с тем уважительно сказал он. И, вроде бы извиняясь, добавил:— А чего же она нашего старого Бергена задевает? Бешеным его считает! Это же оскорбление, если хочешь знать. Да уж ладно. Задирай рубаху!

Веник покорно задрал ее, и Саша стал мазать ему живот йодной пробкой.

— Тебя так после уколов мажут?— спросил он, разглядывая довольно большой коричневый островок, возникший на белой впадине, именуемой животом Веника.

— Та-ак...— протянул Веник.— Только вы уж очень густо... И много... И к чему вообще?..

— Во-первых, не «вы», а «ты»!— сердито сказал Саша.— А во-вторых, совсем не густо: маслом кашу не испортишь! Теперь, когда придешь домой, задери рубашку и покажи своей маме. Понятно? И так каждый день будем делать. А ты, вместо того чтобы в поликлинике в очереди торчать, будешь с нами на плоту плавать.

И тут только я все понял! Теперь, значит, в нашей корабельной команде будет хоть один рядовой матрос. Молодец Саша, ловко придумал!

Я СТАНОВЛЮСЬ ПОЭТОМ

И снова — в который раз! — меня спугнула Липучка. Как только я с тяжелым сердцем (мне нужно было заниматься уже по восемь часов в сутки!) уселся за

стол, она, даже для виду не постучавшись, влетела в комнату.

Я натренированным броском спихнул тетради и учебники под стол, а Липучка, размахивая газетой, не заговорила, а прямо-таки закричала:

— Ой, теперь я все знаю! Теперь я все знаю, Шура!

— Все знаешь? Про меня?..— Я испуганно попятился к окну.

— Да, все знаю! Здесь все написано!— Липучка перешла на таинственный полусшепот. Она выставила вперед номер «Пионерской правды», словно собираясь выстрелить из него мне в самое сердце.— Здесь все написано! А ты скрывал... И как тебе не стыдно, Шура! Как тебе не стыдно!

«Что там написано?— с ужасом подумал я.— Может быть, поместили заметку про мою двойку? Вполне возможная вещь! Ведь высмеивают там таких вот, вроде меня, безграмотных двоечников. Теперь все погибло: Саша будет презирать меня. И Липучка тоже. И даже Веник. И дедушка все узнает. И тетя Кланы... Какой позор! И почему я сразу все по-честному не рассказал? Отличник! Образованный москвич! Выпрыгнуть, что ли, в окно и навсегда избавиться от позора?» Но в окно выпрыгивать было бесполезно: дедушка жил на первом этаже.

А Липучка все наступала:

— Зачем же ты скрывал от нас? Зачем?

— Я все расскажу вам. Честное слово, все расскажу,— забормотал я.— Мне просто было стыдно, очень стыдно...

— Стыдно?— Липучка вытаращила зеленые глаза.— Разве этого можно стыдиться? Этим надо гордиться!

«Уж не укусила ли ее настоящая бешеная собака? — подумал я.— Или она просто издевается надо мной?»

— Да, этим надо гордиться!— торжественно повторила Липучка.— Я выучила их наизусть!

И она вдруг стала читать стихи:

Как серебро, вода сверкает.

Мы поработали —

и вот

Поплыл, торжественно качаясь,

Поплыл наш самодельный плот!

Пусть не в просторе океанском —
По руслу узкому реки,
Но есть и мостик капитанский
И есть герои-моряки!

Пусть поскорей промчатся годы,
Мы закалимся, подрастем —
Тогда красавцы пароходы
По океанам поведем!

Липучка прочитала стихи с таким вдохновением, что я даже заслушался, прижавшись к подоконнику. Потом она взглянула на меня глазами, которые были полны, как говорится, неопишуемого восторга.

— И этого ты стыдился? Этим нужно гордиться! — повторила она. — Поздравляю тебя! Поздравляю тебя, Шура. Ты — настоящий поэт!

— Я?.. Поэт?..

— Ой, не притворяйся, пожалуйста! Хватит уж скромничать, хватит! Тут же русским языком написано: «Саша Петров, Москва».

Я схватил газету — и правда, под стихотворением стояла подпись: «Саша Петров». Бывают же такие совпадения!

— Я уже всем газету показала, всем! — затараторила Липучка. — Ой, какой же ты молодец! Наш плот прославил... Прямо на всю страну! Только почему ты написал «Москва»? Написал бы лучше «Белогорск». Ведь ты здесь сочинял? И даже прикрасил кое-что! Но это ничего — поэты всегда так делают. А кто это «герои-моряки»? Веник, да?.. — Липучка затрясла плечами, схватилась за живот. — Ой, а я ведь сразу заметила, что ты в рифму говорить умеешь! Еще в самый первый день. Помнишь? А потом я заметила, что ты по утрам так задумчиво-задумчиво сидел за столом. А только я входила — и ты сразу сбрасывал тетрадь под стол. Думаешь, я не заметила? Ты по утрам стихи сочинял? Да?.. Вот и сейчас даже тетрадка под столом валяется. В ней новые стихи, да?

Липучка, пригнувшись, бросилась к столу и схватила тетрадку. Я кинулся за ней: ведь там, в тетрадке, были советы нашей учительницы русского языка, как лучше мне подготовиться к переэкзаменовке.

Я вырвал тетрадку:

— Это не стихи... Это... совсем другое...

— Ой, как же не стихи? Опять обманываешь, да?

— То есть там стихи... Но я еще не могу их показать. Я еще...

— Ой, покажи! Покажи... Прямо любопытно до ужаса!

— Нет-нет,— сказал я, поспешно пряча тетрадь под скатерть.— Сейчас нельзя... Я еще не обработал как следует. Вот обработаю — и тогда обязательно прочитаю...

Через секунду она пришла в восторг от нового открытия:

— Ой, Шура, а у тебя ведь и имя такое поэтическое — Александр! Как у Пушкина.

Не знаю, с кем бы еще на радостях сравнила меня Липучка, но тут, к счастью, появился Саша.

САШИНА ТАЙНА

Он был очень серьезен. И, как всегда в такие минуты, руки заложил за спину, глядел исподлобья и нетерпеливо покусывал нижнюю губу. А говорил коротко, отрывисто, вроде бы приказания отдавал:

— Ну-ка, выйди, Липучка. Прогуляйся!

Липучка независимо устремила в потолок свои глаза и нос, усыпанный веснушками:

— А чего ты распоряжаешься в чужой комнате?.. Шура, мне можно остаться?

Я взглянул на Сашу, потом на Липучку, потом на пол и неопределенно пожал плечами.

— Секреты, да? — насмешливо спросила Липучка.— Говорите, что девчонки секретничают. А сами?

Мы с Сашей молчали.

— Значит, мне уходить, да?

— Вот-вот, прогуляйся,— с беспощадной твердостью произнес Саша.

— Прогуляться? Хорошо, ладно. Я ухожу... Мужчины, называется! Кавалеры! Рыцари! Веник бы никогда так не поступил. Потому что он действительно образованный... И очень интеллигентный. Настоящий москвич!

Это уж был выстрел в мою сторону. Боясь, что промахну-

лась или слишком легко ранила меня, Липучка взглянула в упор своими зелеными глазами:

— А еще поэт! Пушкин!

Она так хлопнула дверью, что легкая деревянная чернильница на столе подпрыгнула и на скатерти появилось маленькое фиолетовое пятнышко — уже не первое со времени моего приезда в Белогорск.

— Зачем ты ее так? — спросил я Сашу.

— Дело потому что... важное!

Так как Саша был капитаном нашего корабля, я спросил:

— Задание какое-нибудь? Приказ?

— Нет. Просьба.

— Просьба? Ко мне?

— Да, к тебе. И не перебивай. Тайну мою узнать хочешь?

Я, кажется, второй раз в жизни почувствовал, что у меня, где-то под левым кармашком, есть сердце и что оно довольно-таки сильно колотится (первый раз я почувствовал это, когда учительница объявляла фамилии двоечников, получивших переэкзаменовку). И еще я понял — как это верно говорят: «Он вырос от гордости!» Мне и правда показалось, что я стал чуть-чуть выше ростом. Значит, Саша теперь доверяет мне, как самому себе! Доверяет свою тайну, такую важную, что он из-за нее даже не пошел в туристический поход... Такую важную, что она привязывает его и наш плот вместе с ним к Белогорску! И он еще спрашивает, хочу ли я узнать ее?

— В общем, дело ясное, — сказал Саша. — У меня — переэкзаменовка. Понятно?

Я как-то машинально присел на стул:

— У тебя?.. Переэкзаменовка?..

— Ага. Пишу я плохо. С ошибками. Понимаешь? Вот и схватил двойку. Поможешь, а?

— Кто? Я? Тебе?!

— Да, ты — мне. Ясное дело, не я тебе. Ведь ты же образованный, культурный. Поэт! Липучка сегодня уши всем прожужжала. Как она мне «Пионерку» показала, так я сразу решил: попрошу Шурку! И вот... Согласен?

Я даже не мог неопределенно пожать плечами — так и сидел раскрыв рот, словно рыба. И молчал тоже как рыба. Мой вид не понравился Саше.

— Смотри, в обморок не кувырнись. Побледнел, как Веник. Не хочешь помогать — так и скажи. Без тебя обойдусь.

Тут наконец у меня прорезался голос. Правда, чей-то чужой — слабенький, неуверенный, — но все же прорезался:

— Да что ты, Саша! Я с удовольствием... Только у меня нет... этого... как его... педагогического опыта...

— И не надо. Ты просто будешь мне диктанты устраивать и проверять ошибки. Понятно?

— Понятно...

Я буду проверять ошибки! И почему я честно, как вот Саша сейчас, не рассказал о своей несчастной двойке? Вернее, несчастная была не двойка, а я сам. Зачем я, как дурак, пожимал плечами? Эти мысли уже не первый раз приходили мне в голову. Но раскаиваться было поздно. И нужно было не выдать своего волнения.

— И это вся тайна? — с наигранным спокойствием спросил я.

— Вся.

— А я-то думал!..

— Мало что ты думал.

Да, я действительно думал мало, иначе не попал бы в такое глупое положение.

— И ты из-за такой ерунды не пошел в туристический поход? И наш корабль к городу привязал? — неестественным голосом удивлялся я.

— Это не ерунда. Я должен сдать экзамен, — очень решительно сказал Саша. — Понятно? Лопну, а сдам! Осенью отец с матерью из геологической разведки приедут — я им обещал.

— А-а! Они, значит, осенью приедут? А у тебя, значит, переэкзаменовка?

От растерянности я, кажется, говорил не совсем складно.

— И еще я Нине Петровне обещал. Учительнице нашей. Она не хотела в деревню уезжать из-за меня. А я уговорил: сам, сказал, подготавлиюсь. Понятно?

— Не совсем. Она тебе двойку вкатила, все лето тебе испортила, а ты о ней заботишься?

— Сам я все испортил!.. В общем, согласен помочь или нет?

Я смотрел на Сашу с таким удивлением, будто он с другой планеты свалился. Защищает учительницу, которая ему двойку поставила! И от похода отказался. Станный он парень! Так мне казалось тогда.

Не дождавшись ответа, Саша твердыми, злыми шагами направился к двери. Что было делать? Не думая о том, как все повернется дальше, я догнал Сашу:

— Буду помогать тебе! Конечно, буду! Это же очень легко... и просто. Будем заниматься прямо с утра до вечера. Хочешь?

— Не хочу, а придется, — ответил Саша.

Я СТАНОВЛЮСЬ УЧИТЕЛЕМ

Весь следующий день я с утра до вечера овладевал своей новой профессией — готовился преподавать. И только тогда я понял, как это трудно — быть учителем. Правда, настоящим учителям все-таки гораздо легче, чем было мне: они ведь хорошо знают то, чему обучают других. Я же собирался учить Сашу грамматике, а сам разбирался в ней не лучше, чем наш Паразит в правилах уличного движения.

Теперь уж мне не надо было сбрасывать учебники и тетради под стол. Я мог заниматься совершенно открыто: ведь я старался не для себя, а для другого, то есть совершал благородное дело.

Дедушка, оказывается, знал о Сашиной переэкзаменовке.

— Молодец! — похвалил он меня. — Видишь, как это приятно — хорошо учиться: всегда можешь помочь товарищу.

«Сперва приналягу на правила, — решил я. — Все-таки выдолбить и пересказать правила не так уж трудно. Начну с безударных гласных, чтобы и самому тоже польза была...»

К полудню все правила о правописании безударных гласных были выучены назубок. А как быть с диктантами? Диктовать я, конечно, смогу: слава богу, читать еще не разучился. Но как же я буду проверять то, что написано Сашей, если сам ничего не знаю. Может быть, каждую фразу сверять с книжкой? Нет, неудобно. Саша сразу догадается, какой я грамотей. Что же делать?

В конце концов я придумал: вызубрю наизусть какой-нибудь кусочек из Гоголя. Совсем наизусть! Запомню, как пишется каждое слово и где какой знак стоит.

Я нашел свое любимое местечко из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и стал зубрить, начиная со знаменитых слов Ивана Никифоровича: «Поцелуйтесь со своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!»

«— О! вас зацепи только! — зубрил я дальше. — Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть и самому окуриться.

— Позвольте, Иван Иванович: ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как *дурень с писаною торбою*, — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак*...» — и так далее.

Всегда я прямо до слез хохотал, читая все это. А сейчас я радовался только тому, что в отрывке было много безударных гласных. «Здóрово писал Гоголь! — думал я. — Сколько безударных наставил! Прямо в каждой фразе. Вот уж попыхтит завтра Сашенька!»

Я еще повторил отрывок вслух раза три, потом раза три переписал его, потом начал декламировать. В общем, к вечеру мне казалось, что Гоголь писал вовсе не так уж весело и что скучнее повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче ничего на свете не существует.

Лежа в постели, я еще раз повторил отрывок про себя. А потом припомнил всякие мудрые выражения, которые часто употребляли наши учителя. Такие вот, например: «Учись мыслить самостоятельно!», «Если хочешь что-нибудь сказать — подними руку», «Не будем тратить время — его ведь не вернешь», «Не смотри в потолок, там ничего не написано!» и т. д. и т. п. А ночью мне приснилось, что невоздержанный на язык Иван Никифорович обозвал Ивана Ивановича «безударной гласной» и что с этого именно началась знаменитая ссора.

Утром, как только умолкла дедушкина палка, начался первый урок. Саша вошел в комнату, держа в руках толстую тетрадь в красной клеенчатой обложке. «Неужели всю ее исписать собирается?» — с ужасом подумал я. В глазах у Саши было что-то новое, незнакомое мне до тех пор: что-то уважительное и немного застенчивое. И это у него! У капитана Саши!.. Ну да, ведь я теперь был для него не просто Шуркой, а учителем. Как пишут в газетах, «наставником и старшим другом».

Все эти мысли настроили меня на строгий тон.

— Не будем терять время — его ведь не вернешь, — сказал я.

Саша покорно уселся за стол, развернул тетрадку и посмотрел на меня, ожидая новых распоряжений.

— Начнем с безударных гласных, — объявил я и зашагал по комнате, мысленно воображая, что шагаю между рядами парт. — Гласные произносятся четко и ясно лишь тогда, когда они находятся под ударением, — объяснял я. — В безударном положении они звучат ослабленно, неотчетливо. Чтобы правильно написать безударную гласную в корне, нужно изменить слово или подобрать другое слово того же корня так, чтобы эта гласная оказалась под ударением...

— Вот, например: вода — во́ды, тяжелый — тяжесть, поседеть — седе́нький... — насмешливым тоном продолжил мои объяснения Саша. — Так, да? Прямо по учебнику шпарить?

Нет, он не так уж робел передо мною! В первый момент я, войдя в роль педагога, чуть было не сказал: «Хочешь что-нибудь спросить — подними руку!» Но вовремя удержался: пожалуй, Саша поднял бы руку и щелкнул меня по затылку, чтобы сразу сбить с меня всю педагогическую важность.

— Значит, нужно слово изменить? — всё так же насмешливо спросил Саша. — Вот измени, пожалуйста, слово «инженер». А? Измени.

Я стал лихорадочно соображать, но слово «инженер» никак не изменялось.

— Это исключение, — сказал я. — Нужно просто запомнить это слово — и всё.

— А тогда измени слово «директор», чтобы безударная стала ударной.

Я снова и так и сяк повертел в уме слово, предложенное Сашей. Ничего не получалось.

— Это тоже исключение, — объяснил я. — И не перебивай, пожалуйста!

— А ты не забивай мне голову всякими правилами! Я их без тебя знаю, а пишу все равно с ошибками. Ведь на каждое правило две тысячи исключений. Давай лучше диктанты писать.

Что было делать?

— Хорошо, возьмем первый попавшийся отрывок из Гоголя, — согласился я и раскрыл «первую попавшуюся» страницу, заложённую промокашкой — уже не чистой, а с пунктирными следами букв и расплывчатыми очертаниями клякс.

Я стал с выражением диктовать:

«— Поцелуйтесь со своею свиньёю...»

— Сам ты поцелуйся со свиньёю, если так диктовать собираешься! — разозлился вдруг Саша.

— Так с учителями не разговаривают! — в свою очередь, вспылil я.

— А что же ты каждую безударную, как ударную произносишь? Прямо нажимаешь на нее изо всех сил. Сам говорил, что безударные звучат ослабленно, неотчетливо... Мне твои подсказки не нужны!

Я и в самом деле произносил каждое слово чуть ли не по складам и очень ясно выговаривал безударные гласные.

Ведь мне всегда хотелось, чтобы именно так диктовали учителя.

— Ты по-человечески диктуй, — уже без всякой робости сказал Саша. Казалось, он вот-вот скажет: «А то как щелкну!»

Тогда я стал диктовать очень быстро. Сашина ручка вновь остановилась.

— Не валяй дурака, — предупредил он. — Хочешь, чтобы я вообще ни одной буквы не разобрал? Так, что ли? Ты только одни безударные от меня прячь. Понятно?

Да, настоящим учителям и не снились, наверное, такие ученики!

Я диктовал, почти не заглядывая в книжку: весь отрывок был вызубрен наизусть.

Саша удивился:

— Ты всего Гоголя, что ли, наизусть знаешь?

— Ну, не всего, конечно, — скромно ответил я. — Но довольно значительную часть его произведений...

Сам того не замечая, я стал изъясняться как-то по-взрослому: ведь я все-таки был педагогом!

— Валяй дальше! — распорядился Саша.

Но вот я добрался до конца и сказал:

— Хватит! Давай проверим! — А сам подумал: «Сейчас начнет спорить. Скажет: диктуй дальше. А я дальше не выучил».

Но Саша покорно протянул мне тетрадь. Проверял я очень медленно, про себя повторяя текст и по буквам вспоминая, как написано каждое слово в книжке. Проверив слово, я машинально подчеркивал его, как это делала телеграфистка, когда подсчитывала стоимость телеграммы.

Заметив, что я все время подчеркиваю, Саша заволновался:

— Неужели столько ошибок?

— Да нет... Я просто так, для себя.

На самом деле ошибок было всего пять. Я позавидовал Саше: ведь вчера, впервые переписывая этот отрывок на память, я сделал гораздо больше ошибок.

«Саша пишет в два раза лучше меня — и все-таки у него двойка, — подумал я. — Значит, если я буду делать ошибок вдвое меньше, чем сейчас, я все равно не сдам переэкзаменовку...» От этих мыслей лицо у меня стало такое печальное, что Саша даже насторожился:

— Очень плохо, да?

— Да нет, вполне сносно, — ответил я. Взял ручку и вывел под Сашиным диктантом четкую, с острыми углами четверку, похожую на недописанную букву «Н».

— Уж очень ты добренький, — усмехнулся Саша. Он ведь не знал, что это была моя давнишняя мечта, чтобы за пять ошибок ставили четверку.

Я вздохнул так облегченно, как вздыхал в классе, услышав спасительный звонок, избавлявший меня от вызова к доске. «Слава богу, первый урок кончился!» — подумал я.

Но не тут-то было! Саша вдруг стал выпытывать у меня, почему трудные слова пишутся не так, как произносятся. Начал он со слова «поцелуйтесь».

В школе учительница часто говорила мне: «Петров, ты

совсем не умеешь анализировать слова». Но умел я или не умел, а тут уж надо было анализировать. Сперва я старался изменить слово так, чтобы на первый слог «по» падало ударение. «Поцелуй, поцеловаться...» — шептал я про себя. Но ударение никак на «по» не попадало. Тогда я подумал: «А что вообще такое это самое «по»? И вдруг меня осенило: так это же приставка! Ну да, самая настоящая приставка. А ведь приставки «па» вообще не существует на свете. Это только в танцах бывают разные па, а приставок таких не бывает. Значит, все очень просто. Я объяснил это Саше.

— Ага... Интересно,— сказал он. И что-то записал в тетрадку, словно отметку мне выставил.— А скажи-ка, пожалуйста, почему пишется «свинья», а не «свенья»? Не знаешь?

— Так ученики вопросов не задают! — возмутился я.— Похоже, что я из детского сада только что пришел, а ты уже какой-нибудь десятиклассник и экзамен мне устраиваешь.

Но, сказав про детский сад, я сразу вспомнил стихи Маяковского, которые мы там учили наизусть: «Вырастет из сына свин, если сын свиненок...» Эти стихи я тут же прочитал Саше.

— Раз «свин» — значит, «свинья», — объяснил я.

— Ага,— снова сказал он и снова записал что-то в тетрадку. В общем, не зря я накануне зубрил правила. И вовсе не из одних только «исключений» русский язык состоит. Напрасно Саша о нем такого мнения!

С тех пор мне очень понравилось «анализировать» слова.

Как только услышу какое-нибудь трудное слово, так сразу начинаю разбирать его. И очень часто оно оказывается вовсе не таким уж трудным.

Но и на разборе слов тот первый урок не окончился. Ведь в нашем «классе», к сожалению, распоряжался не учитель, а ученик.

— Давай-ка теперь я подиктую,— сказал Саша и поднялся со стула, уступая мне место.

Но я садиться на это место вовсе не хотел.

— Ты? Мне?! Будешь диктовать?!

— Ага. Я! Тебе... Буду диктовать! — передразнивая меня, ответил Саша.

— Зачем же терять время? Его ведь не вернешь!

Но мои «педагогические» фразы на Сашу не действовали.

— Диктовать тоже очень полезно, — объяснил он. — Это мне сама Нина Петровна советовала. Она-то уж лучше тебя понимает. «Когда, говорит, диктуешь, очень внимательно вглядываешься в каждое слово». Понятно?

Спорить с Ниной Петровной было опасно. И я, как утопающий за соломинку, схватился за отрывок из Гоголя. Ведь я знал его наизусть.

— Хорошо, успокойся. Никто с твоей учительницей не спорит. Диктуй мне, пожалуйста, первый попавшийся отрывок. — Я взял томик Гоголя. — Вот, например, со слов: «Поцелуйтесь со своею свиньею...»

— Что это тебе все время одно и то же место случайно попадает? — удивился Саша.

«Сейчас обо всем догадается!» — испугался я — и с самым независимым видом произнес:

— Диктуй откуда хочешь. Хоть из «Носа»! Хоть из «Записок сумасшедшего»!

— Да, одно и то же по два раза читать неинтересно, — сказал Саша. — Я что-нибудь другое найду.

Он стал перелистывать страницы, а я от предчувствия своего полного краха, кажется, побледнел, присел на стул и дрожащими пальцами взялся за ручку.

Саша между тем рассуждал:

— У нас вот теперь сборники какие-то однообразные выходят. Если веселый — то хохочи все время, пока живот не заболит. А уж если мрачный, так тоже до самого конца... Посесть можно! А у Гоголя, смотри, как все разнообразно. Вот Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ругаются... Смешно, да? А рядом, на сто девяносто первой странице, «Вий». Мороз по коже продирает! Прочтешь сборник — и посмеешься, и поплачешь... Так гораздо интереснее получается. Вот я тебе сейчас из «Вия» подиктую. Самое страшное место!

«Пусть диктует, — подумал я. — Скажу потом, что со страху ошибки насажал. Ничего, мол, не мог сообразить от ужаса. Затмение мозгов произошло. Сила художественной литературы!..»

— Значит, описание Вия, — сказал Саша. — Понятно? Пиши. Только я медленно буду диктовать, чтобы в каждое слово вглядываться... «Весь был он в черной земле... Как

жилистые крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки...»

— Ой, неужели так прямо и написано: «весь был в земле»?! — воскликнул я.

— Прямо так и написано. Не веришь, посмотри!

Это мне только и нужно было. Я, словно бы не доверяя Саше, схватил книжку и прочитал все, что там было насчет земли. Ну конечно, уж заодно и безударные гласные разглядел.

— Да, действительно так... Скажи пожалуйста, какой ужас!

Я уселся на место и тут же записал прочитанные фразы.

— «Длинные веки опущены были до самой земли», — читал дальше Саша.

— Ой, неужели прямо до самой земли? — снова поразился я. — Так и написано?

Я снова вскочил со стула и заглянул в книжку.

— «С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное...» — медленно, будто заучивая наизусть каждое слово, диктовал Саша.

— Ой, неужели такой страшный? Лицо железное?!

Я вскочил в третий раз и, трясаясь от ужаса, выхватил у Саши синий томик. А сам с надеждой подумал: «Так я, пожалуй, весь диктант без единой ошибочки напишу!»

Но не тут-то было. Саше мои вскакивания со стула надоели.

— Что ты все время ойкаешь, как Липучка? — сердито спросил он. — А еще говорил, что всего Гоголя наизусть знаешь!

— Конечно, знаю... — залепетал я. — Но классика, понимаешь, так прекрасна, что каждый раз кажется, будто читаешь впервые.

Саша поморщился: он не любил громких фраз.

— Ладно... Сиди смирно — и всё. Если еще раз вскочишь, как щелкнѹ по затылку! Понятно?

Понять это было нетрудно. Я продолжал писать диктант.

— Во как Гоголь умел страх нагонять! — не удержался Саша. — У тебя прямо руки трясутся от ужаса.

Если бы он знал, отчего у меня тряслись руки!

Кончив читать про страшного Вия, Саша сказал:

— Ну, вот и всё!

«Да, вот и все! Крышка!» — подумал я и протянул Саше свои каракули. Но он отмахнулся от моей тетради, схватил жестяную кружку и стал постукивать по ней чайной ложечкой, точно так же, как это делал я, когда раньше, давным-давно, играл с бабушкой «в трамвай».

— Звонок! Звонок! Урок окончен! — провозгласил Саша. — Проверять я тебя не буду. Зачем?

— Конечно... не надо... — запинаясь от радости, сказал я. «Спасен! Спасен...» И добавил: — У меня еще и почерк жуткий... Я ведь внук доктора! Понимаешь? Ничего разобрать нельзя!

— Ясное дело, смешно будет, если я вдруг стану тебя проверять, — сказал Саша.

— Факт, смешно, — согласился я.

На самом деле это было не смешно, а очень грустно. Я поскорей спрятал свой диктант в ящик дедушкиного стола. «Потом сам проверю», — решил я. И еще я подумал о том, что теперь мне нужно будет каждый день вызубривать наизусть не один, а целых два диктанта.

«НЕИСТРЕБИМЫЙ»

Итак, мы стали заниматься. Занимались мы в любую погоду и даже в такие дни, когда с утра, как бы испытывая нашу волю, всюю слепило солнце. В небольшой комнатке было душно, и прямо до смерти хотелось искупаться. Мою волю солнце, конечно, растопило бы в два счета, но, к счастью, рядом был Саша. А он даже выглядывать в окно не разрешал, чтобы не соблазняться видом Белогорки.

Как-то однажды, не вытерпев, я предложил заниматься по вечерам, после пяти часов. Но Саша обозвал меня «тряпкой» и сказал, что в древней Спарте таких, как я, сбрасывали с обрыва в реку. (Я бы, честно говоря, не отказался, чтобы меня в ту минуту сбросили с холма в Белогорку.) И еще он сказал, что заниматься нужно только по утрам, потому что утром голова свежая. Спорить со своим учеником я не решился.

Все кругом хвалили меня, говорили, что я «настоящий пионер», потому что жертвую своим отдыхом ради товарища. «Ой, ты прямо до ужаса благородный! Настоящий ры-

царь!» — говорила Липучка, по доброте душевной забыв, как мы с Сашей совсем не по-рыцарски выставили ее из комнаты. И даже тетя Кланя однажды вынесла мне благодарность.

Вообще-то я избегал встречаться с тетей Кланей, потому что она как, бывало, увидит меня, так сразу начинает сравнивать с Маришкой, то есть с моей собственной мамой. «Да, — говорила она, — Маришка-то поздоровее была...», «Да, Маришка-то как угорелая по улицам не носилась!»

Я, конечно, понимал, что не стою маминого мизинца, что все прекрасные мамины качества, к сожалению, не перешли ко мне по наследству... Но вот я дождался похвалы и от тети Клани.

— Да, — сказала она, — Маришка тоже всегда хорошо училась. В этом ты похож на нее... («Как раз меньше всего», — мысленно, про себя, закончил я фразу тети Клани.) Если вытянешь моего Сашку, спасибо тебе скажу. И Саша скажет.

«Кто кому должен будет сказать спасибо, это еще большой вопрос», — подумал я. Кстати, Саша был единственный, кто ни слова не говорил о моем благородстве и продолжал командовать мною так, словно учителем был не я, а он.

Занимались мы всегда часов до пяти. В это время как раз приходил Веник. Саша мазал ему живот йодом — и мы все вместе бежали к своему плоту на Белогорку. Там нас уже поджидали Липучка и старый, вечно сонный шпиц Берген.

Впрочем, наш плот был уже не плотом и не океанским пароходом, а спасательным судном и носил очень оригинальное имя — «Хузав». Название это придумал Саша; в расшифрованном виде оно обозначало: «Хватай утопающего за волосы». Мы все назывались теперь «хузавами». Слово это звучало довольно-таки необычно и было похоже на название древних ископаемых животных — всяких там ихтиозавров и бронтозавров.

Саша еще в самый первый день нашего знакомства сказал, что на плоту необязательно плыть куда-нибудь далеко, за тридевять земель, что плот может приносить пользу и здесь, в Белогорске. И вот, поскольку Белогорка была коварной рекой, мы решили на своем плоту спасти утопающих.

Но утопать, к сожалению, никто не собирался. «Дикари», напуганные рассказами о воронках, ямах и холодных течениях, купались очень осторожно. Они, как правило, заходили в воду по пояс и начинали, тонко повизгивая, плескаться, словно сидели в корыте или в ванне.

Если же кто-нибудь все-таки доплывал до середины реки, мы тут же устремлялись на помощь. Саша с капитанского мостика приказывал мне приступать к спасательным работам. Я спускал на воду длинный шест. Но «утопающие» вместо благодарности кричали, чтобы мы перестали хулиганить и швырять в них грязными палками.

Только один раз нам пришлось спасти по-настоящему. И то члена своего собственного экипажа — рядового матроса Веника.

Веник вздумал, расхаживая на плоту, читать журнал. Он сделал пять шагов по палубе и... шагнул прямо в реку. Мы даже испугаться не успели, как увидели в реке сразу три плавающих предмета: голову Веника, белую, распластавшуюся, как блин, панаму и журнал... Была бы тут Ангелина Семеновна!

Я слышал, что если человека, не умеющего плавать, завезти в самое глубокое место и спихнуть в воду, он, спасая свою жизнь, обязательно поплывет. Мы были на самой середине реки, вода здесь была темная, почти черная (это указывало на большую глубину), но Веник почему-то не поплыл. Он молча цеплялся за бревна. Наш «Хузав» наклонился, котелок, в котором главный кок Липучка варила картошку, тоже полетел в воду и сразу пошел измерять глубину.

Саша прыгнул со своего капитанского мостика.

— Котелок утонул, — зачем-то сказал я. Наверное, от растерянности.

— Жаль, что твой собственный котелок на месте остался! Не мог удержать Веника! Ведь рядом стоял...

И, пригнувшись, сложив руки над головой, Саша прямо в майке и тапочках бросился в воду. Он обхватил Веника и без всякого напряжения стал выталкивать его из воды на плот. Веник вообще был очень легкий, а в воде-то, уж наверное, совсем ничего не весил. И все-таки он не сразу вскарабкался на плот.

— «Вокруг света»! «Вокруг света»! — умоляюще вскрикивал Веник, не желая спасаться, пока не спасут его журнал.

— Ничего, пусть поплавает вокруг света. Лезь на палубу! — скомандовал Саша, не выпуская Веника, бережно обхватив его руками, словно какую-нибудь драгоценную статую или вазу.

Я шестом подогнал «Вокруг света» к плоту и вытащил намокшие, слипшиеся в тяжелую массу листы.

— Очень благодарен тебе, Шура, — произнес Веник и, подталкиваемый сзади Сашей, полез на «палубу».

«Ишь ты, «очень благодарен»! — подумал я. — Даже сидя в воде, не может сказать просто «спасибо». Какая сверхвежливость!»

Я стал подгонять к плоту распластанный на воде белый блин, который еще недавно служил Венику панамой.

— Да ну ее! Не надо ее... — Веник не договорил, потому что зубы у него вдруг застучали, а все тело покрылось гусиной кожей. Только теперь он, видно, понял, как велика была опасность — и задним числом испугался.

По Сашину знаку мы всеми шестью руками схватили «утопленника» и подняли его в воздух. Мы действовали по всем правилам: раскачивали Веника, растирали его... Он потихоньку отбрыкивался, но и тут не терял своей вежливости: заикаясь и дрожа, он объяснял, что мы «неразумно тратим силы».

— Ой, как же «неразумно»? — воскликнула Липучка. — Мы из тебя воду выкачиваем!

— Зачем же? У меня вполне нормальное состояние, — интеллигентно возразил Веник, взлетая к капитанскому мостику.

Мы, однако, не обращали на слова «утопленника» никакого внимания.

— Все сумасшедшие говорят, что они нормальные, а больные притворяются здоровыми, — сказал я и нажал Венику на живот, чтобы выдавить воду.

Тут он от боли впервые потерял свою вежливость.

— Сам ты сумасшедший!

Мы, пораженные такой необычной для Веника грубостью, сразу кончили «спасательные работы», положили «утопленника» на палубу и поздравили его со спасением. Но он несколько минут не шевелился. Кажется, именно сейчас, после наших «спасательных работ», ему нужна была настоящая медицинская помощь...

В тот же день наш плот перестал быть спасательным судном.

— Он будет пограничным сторожевым катером! Понятно? — сказал Саша. — Белогорка будет пограничной рекой, а мы с вами начнем вылавливать нарушителей.

Нужно было придумать катеру какое-нибудь боевое и оригинальное имя.

— «Ласточка»! — предложила Липучка.

— Ну да, еще воробьем назови! — усмехнулся Саша. — Или канарейкой!

— «Верный, недремлющий страж», — предложил Веник. Но Саше и это не понравилось.

— Ты бы еще в две страницы название придумал! Надо, чтобы коротко было, в одно слово. Вот, например: «Неистребимый»!

Это имя все приняли единогласно.

Я захотел устроить ребятам сюрприз. Поздно вечером я тайком пробрался к плоту и написал углем на ящике из-под рафинада, то есть на капитанском мостике, название нашего катера. «Вот уж завтра глаза вытаращат! Вот уж удивятся!» — подумал я. И отправился спать.

Первым удивился Веник:

— Любопытно, какой это грамотей нацарапал? «Неистребимый»! Надо же так!

— Ну, и что? — не понял я.

— Между «р» и «б» должно стоять «е», а тут — «и». Уразумел?

Да, я сразу все уразумел. И вслух предложил:

— Какой-нибудь посторонний человек написал.

Веник пожал своими плечиками:

— Загадочно! Никто из посторонних, кажется, не в курсе того, как называется наш катер.

— Подслушал — и узнал. Подумаешь, «не в курсе»! Один ты в курсе, да? — набросился я на Веника. А про себя подумал: «Какое счастье, что Саша не проверяет мои диктанты и не знает моего почерка!» И еще я подумал, что надо заниматься теперь гораздо больше.

С того дня мы стали писать диктанты не только по утрам, но и по вечерам — как говорится, на сон грядущий. А по

ночам мне еще чаще стали сниться хороводы орфографических ошибок и двойки с ехидными закорючками.

«Нарушителей границы» мы искали главным образом в воде. Всех незнакомых нам мальчишек мы вытаскивали из реки на свой «катер» и требовали предъявить документы. «Нарушители» были или совсем голые, или в одних трусах — и потому документов у них не оказывалось.

— Странно, странно... — говорил Саша. — Как это вы пускаетесь в плавание без документов?

«Нарушители» смотрели на нас, как на сумасшедших. И я сам, между прочим, думал, что всё это — пустые игры и что из-за наших с Сашей переэкзаменовок мы так и не сможем использовать свой плот по-настоящему, для какого-нибудь важного дела.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ...

Никогда не забуду я эту ночь.

Вечером мы с Сашей подиктовали друг другу. Я снова вслух погоревал о том, что из-за Сашиной переэкзаменовки (о своей собственной я, разумеется, только подумал) мы никак не можем использовать свой плот. Саша стал произносить всякие благородные фразы, вроде того, что никто не должен страдать из-за его двойки и что мы можем плыть без него куда нам угодно. Тогда и я тоже стал бить себя кулаком в грудь: никогда, мол, не оставлял и не оставляю товарища в беде!

По ступеням застучала палка: дедушка вернулся с вечерней прогулки.

Иногда он возвращался гораздо позже, потому что его прямо на улице перехватывали и зазывали к себе пациенты: то послушать сердце, то проверить легкие, а то просто попить чайку.

Мы с Сашей простились до утра, не подозревая, что увидимся гораздо раньше.

А ночью вдруг затрезвонил желтый ящик с ручкой на боку, похожий на кофейную мельницу. Такой у дедушки был телефон. Он будил нас не впервые: дедушку и по ночам вызывали в больницу или, как он говорил, «на трудные случаи».

Дедушка всегда полушепотом отвечал в трубку:

— Еду. Ну какой может быть разговор!

На самом деле ему приходилось не ехать, а идти, потому что машины у него не было. Ботинки дедушка в таких случаях натягивал в последнюю очередь и уже за дверью, а палка его не пересчитывала ступени. Неужели он думал, что я сплю и ничего не слышу?

На этот раз дедушка долго не отходил от желтого ящика.

— Так-с... Прескверное положение,— тихо говорил он в трубку.— До Хвостика я буду часа полтора добираться. Это если в обход, по дороге... Да что вы! Откуда сейчас машина? По реке, правда, куда быстрее. Да нет у меня персонального парохода...

Я так стремительно вскочил со своей раскладушки, что ножки, которые были прямо под моей головой, подвернулись, потянули к себе остальные две пары ножек — и раскладушка сама собой стала складываться.

— Есть пароход! Есть, дедушка! Есть!.. — завопил я.

От неожиданности он выронил трубку, она заболталась на шнуре, заколотилась об стенку.

— О чем ты? Какой пароход? — шепотом, словно все еще боясь разбудить меня, спросил дедушка.

— Наш пароход! Наш катер «Неистребимый!»

Дедушка повернулся и стал шарить руками по стене, искать трубку. Наконец нашел ее и прошептал:

— Подождите минутку. Я тут улажу семейные дела... — Он зажал трубку ладонью и обратился ко мне: — Переутомился ты, что ли? Перезанимался с Сашей? Или, может быть, на солнце перегрелся?

— Я не перегрелся, дедушка. У нас есть пароход. Честное слово, есть!

— Пароход? Вообразите, какую чепуху мелет! — Как всегда в минуты волнения, дедушка обращался к кому-то третьему, как бы незримо присутствующему в комнате. — Какие судовладельцы нашлись!

— Ну в общем, это мы его так называем... пароходом. А на самом деле это плот. Мы сами построили, честное слово!

— Ах, плот? Так бы сразу и сказал. — Дедушка разжал руку и склонился над трубкой. — Здесь как будто намечается выход. Я приеду... Ну какой может быть разговор!

Мне очень хотелось самому, без всякой посторонней помо-

щи, перевезти дедушку в заречную часть города, называемую Хвостиком. Это был бы подвиг! О нем могли бы написать в газете, о нем узнали бы все! И тетя Кланя узнала бы. И тогда, может быть, она признала бы наконец, что я достойный сын своей мамы. Но тут же я подумал, что Саша, наверное, никогда бы не уплыл без меня.

— Поскорей, — предупредил дедушка. — Дорога́ каждая минута. Я пока буду спускаться к реке. А то ведь мы с ней медленно ходим. — Он погладил похожую на крендель ручку своей самодельной палки. — Догоняйте меня!

Я уже был внизу, когда дедушка стуком палки остановил меня.

— Поосторожней! — крикнул он, прикрывая рот ладонью. — Клавдия Архиповна под кроватью дубину для воров держит!

Я не боялся ее дубины, потому что хорошо знал, возле какого окна стоит Сашина кровать.

Прежде чем забраться на подоконник, я секунду поразмыслил: «Как разбудить Сашу, чтобы он не испугался и не закричал со сна? Может быть, сперва зажать ему рот? Хотя Саша не закричит — он ведь не какой-нибудь Веник».

Я смело вскарабкался на подоконник и увидел, что Саша не спит: он приподнялся на локте и чуть-чуть наклонил голову, к чему-то прислушиваясь.

Не успел я вслух удивиться, как Саша преспокойным шепотом спросил:

— Что там случилось?

— Ты всю ночь не спишь, что ли? — спросил я.

— Просто услышал, как ты соскочил с крыльца. У дедушки Антона совсем не такие шаги. Что случилось?

— Очень важное дело! Понимаешь, заболел один человек. Очень тяжело... На Хвостике. Мы должны перевезти дедушку. На плоту!.. Пешком идти очень долго. У него еще и ноги болят... А по реке в три раза быстрее!

Пока я все это объяснял, Саша натянул майку, тапочки и оказался рядом со мной на подоконнике.

Дедушку мы догнали на полдороге. Он шел не своей обычной неторопливой походкой, какой ходил во время прогулок, а быстрыми и резкими шагами. Спина его все время напряженно вздрагивала: нелегко доставался ему каждый шаг.

Дедушка бормотал себе под нос:

— Ведь предупреждал, кажется... Сколько раз предупреждал! Как маленький!.. Как ребенок... Со смертью играет. Так-с...

«Кого это он пробирает?» — не понял я.

Мы прошли мимо зеленого шалаша. Но старый шпиц Берген даже не тивкнул.

— Часовой! — усмехнулся Саша. — Бдительный страж! Дрыхнет себе, как медведь в берлоге.

Подгонять плот к самому берегу не было времени. Дедушка, не раздумывая, присел на камень, скинул ботинки, носки, засучил брюки. Затем он взял в каждую руку по башмаку, палку засунул под мышку и смело пошел по воде. Мы с Сашей торопливо зашлепали сзади. На плот дедушка тоже взобрался легко — по крайней мере, быстрее, чем взбирался Веник.

Мы усадили дедушку на маленький ящичек, на котором обычно сидела Липучка, когда разжигала костер, подкладывая под поленья закопченные кирпичи, варила суп или картошку. Я вытащил из воды якорь, и мы с Сашей изо всех сил приналегли сразу на два шеста. «Неистребимый» рванулся с места.

Посреди реки пролегла золотая, словно песчаная, дорожка — это луна освещала наш путь. Берега, которые днем были такими веселыми, зелеными от травы и пестрыми от цветов, сейчас казались мрачно насупившимися. И такой же мрачной, таинственной громадой возвышался наш холм. Казалось, что какое-то гигантское чудовище разлеглось на берегу и подняло вверх свою острую морду. Как два глаза, светились где-то высоко два окна.

— Наверное, там больные, — сказал я. Мне всегда казалось, что за окнами, не гаснущими в ночи, мучаются больные люди.

Дедушка сидел ссутулившись, опершись на палку. Карманы брюк и пиджака топорщились от разных пузырьков и инструментов. Немного в стороне, нос к носу, стояли ботинки. Услышав мои слова, дедушка очнулся, приподнял голову.

— Нет, это не больные, — сказал он. — Справа — отделение милиции, а слева... Не знаю... может, кто-нибудь к экзаменам в институт готовится.

«Или к переэкзаменовке зубрит», — тут же подумал я. Мне показалось, что и Саша подумал то же самое. Спорить с дедушкой было смешно: он ведь знал всех больных в городе.

Окраина, именуемая Хвостиком, спала мертвым сном: ни шороха, ни скрипа. На всем берегу светилося единственное окно.

— Там он лежит, — уверенно сказал дедушка. Поднялся и указал палкой на немигающий и вроде бы зовущий нас огонек.

В пути, работая шестом, я фантазировал, будто золотистая дорожка посреди реки проложена кем-то специально от города до Хвостика. Но она не сворачивала к нему, а, дрожа и переливаясь, убегала вперед, куда-то далеко-далеко...

Я бросил якорь, и мы во главе с дедушкой зашлепали к берегу.

Тут я понял, что ночью по огонькам никак нельзя определить расстояние. Издали казалось, что огонек на берегу. Но в действительности он светился на самом конце Хвостика. «А вообще-то, какая хорошая, добрая вещь — эти ночные огоньки! — подумал я. — Они ведь, наверное, так облегчают дальний путь: все время чудится, что цель уже близка, и шагать веселее».

Возле маленького одноэтажного домика, остроконечной крышей своей напоминавшего часовенку, нас поджидал невысокий, очень широкоплечий мужчина в белой рубаше, которая, кажется, не сходилась у него на груди. Лица я в темноте не разглядел.

— А-а, приехали!.. Приехали!.. — взволнованно забасил мужчина. Голос у него прерывался, и мне было странно, что такой здоровяк может так волноваться. — С братом у меня плохо... Очень плохо, доктор, — сказал мужчина. — Вы ведь его как-то смотрели...

— Да, очень внимательно изучал вашего братца. И даже прописывал ему кое-что. Да, вообразите, прописывал! Но он-то, наверное, рецепты мои по ветру развеял: не верит он в медицину. А? Ведь не верит? — Дедушка говорил с успокоительной шутливостью в голосе. Он как будто даже не спешил в комнату, давая этим понять, что не ждет ничего угрожающего.

И это подействовало на мужчину. Голос его перестал дрожать.

— Как же вы добрались? Жинка встречать вас пошла на дорогу. Неужели проглядела?

— Вообразите, я сам виноват,— развел руками дедушка.— Сказал — приеду, а на чем именно, спросонья не сообщил. Ребята вот на плоту меня доставили.

Мужчина хотел в знак благодарности пожать ему руку, но обе руки у дедушки были заняты ботинками. Он так и вошел в комнату, держа их впереди себя. Это было смешно — и как-то сразу подняло настроение.

Мы с Сашей тоже вошли в домик — и я замер на пороге. У стены на узкой кровати, не уместаясь на ней (одно плечо было на весу), лежал Андрей Никитич. Лицо у него было серое, с каким-то синеватым оттенком, как тогда, в поезде, хотя здесь и не было синей лампы.

— Андрей Никитич... — не удержавшись, вполголоса сказал я.

Он не услышал меня, но дедушка обернулся. Лицо у него было уже не спокойное, а сердитое, сосредоточенное.

— На улице подождите, молодые люди,— сказал он так, будто не знал наших имен и вообще был незнаком с нами.

Потом он поставил свои башмаки возле кровати, словно они принадлежали тому, кто лежал на ней. И, как бы желая поздороваться с Андреем Никитичем, взял его за руку. Но не поздоровался, а, весь обратившись в слух и шевеля губами, стал считать пульс.

Мы с Сашей вышли на улицу. Дедушка в ту ночь казался нам самым могучим человеком на земле, от которого зависели жизнь и смерть, горе и радость.

Мы так боялись помешать дедушке, с таким нетерпением ждали его выхода, что Саша даже не поинтересовался, кто такой Андрей Никитич и откуда я его знаю.

А я сам не стал об этом рассказывать.

Я вспомнил, как Андрей Никитич, стоя у открытого окна в коридоре вагона, сказал: «Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать. А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду... Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погоны серебряной лычкой — и в отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...»

Я вспомнил эти слова Андрея Никитича очень точно, и голос его вспомнил, и тяжелую, задумчивую походку...

«Почему же вы не поверили врачам, Андрей Никитич? Почему?» — подумал я.

Когда волнуешься или чего-нибудь ждешь, время тянется очень медленно, потому что думаешь все время об одном, не отвлекаешься, ничего кругом не замечаешь — и каждая секунда на счету.

Дедушка вышел на улицу тихо, все так же держа в руках свои ботинки. Вышел из комнаты и брат Андрея Никитича. В ту же минуту откуда-то из темноты появилась женщина в сарафане и с растрепанными волосами, которые в беспорядке падали ей на плечи.

— Ну, как он? Как он? — не то заговорила, не то зарыдала она. — А я стою на дороге, стою... Все глаза проглядела. Ну, как он, доктор?

Дедушка опять спокойно и даже чуть-чуть насмешливо ответил:

— С лежащим-то с ним легче будет. Теперь уж он обязан подчиняться. А то ведь не сладишь с ним! Артиллерия, говорит, медицине не подвластна... — Внезапно дедушкин голос изменился — стал натянутым, сухим: — А могло быть худо. Совсем худо. Если бы вот не их плот!

Дедушка кивнул в нашу сторону.

НЕОЖИДААННЫЙ ЭКЗАМЕН

В конце концов Веник все-таки засыпался... Однажды Ангелина Семеновна, обеспокоенная его долгим отсутствием, совершила налет на поликлинику и все узнала. Она выяснила, что Веник уколов не делал и что сейчас их делать уже поздно, потому что если собака была бешеная, так и Веник в ближайшие дни непременно должен взбеситься.

Ангелина Семеновна уложила Веника в постель, хотя никто ей этого не советовал. Она не выпускала его из дому, чтобы он опять не попал под влияние «подозрительной компании» — так она называла Сашу, Липучку и меня.

Считая первым и самым главным признаком бешенства водобоязнь, Ангелина Семеновна заставляла Веника выпивать в день по десять стаканов чаю и съедать по три тарелки

супа, а когда он отказывался, она начинала ломать руки и кричать:

— Скажи мне правду, Веник! Скажи маме правду! Тебе страшно смотреть на суп, да? Страшно? А что ты испытываешь, когда я наливаю тебе чай?

— Меня тошнит,— отвечал Веник.

— Ну вот! Конечно! Все признаки налицо!— восклицала Ангелина Семеновна.

А Веника тошнило просто потому, что она сыпала в чай слишком много сахара: по ее сведениям, это обостряло умственную деятельность.

Но Веник уже не мог без нас... И вот, когда дней через десять дедушка впервые разрешил нам навестить Андрея Никитича, Веник удрал, прибежал на берег Белогорки и отплыл вместе с нами на борту «Неистребимого».

На этот раз мы плыли к Хвосту утром. И снова посреди реки была золотистая, словно песчаная, дорожка, но только не лунная, а солнечная. И снова она никуда не сворачивала, а бежала себе все прямо и прямо, далеко-далеко...

Красота летнего утра настроила Липучку на поэтический лад, и она стала требовать, чтобы я прочитал свои новые стихи, которые были в той самой тетрадке под столом. Я отбивался как мог, говорил, что стихи еще не закончены. Меня поддержал Веник. Он авторитетно заявил, что поэты никогда не читают «недоработанных произведений».

И тогда Липучка отстала.

Андрея Никитича мы нашли не сразу. Днем все дома были похожи друг на друга, а огонька, который тогда, ночью, звал нас и указывал путь, сейчас уже не было.

Нам помог Саша... Он вспомнил, что в ту ночь сильно ушиб ногу, наткнувшись на бревна, сложенные возле самого дома Андрея Никитича. Сгоряча он даже не почувствовал боли, а потом палец у него покраснел, вздулся. Саша и сейчас еще слегка прихрамывал. Мы разыскали бревна и квадратный домик, похожий на часовенку. Андрей Никитич был один: «женщина с растрепанными волосами», которая была женой его брата, как раз недавно ушла на базар.

Андрей Никитич нам очень обрадовался. Но дедушка предупредил нас, что больному нельзя много разговаривать, и потому мы все кричали в четыре голоса: «Не разговари-

вайте, Андрей Никитич! Не разговаривайте! Мы вас не слушаем, не слушаем!..» И затыкали уши. В конце концов он смирился и сказал:

— Хорошо, давайте будем смотреть друг на друга.

И мы стали смотреть: он на нас, а мы на него.

Дедушка говорил, что он лучше всего определяет самочувствие больных по глазам.

У Андрея Никитича глаза были живые, лукавые — значит, дело шло на поправку.

Мы помолчали минут пять. Потом Андрей Никитич, как ученик в классе, поднял руку и глазами дал понять, что просит слова.

— Говорите! — разрешил Саша таким тоном, каким он командовал нами с капитанского мостика.

— У меня вот просьба есть к Саше, — робко проговорил Андрей Никитич.

— Ко мне? Понятно. — Саша поближе подошел к кровати.

— Да нет, не к тебе.

— А меня, Андрей Никитич, тут в Шуру переименовали, — сообщил я.

— Переименовали? Кто же, интересно?

Я кивнул на Сашу.

— А почему ты его самого не переименовал?

Я неопределенно пожал плечами:

— Да не знаю... Он сказал мне: «Будешь два месяца Шурой». И я послушался.

— Послушался? — Андрей Никитич с уважением взглянул на Сашу. — А просьба у меня все-таки к бывшему Саше, то есть к теперешнему Шуре...

Андрей Никитич сказал это таким тоном, что наш воспитанный Веник сразу все понял.

— Саша, Липучка! — сказал он. — Пойдемте подышим свежим воздухом.

— Нашел работу! Свежим воздухом дышать! — усмехнулся Саша. — Давайте уж лучше воды натаскаем. Я заметил в сенях пустые ведра.

Ребята зазвенели ведрами. А у меня, наверное, был до глупого гордый вид: сам подполковник-артиллерист с просьбой обращается! Но что же это за просьба такая?

— Просьба ерундовая. Пустяк, — сказал Андрей Ники-

тич. — Письмо надо домой написать. А дедушка твой писать запрещает. Так я продиктую тебе. Идет?

Мне показалось, что из двери, которую ребята оставили открытой, сильно дует и вообще в комнате холодно.

Но Андрей Никитич был все-таки очень хорошим человеком: письмо он продиктовал короткое, и слова были не такие уж трудные. Я сейчас точно не помню, о чем именно было письмо. Очень волновался, когда писал, потому и не запомнил. На содержание я не обращал никакого внимания, а на одни лишь безударные гласные.

И еще хорошо помню, что были в письме такие фразы: «Доктор говорит, что теперь у меня один маршрут — в санаторий... Меня навещает один мальчик, который приехал к своему дедушке, и его товарищи...»

Слова «маршрут» и «к дедушке» Андрей Никитич, конечно же, вставил нарочно. И я написал эти слова так четко, так ясно, как только мог — чуть ли не печатными буквами! В общем, устроил мне Андрей Никитич предварительный экзамен...

— Спасибо, — сказал он. — Теперь положи в конверт и наклейте марку. Я тебе адрес продиктую. И на обратном пути опустишь. Идет?

— Как? Прямо в конверт? — растерянно пролепетал я. И стал быстро соображать: что лучше — чтобы Андрей Никитич проверил сейчас письмо или чтобы не проверял?

А он, словно и не подозревая о моих муках и сомнениях, сказал:

— Конверты в левом ящике стола. Клей на окне, в бутылочке...

И тут мне смертельно, «до ужаса», как говорит Липучка, захотелось узнать, сколько я сделал ошибок. Помогли мне хоть немножко занятия с Сашей или нет?

— Вы, Андрей Никитич, лучше проверьте. Может, я напутал что-нибудь... Или пропустил. По рассеянности...

— У тебя уже есть рассеянность? — удивился Андрей Никитич. — Это же старческая болезнь. Ну ладно. Если просишь...

Он взял листок из моих перепачканных чернилами рук. Сперва все шло хорошо. Андрей Никитич спокойно водил глазами по строчкам. Но вдруг он сказал:

— Дай-ка сюда перо.

«Так! Первая есть!» — подумал я и заложил один палец на правой руке. Еще мне пришлось заложить три пальца. Значит, я все-таки кое-чего добился: ведь раньше, когда я начинал считать свои ошибки, мне не хватало пальцев не только на руках, но даже и на ногах.

— Выручил ты меня. Спасибо, — сказал Андрей Никитич. — Теперь сам еще раз прочти. Не очень ли я родных разволновал?

«Все понятно! Хочет, чтобы я на свои ошибки обратил внимание», — догадался я. И прямо впился глазами в злощастные слова, исправленные Андреем Никитичем. А потом, дома, я раз десять переписал эти слова в тетрадку.

Ребят притащила в комнату «женщина с растрепанными волосами». В это утро волосы ее были аккуратнейшим образом скручены в косу, но прозвище так за ней и осталось. Значит, это верно говорят, что первое впечатление — самое сильное.

«Женщина с растрепанными волосами» долго благодарила нас, называла очень сознательными и добрыми — в общем, говорила такие вещи, которые мне почему-то всегда бывает стыдно слушать. Потом она взглянула на часы и извиняющимся голосом сказала:

— Андрею Никитичу, понимаете ли, спать нужно...

— Днем спать? — попытался заспорить Андрей Никитич.

Но женщина сердито тряхнула косой, и он сразу стал прощаться с нами:

— Приходите почаще. И ты, Веник, приходи. В шахматы с тобой сыграем. В поезде-то не успели... И маме привет передай.

Веник был счастлив, что Андрей Никитич так хорошо сказал о его маме. До самого берега наш солидный Веник бежал вприпрыжку.

На обратном пути Липучка опять пристала ко мне со стихами. А Веник стал еще уверенней защищать меня: у него было хорошее настроение. Он сказал, что я в Москве «обобщу все свои впечатления» и напишу «цикл белогорских стихов». И еще он сказал, что в творчестве Пушкина был период болдинской осени, а в моем будет период белогорского лета. Эта мысль мне очень понравилась.

— Верно! Я все обобщу и пришлю из Москвы, — пообещал я Липучке.

Но, когда мы подплыли к Белогорску, настроение у Веника сразу испортилось: на берегу, возле нашего шалаша, стояла Ангелина Семеновна!

— Дрейфовать здесь, к берегу не подходить! — с капитанского мостика приказал Саша.

Веник безнадежно покачал головой:

— Вы не знаете мою маму. Она не уйдет отсюда до следующего утра. Она не простит мне этого побега!

Но он ошибся. С берега вдруг поплыли трепетные, ласковые звуки.

— Венечка, милый мой мальчик! — кричала Ангелина Семеновна. — Оглядись по сторонам!

Веник огляделся.

— Тебе не страшно? Ты не боишься?

— Боюсь... тебя! — крикнул Веник.

— Меня? Свою маму? Глупый ребенок! А воды... воды ты не боишься?

— Не боюсь!

— Честное слово?

— Честное!..

— Значит, ты здоров? Совсем здоров?!

Нам ничего не грозило! И Саша приказал пришвартовываться. Как только мы вылезли на берег, из шалаша с лаем выскочил, видно, хорошо отоспавшийся и потому, как никогда, бодрый шпиц Берген.

— Милая собачка! — сказала Ангелина Семеновна. Она с нежностью гладила Бергена, благодарила его за то, что он оказался не бешеным, а самым нормальным псом.

Потом она стала так же нежно и даже еще нежнее гладить своего Веника.

— Как ты загорел за эти месяцы! — говорила Ангелина Семеновна, прямо-таки с любопытством разглядывая сына. — Как у тебя мордочка округлилась!

— Мама, при чем тут мордочка? — осмелев, сказал Веник. — Я же все-таки не шпиц Берген!

— Не сердись на маму. Ты очень хорошо выглядишь. И это, естественно, радует ее!

В самые трогательные минуты Ангелина Семеновна начинала говорить о себе в третьем лице. Я это еще в поезде заметил.

— Да, ты очень поправился. И как-то окреп, возмужал.

И Саша тоже...— Ангелина Семеновна впервые ласково взглянула на меня.— В Москве вас просто не узнают!

А мне вдруг стало грустно. Ее слова напоминали о том, что дни стали заметно короче, что лето подходит к концу и что скоро мне придется прощаться с Сашей, с дедушкой, с Липучкой... И с этим плотом, качающимся на легких речных волнах, и с этим зеленым холмом... Я вдруг наклонился и поцеловал Бергена в мокрый, приветливо шершавый нос.

ДВА ПИСЬМА

Здравствуй, Шура!

Только что я вернулся из школы. Сдавал переекзаменовку. В классе проверять работы не полагается, но я упросил Нину Петровну. И она проверила. Ясное дело, есть ошибки. Но мало. И Нина Петровна поставила мне четверку.

Мне бы не видать этой четверки, как ушей своих, если бы не ты, Шура. Спасибо тебе! Приезжай в будущем году обязательно. Построим новый плот и уйдем в далекое плавание. Понятно? Саша.

Дорогой Саша! Мне стыдно писать это письмо. Но я все должен рассказать тебе. Всю правду! У меня ведь тоже была переекзаменовка по русскому языку. Только я постеснялся сказать об этом. Ты вот не постеснялся, а я постеснялся...

И еще я про стихи наврал. Мало ли на свете Сашек Петровых! Какой-то из них и пишет стихи, а вовсе не я. Да ведь я теперь и не Саша, а Шура. Дома меня тоже так будут называть, потому что мама вдруг открыла, что я приехал из Белогорска «совсем другим человеком». Не очень-то понимаю, что она этим хочет сказать...

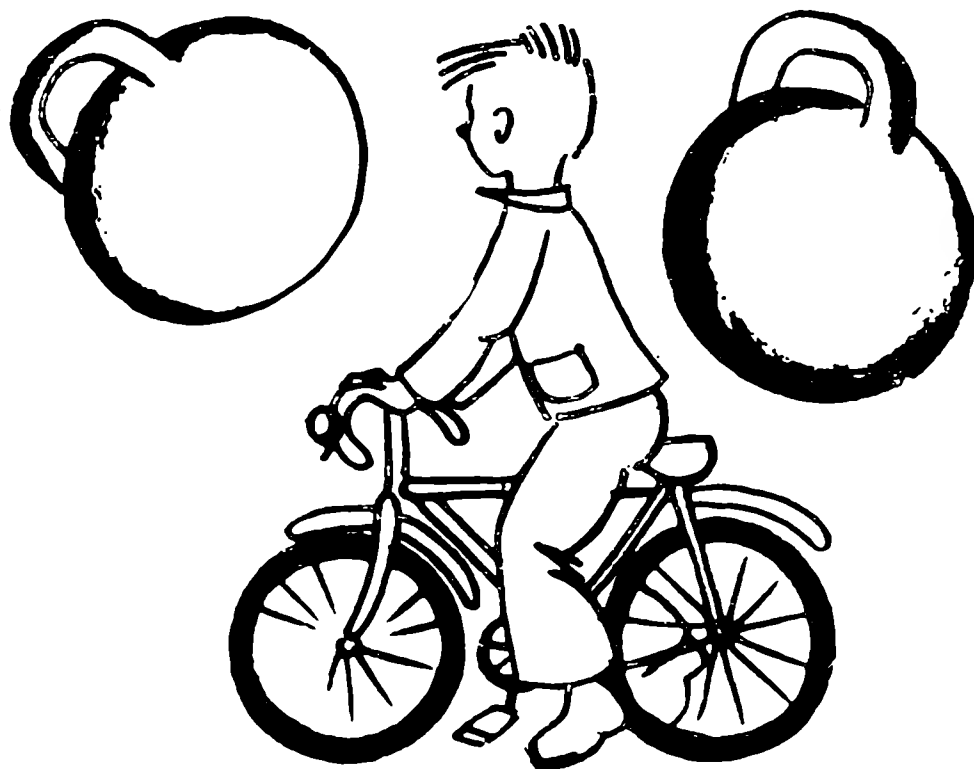
Сегодня я сдавал переекзаменовку. Получил всего тройку. А ты четверку? Но ничего! Ведь часто так пишут: «Ученик превзошел своего учителя!»

* * *

История эта случилась три года назад. Я сразу хотел записать ее. Но не решился: боялся насажать много ошибок. А сейчас вот записал.

1955 г.

В СТРАНЕ ВЕЧНЫХ КАНИКУЛ



*Л. Лагину. автору знаменитого
«Старика Хоттабыча», посвящая
эту повесть-сказку.*

ПОКА ЕЩЕ НЕ НАЧАЛАСЬ СКАЗКА...

Эту дорогу я знаю наизусть, как любимое стихотворение, которое никогда не заучивал, но которое само запомнилось на всю жизнь. Я мог бы идти по ней зажмурившись, если бы по тротуарам не спешили пешеходы, а по мостовой не мчались автомашины и троллейбусы.

Иногда по утрам я выхожу из дому вместе с ребятами, которые в ранние часы бегут той самой дорогой. Мне кажется, что вот-вот сейчас из окна высунется мама и крикнет мне вдогонку с четвертого этажа: «Ты забыл на столе свой завтрак!» Но теперь я уже редко что-нибудь забываю, а если бы и забыл, не очень-то прилично было бы догонять меня криком с четвертого этажа: ведь я уже давно не школьник.

Помню, однажды мы с моим лучшим другом Валериком сосчитали зачем-то количество шагов от дома до школы. Теперь я делаю меньше шагов: ноги у меня стали длиннее. Но путь продолжается дольше, потому что я уже не могу, как раньше, мчаться сломя голову. С возрастом люди вообще чуть-чуть замедляют шаги, и чем человек старше, тем меньше ему хочется торопиться.

Я уже сказал, что часто по утрам иду вместе с ребятами доро́гой моего детства. Я заглядываю в лица мальчишкам и девчонкам. Они удивляются: «Вы кого-нибудь потеряли?» А я и в самом деле потерял то, что уже невозможно найти, отыскать, но и забыть тоже невозможно: свои школьные годы.

Впрочем, нет... Они не стали только воспоминанием — они живут во мне. Хотите, они заговорят? И расскажут вам много разных историй?.. Или лучше одну историю, но такую, какая, я уверен, не случалась ни с кем из вас никогда!

САМЫЙ НЕОБЫЧАЙНЫЙ ПРИЗ

В ту далекую пору, о которой пойдет речь, я очень любил... отдыхать. И хотя к двенадцати годам я вряд ли успел от чего-нибудь слишком уж сильно устать, но я мечтал, чтобы в календаре все поменялось: пусть в дни, которые сверкают красной краской (этих дней в календаре так немного!), все ходят в школу, а в дни, которые отмечены обыкновенной черной краской, развлекаются и отдыхают. И тогда можно будет с полным основанием сказать, мечтал я, что посещение школьных занятий — это для нас настоящий праздник.

На уроках я до того часто надоедал Мишке-будильнику (отец подарил ему огромные старые часы, которые тяжело было носить на руке), что Мишка сказал однажды:

— Не спрашивай меня больше, сколько осталось до звонка: каждые пятнадцать минут я буду чихать.

Все в классе решили, что у Мишки «хроническая простуда», а учительница даже принесла ему какой-то рецепт. Тогда он перестал чихать и перешел на кашель: от кашля ребята все же не так сильно вздрагивали.

За долгие месяцы летних каникул многие просто

уставали отдыхать, но я не уставал. С первого сентября я уже начинал подсчитывать, сколько дней осталось до зимних каникул. Эти каникулы нравились мне больше других: они хоть и были короче летних, но зато приносили с собой елочные праздники, Дедов-Морозов, Снегурочек и нарядные подарочные пакеты. А в пакетах были столь любимые мною в ту пору пастила, шоколад и пряники. Если б мне разрешили есть их три раза в день, вместо завтрака, обеда и ужина, я согласился бы сразу, не задумываясь ни на одну минуту!

Задолго до праздника я составлял точный список всех наших родственников и знакомых, которые могли достать билеты на Елку. Дней за десять до первого января я начинал звонить.

— С Новым годом! С новым счастьем! — говорил я двадцатого декабря.

— Уж очень ты рано поздравляешь, — удивлялись взрослые.

Но я-то знал, когда надо поздравлять: ведь билеты на Елку везде распределялись заранее.

— Ну, а как ты заканчиваешь вторую четверть? — неизменно интересовались родные и знакомые.

— Неудобно как-то говорить о самом себе... — повторял я фразу, услышанную однажды от папы.

Из этой фразы взрослые почему-то немедленно делали вывод, что я — круглый отличник, и завершали нашу беседу словами:

— Надо бы тебе достать билет на Елку! Как говорится, кончил дело — гуляй смело!

Это было как раз то, что нужно: гулять я очень любил! Но вообще-то мне хотелось немного изменить эту известную русскую поговорку — отбросить два первых слова и оставить только два последних: «Гуляй смело!»

Ребята в нашем классе мечтали о разном: строить самолеты (которые тогда чаще называли аэропланами), водить по морям корабли, быть шоферами, пожарниками или вагоновожатыми... И только я один мечтал стать массовиком. Мне казалось, что нет ничего приятней этой профессии: с утра до вечера веселиться самому и веселить других! Правда, все ребята открыто говорили о своих мечтах и даже писали о них в сочинениях по литературе, а я о своем заветном желании почему-то умалчивал. Когда же меня в упор спраши-

вали: «Кем ты хочешь стать в будущем?» — я каждый раз отвечал по-разному: то летчиком, то геологом, то врачом. Но на самом деле я все-таки мечтал стать массовиком!

Мама и папа очень много размышляли о том, как меня правильно воспитывать. Я любил слушать их споры на эту тему. Мама считала, что «главное — это книги и школа», а папа неизменно напоминал, что именно физический труд сделал из обезьяны человека и что поэтому я прежде всего должен помогать взрослым дома, во дворе, на улице, на бульваре и вообще всюду и везде. Я с ужасом думал, что, если когда-нибудь мои родители наконец договорятся между собой, я пропал: тогда мне придется учиться только на пятёрки, с утра до вечера читать книги, мыть посуду, натирать полы, бегать по магазинам и помогать всем, кто старше меня, таскать по улице сумки. А в то время почти все в мире были старше меня...

Итак, мама и папа спорили, а я не подчинялся кому-нибудь одному из них, чтобы не обидеть другого, и делал все так, как хотел сам.

Накануне зимних каникул споры о моем воспитании разгорались особенно жарко. Мама утверждала, что масштабы моего веселья должны находиться в «прямой пропорциональной зависимости от отметок в дневнике», а папа говорил, что веселье должно быть в такой же точно зависимости от моих «трудовых успехов». Так и не выяснив отношений, оба они приносили мне по билету на Елку.

Вот с одного такого праздника все и началось...

Я хорошо запомнил тот день — последний день зимних каникул. Мои друзья уже просто рвались в школу, а я не рвался... И хотя из елок, на которых я побывал, вполне можно было бы образовать небольшой хвойный лесок, я пошел на очередной утренник — в Дом культуры медицинских работников. Медицинским работником была сестра мужа маминой сестры; и хотя ни раньше, ни сейчас я бы не мог точно сказать, кем она мне приходится, билет на медицинскую Елку я получил.

Войдя в вестибюль, я поднял голову и увидел плакат:

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПРОБЛЕМАМ БОРЬБЫ ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ!

А в фойе висели диаграммы, показывающие «рост снижения смертности в нашей стране». Диаграммы были весело обрамлены разноцветными лампочками, флажками и мохнатыми хвойными гирляндами.

Меня тогда, помнится, очень удивило, что кого-то серьезно занимают «проблемы борьбы за долголетие»: я не представлял себе, что моя жизнь может когда-нибудь кончиться. А мой возраст приносил мне огорчения только тем, что был слишком мал. Если незнакомые люди интересовались, сколько мне лет, я говорил, что тринадцать, потихоньку накидывая годик. Сейчас я уже ничего не прибавляю и не убавляю. А «проблемы борьбы за долголетие» не кажутся мне уж столь непонятными и ненужными, как тогда, много лет назад, на детском утреннике...

Среди диаграмм, на фанерных щитах, были написаны разные советы, необходимые людям, которые хотят подольше прожить. Я запомнил лишь совет о том, что надо, оказывается, поменьше сидеть на одном месте и побольше двигаться. Я запомнил его для того, чтобы пересказать своим родителям, которые то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по двору! Хоть бы посидел немножко на одном месте!» А сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно! Потом я прочитал лозунг: «Жизнь есть движение!» — и помчался в большой зал, чтобы принять участие в велосипедных гонках. В тот миг я, конечно, не мог предположить, что это спортивное соревнование сыграет совершенно неожиданную роль в моей жизни.

Нужно было сделать три стремительных круга на двухколесном велосипеде по краю зрительного зала, из которого были убраны все стулья. И хотя старики редко бывают спортивными судьями, но тут судьей был Дед-Мороз. Он стоял, словно на стадионе, с секундомером в руке и засекал время каждого гонщика. Точней сказать, он держал секундомер в нарядных серебристо-белых рукавицах. И весь был нарядный, торжественный: в тяжелой красной шубе, прошитой золотыми и серебряными нитками, в высокой красной шапке с белоснежным верхом и с бородой, как полагается, до самого пояса.

Обычно везде, и даже на праздничных утренниках, у каждого из моих друзей было какое-то свое особое увлечение: один любил съезжать вниз с деревянной горки — и

делал это столько раз подряд, что за несколько часов успевал протереть штаны; другой не вылезал из кинозала, а третий стрелял в тире до тех пор, пока ему не напоминали, что и другие тоже хотят пострелять. Я успевал испытать все удовольствия, на которые давал право пригласительный билет: и скатиться с горки, и промахнуться в тире, и выловить металлическую рыбку из аквариума, и покружиться на карусели, и разучить песню, которую все уже давно знали наизусть.

Поэтому на велосипедные гонки я явился немного утомленным — не в лучшей форме, как говорят спортсмены.

Но когда я услышал, как Дед-Мороз громко провозгласил: «Победитель получит самый необычайный приз за всю историю новогодних елок!» — силы ко мне вернулись и я почувствовал себя абсолютно готовым к борьбе.

До меня по залу пронеслись девять юных гонщиков, и время каждого было громогласно, на весь зал, объявлено Дедом-Морозом.

— Десятый — и последний! — объявил Дед-Мороз.

Его помощник — массовик дядя Гоша подкатил ко мне облезлый двухколесный велосипед. До сих пор я помню всё: и что верхняя крышечка звонка была оторвана, и что на раме облупилась зеленая краска, и что в переднем колесе не хватало спиц.

— Старый, но боевой конь! — сказал дядя Гоша.

Дед-Мороз выстрелил из самого настоящего стартового пистолета — и я нажал на педали...

Катался я на велосипеде не очень хорошо, но в моих ушах все время звучали слова Деда-Мороза: «Самый необычайный приз за всю историю новогодних елок!»

Эти слова подгоняли меня: ведь, пожалуй, никто из участников этого соревнования не любил получать подарки и призы так сильно, как любил я! И к «самому необычайному призу» я примчался быстрее всех остальных. Дед-Мороз взял мою руку, которая утонула в его рукавице, и высоко поднял ее, как поднимают руки победителей боксерских соревнований.

— Объявляю победителя! — произнес он так громко, что слышали все дети медицинских работников во всех залах Дома культуры.

Сразу же рядом появился массовик дядя Гоша и своим вечно радостным голосом воскликнул:

— Давайте поприветствуем, ребята! Давайте поприветствуем нашего рекордсмена!

Он захлопал, как всегда, так настоятельно, что сразу же потянул за собой аплодисменты со всех концов зала. Дед-Мороз взмахнул рукой и установил тишину:

— Я не только объявляю победителя, но и награждаю его!

— Чем?.. — нетерпеливо поинтересовался я.

— О, ты даже представить себе не можешь!

В голосе Деда-Мороза мне почудилось что-то странное: он говорил как волшебник, уверенный, что может сделать необычайное, сотворить чудо — и поразить всех! И я не ошибся...

— В сказках чародеи и волшебники просят обычно задумать три заветных желания, — продолжал Дед-Мороз. — Но мне кажется, что это слишком много. Ты же установил велосипедный рекорд только один раз, и я выполню одно твоё желание! Но зато — любое!.. Подумай хорошенько, не торопись.

Я понял, что такой случай представляется мне первый и последний раз в жизни. Я мог попросить, чтобы мой лучший друг Валерик остался моим лучшим другом навсегда, на всю мою жизнь! Я мог попросить, чтобы контрольные работы и домашние задания учителей выполнялись сами собой, без всякого моего участия. Я мог попросить, чтобы папа не заставлял меня бегать за хлебом и мыть посуду! Я мог попросить, чтобы вообще эта посуда мылась сама собой или никогда не пачкалась. Я мог попросить...

Одним словом, я мог попросить все, что угодно. И если бы я знал, как в дальнейшем сложится моя жизнь и жизнь моих друзей, я бы, наверно, попросил о чем-нибудь очень важном для себя и для них. Но в тот момент я не мог заглянуть вперед, сквозь годы, а мог только поднять голову — и увидеть то, что было вокруг: сияющую елку, сияющие игрушки и вечно сияющее лицо массовика дяди Гоши.

— Чего же ты хочешь? — нетерпеливо спросил Дед-Мороз.

И я ответил:

— Пусть всегда будет Елка! И пусть никогда не кончатся эти каникулы!..

— Ты хочешь, чтобы всегда было так же, как сегодня? Как на этой Елке? И чтобы никогда не кончались каникулы?

— Да. И чтобы все меня развлекали...

Последняя моя фраза звучала не очень хорошо, но я подумал: «Если он сделает так, чтобы все меня развлекали, тогда, значит, и мама, и папа, и даже учителя должны будут доставлять мне одни только удовольствия. Не говоря уже обо всех остальных...»

Дед-Мороз ничуть не удивился:

— Все эти желания вполне можно посчитать за одно. Я сделаю так, чтобы каникулы и развлечения для тебя никогда не кончались!

— И для Валерика тоже! — поспешно добавил я.

— Кто это... Валерик? — спросил Дед-Мороз.

— Мой лучший друг!

— А может быть, он вовсе не хочет, чтобы эти каникулы длились вечно? Он об этом меня не просил.

— Я сейчас сбегая вниз... Позвоню ему из автомата и узнаю: хочет он или нет.

— Если ты еще вдобавок попросишь у меня деньги на автомат, то это и будет считаться исполнением твоего желания: ведь оно может быть только одно! — сказал Дед-Мороз. — Хотя... Скажу тебе по секрету: я теперь должен выполнять и другие твои просьбы!

— Почему?

— О, не торопись! Со временем узнаешь! Но эту просьбу я выполнить не могу: твой лучший друг не участвовал в велосипедных гонках и не завоевал первого места. За что же я должен награждать его самым необычайным призом за всю историю новогодних елок?

Я не стал спорить с Дедом-Морозом: с волшебниками спорить не полагается.

К тому же я решил, что мой лучший друг Валерик-гипнотизер и правда не захочет, чтобы каникулы никогда не кончались...

Почему гипнотизер? Сейчас расскажу вам...

...Однажды в пионерлагере, где мы летом были с Валери-

ком, вместо киносейанса устроили «сеанс массового гипноза».

— Спать! Спать! Спать!.. — замогильным голосом произносил со сцены бледный гипнотизер.

— Это какое-то шарлатанство! — на весь зал воскликнула старшая пионервожатая. И первая в зале уснула...

А потом уснули и все остальные. Только один Валерик продолжал бодрствовать. Тогда гипнотизер разбудил нас всех и объявил, что у Валерика очень сильная воля, что он сам, если захочет, сможет диктовать эту свою волю другим и, наверно, при желании сумеет сам стать гипнотизером, дрессировщиком и укротителем. Все очень удивились, потому что Валерик был невысоким, худеньким, бледным и даже в лагере летом совсем не загорел.

Я, помню, решил немедленно использовать могучую волю Валерика в своих интересах.

— Мне сегодня нужно учить теоремы по геометрии, потому что завтра меня могут вызвать к доске, — сказал я ему в один из первых дней нового учебного года. — А мне очень хочется идти на футбол... Продиктуй мне свою волю: чтобы сразу захотелось идти на стадион и захотелось зубрить геометрию!

— Пожалуйста, — сказал Валерик. — Попробуем. Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха!

И начал диктовать мне свою волю... Но через полчаса я все равно отправился на футбол. А на другой день сказал своему лучшему другу:

— Я не поддался гипнозу — значит, и у меня тоже сильная воля?

— Сомневаюсь, — ответил Валерик.

— Ага, если ты не поддаешься, то это из-за сильной воли, а если я не поддаюсь, то это ничего не значит? Да?

— Извини, пожалуйста... Но, по-моему, это так.

— Ах, это так? А может быть, и ты вовсе никакой не гипнотизер? И не дрессировщик? Вот докажи мне свою силу: усыпи сегодня на уроке нашу учительницу, чтобы она не смогла меня вызвать к доске.

— Извини... Но если я начну ее усыплять, могут уснуть и все остальные.

— Понятно. Тогда просто продиктуй ей свою волю: пусть

она оставит меня в покое! Хотя бы на сегодняшний день...

— Хорошо, постараюсь.

И он постарался... Учительница раскрыла журнал и сразу же назвала мою фамилию, но потом подумала немного и сказала:

— Нет... пожалуй, сиди на месте. Лучше послушаем сегодня Парфенова.

Мишка-будильник поплелся к доске. А я с того самого дня твердо поверил, что мой лучший друг — настоящий укротитель и гипнотизер.

Сейчас Валерик уже не живет в нашем городе... А мне все кажется, что вот-вот раздадутся три торопливых, словно догоняющих друг друга, звонка (так всегда звонил только он!). А летом я вдруг ни с того ни с сего высовываюсь в окно: мне кажется, что со двора меня, как прежде, зовет негромкий Валеркин голос: «Эй, иностранец!.. Петька-иностранец!» Не удивляйтесь, пожалуйста: так меня звал Валерик, а почему — в свое время узнаете.

С годами я стал замечать, что дружба очень часто связывает людей с разными и даже противоположными характерами. Сильный хочет поддержать бесхарактерного, словно бы поделиться с ним своей волей и мужеством; добрый хочет отогреть чье-то холодное, черствое сердце; настойчивый хочет заразить своим упорством легкомысленного и увлечь его за собой...

Валерик тоже пытался вести меня за собой, но я то и дело терял его след и сбивался с дороги. Ведь это он, к примеру, заставил меня заниматься в школе общественной работой: быть членом санитарного кружка. В те предвоенные годы часто объявлялись учебные воздушные тревоги. Члены нашего кружка надевали противогазы, выбегали с носилками во двор и оказывали первую помощь «пострадавшим». Я очень любил быть «пострадавшим»: меня заботливо укладывали на носилки и тащили по лестнице на третий этаж, где был санитарный пункт.

Мне тогда и в голову не приходило, что скоро, очень скоро нам придется услышать вой сирены, не учебной, а настоящей тревоги, дежурить на крыше своей школы и сбрасывать оттуда зажигалки. Я и представить себе не мог, что мой город когда-нибудь оглушат разрывы фугасных бомб...

Я не знал обо всем этом в тот день, на сверкающем Елочном празднике: ведь если бы мы обо всех бедах узнавали заранее, тогда вообще не могло бы быть на свете никаких праздников.

Дед-Мороз торжественно объявил:

— Выполняю твое желание: ты получишь путевку в Страну Вечных Каникул!

Я быстро протянул руку. Но Дед-Мороз опустил ее:

— В сказке путевок на руки не выдают! И пропусков не выписывают. Все произойдет само собой. С завтрашнего утра ты очутишься в Стране Вечных Каникул!

— А почему не сегодня? — спросил я.

— Потому что сегодня ты можешь отдыхать и развлекаться без помощи волшебной силы: каникулы ведь еще не кончились. Но завтра все пойдут в школу, а для тебя каникулы будут продолжаться!..

ТРОЛЛЕЙБУС ИДЕТ «В РЕМОНТ»

На следующий день чудеса начались прямо с утра: не зазвонил будильник, который я накануне завел и, как всегда, поставил на стуле возле кровати.

Но я все равно проснулся. Вернее сказать, я не спал с самой полуночи, ожидая своего предстоящего отъезда в Страну Вечных Каникул. Но никто оттуда за мной не приезжал... Просто вдруг промолчал будильник. А потом ко мне подошел папа и строго произнес:

— Немедленно перевернись на другой бок, Петр! И продолжай спать!..

Это сказал папа, который был за «беспощадное трудовое воспитание», который всегда требовал, чтобы я вставал раньше всех и чтобы не мама готовила мне утренний завтрак, а я сам готовил завтрак для себя и для всей нашей семьи.

А потом мама грозно добавила:

— Не вздумай, Петр, пойти в школу. Смотри у меня!

И это сказала мама, которая считала, что «каждый день, проведенный в школе, — крутая ступенька вверх».

Как-то однажды я для интереса подсчитал все дни, про-

веденные мною в школе, начиная с первого класса... Получилось, что по этим маминым ступенькам я забрался уже очень высоко. Так высоко, что мне всё, абсолютно всё должно было быть видно и всё на свете понятно.

Обычно по утрам Валерик, который жил этажом выше, сбегая вниз, трижды торопливо звонил в нашу дверь. Он не дожидался, пока я выйду на лестницу, он продолжал мчаться вниз, а я догонял его уже на улице. В то утро Валерик не позвонил...

Чудеса продолжались.

Все, заколдованные Дедом-Морозом, пытались удержать меня дома, не пустить в школу.

Но как только родители ушли на работу, я вскочил с кровати и заторопился...

«Вот, может быть, выйду сейчас, а у подъезда меня поджидает какое-нибудь сказочное средство передвижения! — мечтал я. — Нет, не ковер-самолет: всюду пишут, что он для новых сказок уже устарел. А какая-нибудь ракета или гоночный автомобиль! И унесут они меня... И все ребята это увидят!»

Но у подъезда стояло только старое грузовое такси, из которого выгружали мебель. Не на нем же мне предстояло унести в сказочную страну!

Я пошел к школе той самой дорогой, по которой мог бы идти зажмурившись... Но я не зажмуривался — я глядел по сторонам во все глаза, ожидая, что вот-вот ко мне подкатит что-нибудь такое, перед чем весь наш городской транспорт просто замрет от изумления.

Вид у меня, вероятно, был очень странный, но никто из ребят ни о чем не спрашивал. Они вообще не замечали меня. И в этом тоже было что-то новое и непонятное. Тем более, что в первый день после зимних каникул все должны были завалить меня своими вопросами: «Ну, сколько раз был на елках? Раз двадцать успел? А сколько ты съел подарков?..»

Но в то утро никто не шутил. «Не узнают они меня, что ли?» — подумал я. На миг мне стало обидно, что они вроде бы отделили меня от себя, — захотелось вместе с ними дойти до школы, войти в класс... Но я уже входил туда много лет подряд, а в Стране Вечных Каникул я еще не был ни разу! И я снова стал оглядываться и прислушиваться:

не шуршит ли шинами, еле касаясь асфальта, гоночный автомобиль? Не спускается ли воздушный корабль, летающий по маршруту «Земля — Страна Вечных Каникул»?

На перекрестке, возле светофора, стояло много разных машин, но среди них не было ни одного гоночного автомобиля и ни одного воздушного корабля...

Мне нужно было пересечь улицу и свернуть в переулок налево.

Я уже шагнул на мостовую, стараясь ступать как можно легче: если меня вдруг подхватит какая-нибудь волшебная сила, пусть ей будет не очень трудно оторвать меня от земли! И вдруг услышал над самым своим ухом свисток. «Ага, предупреждающий сигнал!» — обрадовался я. Обернулся — и увидел милиционера.

Высунувшись по самый пояс из своего «стакана», он кричал:

— Не туда идешь! Заблудился, что ли? Остановка направо!

— Какая остановка?..

Но уже в следующее мгновение я понял, что милиционер — это переодетый в милицейскую форму посланец Деда Мороза. Волшебной палочкой, перевоплотившейся в полосатый жезл, он, конечно, указывал мне будущую остановку или, вернее сказать, посадочную площадку того самого... что должно было прилететь за мной и умчаться в Страну Вечных Каникул.

Я быстро пошел к столбу, возле которого, как у мачты с флагом (полотнище заменял прямоугольный плакатик — «Остановка троллейбуса»), выстроилась довольно-таки длинная очередь.

И прямо тут же, словно еле-еле дождавшись моего прихода, подкатил троллейбус, у которого впереди и на боку вместо номера было написано: «В ремонт». Он был пустой, только в кабине склонился над своей огромной баранкой водитель, и сзади, возле слегка подмороженного окна, подпрыгивала на своем служебном месте, как всегда спиной к тротуару, кондукторша в платке. В те годы людям доверяли не так сильно, как сейчас, и троллейбусов без кондуктора еще не было.

Когда пустой троллейбус остановился и раздвинулись

задние двери-гармошки, кондукторша высунулась и обратилась не к очереди, а лично ко мне (ко мне одному!):

— Садись, дорогой! Добро пожаловать!

Я изумленно отшатнулся в сторону: никогда я еще не слышал, чтобы кондукторша так разговаривала с пассажирами.

— Сейчас не моя очередь,— сказал я.

— А им с тобой не по дороге! — Кондукторша указала на людей, выстроившихся возле столба.— У них другой маршрут.

— Но мне не нужно «в ремонт»...

Конечно, кондукторша эта была не просто кондукторшей, потому что очередь не произнесла ни звука и потому что под ее взглядом я все-таки покорно залез в пустой троллейбус. Двери-гармошки с легким стуком захлопнулись за моей спиной.

— Но ведь он же идет... «в ремонт»,— повторил я, обводя глазами пустой вагон.— А мне — в Страну Вечных Каникул...

— Не тревожься, хороший ты мой!

С доброй кондукторшей, как и с Дедом-Морозом, как и с милиционером, высунувшимся из «стакана», спорить было бесполезно: они знали всё лучше меня!

«Если бы все кондукторши были такими ласковыми, как эта,— думал я,— люди бы просто не вылезали из трамваев и троллейбусов! Так бы и катались целый день по городу!»

У кондукторши на ремне болталась сумка с билетами. Я стал шарить в кармане брюк, где лежали деньги на завтрак.

— Если ты заплатишь и возьмешь билет,— строго предупредила кондукторша,— контролер оштрафует тебя!

Все было наоборот! Все было как в сказке! Или вернее сказать: все было в сказке. В самой настоящей!..

Хоть я отправился в Страну Вечных Каникул не в быстром автомобиле и не на воздушном корабле, но зато бесплатно и один в целом троллейбусе! Я опустился на заднее сиденье, поближе к дверям-гармошкам.

— Тебя не трясет? — заботливо спросила кондукторша.— Ты ведь можешь сидеть где угодно: хоть впереди, хоть на моем кондукторском месте! Для этого тебе и подали отдельный троллейбус!

— Я люблю немного потрястись,— ответил я.— Так приятно подсакивать вверх!..

— Лишь бы тебе это доставляло удовольствие! — сказала кондукторша.

И я остался на своем заднем сиденье: мне было как-то неловко разгуливать по троллейбусу и пересаживаться с места на место.

— Первая остановка — твоя! — предупредила кондукторша.

Пустой троллейбус по-стариковски дергался и трясся, но мне казалось, однако, что все в нем было исправно, и непонятно было, зачем он катил «в ремонт». Вскоре он притормозил, остановился.

— До свидания, милый! — сказала кондукторша.

Я спрыгнул на тротуар. И увидел прямо перед собой Дом культуры медицинских работников. О чудо! На нем тоже висели дощечки со словом «Ремонт». Но не было ни строительных лесов, ни мусора, без которых не может быть никакого настоящего ремонта.

«Должно быть, это просто такой пароль»,— решил я. И когда навстречу мне из дверей Дома культуры неожиданно выскочил массовик дядя Гоша, я коротко и таинственно произнес:

— Ремонт!

— Что-что? — переспросил дядя Гоша.— Не понимаю...

Дядю Гошу я знал давно: он выступал на многих елках. И мы с ребятами наградили его непривычным прозвищем из целых двух слов: «Давайте поприветствуем!» У него было вечно сияющее лицо, вечно радостный голос, и мне казалось, что в жизни у него вообще не может быть никаких горестей, печалей и бед.

Хоть сейчас дядя Гоша появился на улице без пальто и шапки, голос его был все так же весел и бодр:

— Пожалуйста в Страну Вечных Каникул!

И я вошел в просторный вестибюль Дома культуры — туда, где еще накануне собирались сотни нарядных ребят, пришедших на Елку. Сейчас я был в сверкающем, раскрашенном гирляндами и флажками вестибюле один-одинешенек. А на лестнице, как и вчера, стояли лисы, зайцы, медведи и целый духовой оркестр.

— Давайте поприветствуем юного каникуляра! — воскликнул дядя Гоша.

— Кого?! — не понял я.

— Юные жители Страны Вечных Каникул называются каникулярами и каникулярками, — объяснил дядя Гоша.

— А где же они — каникуляры и каникулярки?

— Никого нет... Все население на данном этапе состоит из тебя одного!

— А где эти... которые были вчера? Ну, юные зрители? Дядя Гоша виновато развел руками:

— Все в школе. Учатся... — И он снова воскликнул: — Давайте поприветствуем нашего единственного юного каникуляра!

Оркестр грянул торжественный марш, хоть я был одним-единственным зрителем, пришедшим на праздник. Марш гремел гораздо громче, чем накануне, потому что звуки его разносились по совершенно пустому вестибюлю.

А потом с белокаменной лестницы навстречу мне ринулись звери. Вернее сказать, артисты... Только переодетые.

Я обомлел. Это было уж слишком. Это было чересчур даже для сказки.

ЧЕМПИОН, РЕКОРДСМЕН, ПОБЕДИТЕЛЬ!

Но, впрочем, я тут же оправился от смущения. В ту пору я вообще редко смущался и всегда очень быстро приходил в себя.

Ликующий голос массовика дяди Гоши помог мне овладеть собой. Накануне я попросил Деда-Мороза: «Пусть всегда будет Елка!» — и массовик вел утренник по той же самой программе, что и вчера, не меняя ни слова. Поэтому ко мне он обращался во множественном числе: «Сейчас вы, друзья, подниметесь в большой зал!» И я поднимался. «Сейчас вы, друзья, посмотрите акробатический номер!» И я смотрел.

Я был горд тем, что меня называют так уважительно: «Вы, друзья!» Мне очень хотелось, чтобы рядом очутился Валерик и услышал, с каким почтением обращается ко мне сам главный помощник Деда-Мороза. Но потом я сообразил,

что, если бы Валерик очутился рядом, тогда в обращении «Вы, друзья!» уже не было бы ничего удивительного: ведь нас и в самом деле было бы двое!

Дядя Гоша был мастером своего дела: обращался ко мне в прозе и стихах, которые сочинял сам. Последнюю стихотворную строку он обычно не дочитывал до конца — он таинственно умолкал, чтобы рифму угадали юные зрители.

В то утро дядя Гоша воскликнул:

Ну, а сейчас с огромным чувством
Мы познакомимся с...

— Искусством! — угадал я.

— Хорошо, хорошо! Тоже будешь поэтом! — похвалил меня дядя Гоша.

И сразу начался концерт... Мне казалось, что песен и танцев в то утро было гораздо больше, чем накануне, потому что раньше они как бы распределялись на сотни юных зрителей, а в то утро доставались мне одному. И я был в полном восторге!

«Все ребята сейчас сидят в классе, — радовался я, — зубрят, потеют у доски. А я — снова на Елочном празднике, как их полномочный представитель, или, сокращенно говоря, полпред!»

Для меня одного пели певцы, и аккомпанировали аккомпаниаторы, и танцевали танцоры. Потом артисты кланялись (тоже мне одному!) и ждали, пока я аплодисментами попрошу их исполнить что-нибудь еще. Но я хлопать не торопился... Я на несколько мгновений задумывался, как бы размышляя над увиденным и услышанным, а затем уже аплодировал. Разным артистам я хлопал по-разному — одним погромче, другим потише, чтобы все видели, что у меня есть свой вкус и свои взгляды на искусство.

Потом дядя Гоша вновь перешел на стихи:

Ну, а сейчас с большим задором
Все будем петь!
Что значит...

— Хором! — подхватил я.

И мне действительно пришлось петь, потому что это входило в программу утренника. На несколько минут я даже

пожалел, что со мной рядом не было, как вчера, других школьников и школьниц, потому что петь «хором» одному очень трудно. Особенно, если у человека такой ужасный слух, как у меня. Накануне голоса ребят как бы заслоняли собой мой голос, но в то утро заслонять было некому...

И я запел. Песня была очень длинной, и я не мог остановиться посредине, потому что мне аккомпанировал целый оркестр. Все шло по вчерашней программе, и поэтому, когда я, наконец, закрыл рот, зайцы, медведи и лисы захлопали мне очень громко, как и полагалось.

А массовик опять перешел на рифмы:

Собирайся, весь народ,
Собирайся в...

— Хоровод! — угадал я.

И один пошел «хороводом» вокруг елки. Это тоже было не очень приятно, но все же легче, чем петь.

Зато потом грянул туш, и появился Дед-Мороз в окружении своей свиты. Впереди на легких серебристых роликах кружилась Снегурочка. Она подкатила прямо ко мне, и я взволнованно вскочил со своего стула, потому что она была внучкой Деда-Мороза, а внучка волшебника, конечно, и сама тоже хоть немного волшебница.

— Дедушка поручил мне оформлять прописку в Стране Вечных Каникул. Но до сих пор я была без всякой работы: прописывать было некого! — сказала она. — У тебя есть паспорт?

Она спросила это так деловито, словно была паспортисткой из нашего домоуправления.

— Пока еще нету... — ответил я.

— Тогда мне некуда поставить штамп о прописке, — сказала она.

— Меня при рождении, кажется, вписали в мамин паспорт, — тихо сообщил я.

— Но там я не могу поставить свой штамп, — возразила Снегурочка, — ведь твоя мама не выразила желания быть жительницей Страны Вечных Каникул. Ты — первый каникуляр в вашей семье, и во всей вашей школе, и во всем вашем городе...

— А как же тогда быть? — пробормотал я.

— Ничего! Считай, что ты все равно прописан. Мы отметим это в твоём пригласительном билете. Билет-то хоть у тебя есть?

Я протянул свой измятый и замусоленный вчерашний билет, где был уже оторван корешок с заветным словом: «Подарок». Снегурочка повертела билет в руках, что-то пошептала, на миг крепко зажала его между ладонями и вернула мне. Я взглянул на билет — и увидел новое чудо: билет стал новеньким, даже вновь запа́х типографской краской. Корешок с «Подарком» опять был на своем месте, а наверху красовался прямоугольный штамп, на котором было написано: «Прописан постоянно. По адресу: Страна Вечных Каникул».

— В конце утренника дай билет на подпись Деду-Морозу, — сказала Снегурочка. — Без его подписи недействительно.

И Снегурочка-паспортистка умчалась на своих легких серебристых роликах.

Дед-Мороз, как и накануне, встал в центре зала с секундомером, будто судья на стадионе, и объявил соревнования «Кто всех быстрее? Кто всех ловчее? Кто всех умнее?».

Снова ко мне подвели под уздцы «старого, но боевого коня» — облезлый зеленый велосипед (должно быть, дядя Гоша возил его с Елки на Елку), я опять взобрался на кожаное седло и нажал на педали. Но на этот раз я не очень торопился — мне было ясно, что я все равно буду «всех быстрее», потому что соревновался я сам с собой.

Я ехал счастливый, заранее видя себя двукратным велосипедным чемпионом медицинской Елки. «Как это здорово: быть абсолютно уверенным в своей победе! — думал я, от удовольствия совсем уже замедляя ход. — Никто не может меня догнать и обойти!»

О спортсменах-гонщиках в газетах часто пишут примерно так: «У них не оставалось времени ни для каких мыслей, кроме одной: «К финишу! Скорей к финишу!..» А у меня для мыслей времени было вполне достаточно. И я размышлял о том, какие призы вручит мне Дед-Мороз за то, что я бесспорно окажусь «всех быстрее, всех ловчее и всех умнее». И еще я думал: «Ведь праздник идет точно так, как вчера... Может, и подарков в конце принесут столько же? А получать буду я один!»

Размечтавшись, я подъехал к финишу на самой медленной скорости. Сразу же было объявлено, что я «быстрее всех», и мне был вручен победный приз. Конечно, не такой, как накануне. Самый необычайный приз может быть вручен только один раз, иначе он не был бы «самым необычайным».

На этот раз Дед-Мороз вручил мне красивый бумажный пакет, раскрашенный в красный и зеленый цвета. Я заглянул внутрь — и с радостью увидел, что в пакете мои любимые белые и розовые брусочки пастилы, шоколадная медаль в золотой обертке и мятные пряники.

Я успел засунуть в рот одну конфету, откусить кусочек сладкой коричневой медали и ощутить во рту охлаждающий, словно зубной порошок, вкус мяты: в конце концов, спортсмен должен подкрепить свои силы после одного ответственного состязания и накануне другого!

— Кто всех ловчее?! — провозгласил Дед-Мороз.

И я вышел вперед, готовый вновь ринуться в соревнование с самим собой!

Нужно было запомнить; где дядя Гоша расставил три металлических кольца, и потом с завязанными глазами пролезть или прыгнуть сквозь кольца, как через тоннель, не задев их и не стронув с места.

Дядя Гоша очень любил, чтобы юные зрители закрывали или завязывали глаза: в эти-то минуты он и совершал все самое загадочное и чудесное. «Вы видите: я — в черной куртке! — восклицал дядя Гоша. — Теперь закройте глаза! Откройте!.. Я — уже в желтой!.. Закройте глаза! — командовал он. — Теперь быстро откройте! Вот и зажглась наша лесная красавица!»

Мальчишки редко подчинялись дяде Гоше или закрывали только один глаз. Поэтому они видели, что массовик просто сбрасывал одну куртку, под которой была другая. Но зато они улавливали и тот, в самом деле прекрасный, миг, когда заливалась огнями елка, будто кто-то высыпал на нее сверху горсть драгоценных камней. А девочки, всегда более исполнительные, по команде дяди Гоши аккуратно моргали ресницами, словно куклы с закрывающимися и открывающимися глазами.

Я пристально, чтобы хорошенько запомнить, посмотрел, где дядя Гоша расставлял металлические кольца. Мне завязали глаза носовым платком... Я стремительно прыгнул —

и ничего не задел. Но оказалось, что я прыгнул мимо кольца. Второе кольцо повисло у меня на шее. А через третье я пролез как полагалось: не задев и не стронув с места. Таким образом, я набрал одно очко из трех возможных. И тут же на весь Дом медицинских работников торжественно объявили, что я «всех ловчее».

Дед-Мороз вручил мне еще приз: пергаментный конверт, раскрашенный в голубой и оранжевый цвета. Я заглянул внутрь и увидел, что там — белые и розовые прямоугольнички пастилы, шоколадная медаль в серебряной обертке и медовые пряники.

Я еще немного закусил перед третьим, самым ответственным состязанием «Кто всех умнее?».

Говорят: «Один ум хорошо, а два — лучше!» Но в то утро мне было очень приятно, что мой ум один-одинешенек участвовал в соревновании: победа ему, таким образом, была обеспечена!

Нужно было отгадать три загадки... Дядя Гоша, обвязав свою блестящую лысину чалмой на манер восточного факира, скрестил руки на груди и произнес:

— Два кольца, два конца, а посередине — гвоздик!

И хотя разгадка была хорошо известна мне еще в детском саду, я ответил не сразу. Сперва я погрузился в глубокую задумчивость, потом потер немного ладонями виски — и, наконец, не вполне уверенно ответил:

— Кажется, ножницы...

Дядя Гоша вновь скрестил руки на груди и закатил глаза к потолку, увитому гирляндами и хвоей.

— Без окон, без дверей — полна горница людей!

Я снова наморщил лоб, опять потер ладонями виски и тем же неуверенным голосом сказал:

— По-моему, огурец...

Вообще-то говоря, первые две загадки дядя Гоша всегда задавал дошколятам. Но так как он не менял в своей вчерашней программе ни единого слова, а я как бы представлял в этот день в зале школьников всех возрастов, то мне за мои ответы были засчитаны сразу два очка.

Третья загадка была потруднее и не такая известная — ее дядя Гоша обычно задавал ребятам постарше. Но тут уж мой ум жил, как говорится, «чужим умом»: ответ я запомнил еще накануне. И повторил его...

Но тоже, конечно, не сразу, а глубоко поразмыслив и потерев виски ладонями.

Мне был вручен третий приз: целлофановый пакет, крашенный в коричневый и синий цвета. Я даже не стал заглядывать внутрь, я уже заранее знал, что там пастила, шоколадная медаль и пряники...

Таким образом, я стал абсолютным чемпионом: победил во всех трех соревнованиях! Зайцы, лисы и медведи танцевали вокруг меня, воспевали мои достижения и протягивали свои лапы для крепкого, дружеского «лапопожатия».

Но потом все расступились: ко мне своей степенной дед-морозовской походкой подошел Дед-Мороз.

В руках у него был мешок, из которого он всегда в конце праздника доставал самые желанные для ребят, самые заветные новогодние подарки. Мне только казалось немного странным, что он, волшебник и чародей, одновременно, как какой-нибудь контролер у входа, отрывал от билета корешок со словом «Подарок».

«Отдал бы мне весь мешок сразу! — подумал я. — Ведь, кроме меня, дарить подарки здесь абсолютно некому».

И хоть я с трудом удерживал в руках три пакета со своими призами, но как-то, сам того не замечая, потянулся еще и к мешку.

— Нет, — остановил меня Дед-Мороз, — призы ты уже получил... А подарок я могу дать тебе только один: бухгалтерия выписывает подарки по числу зрителей. И тут даже волшебная сила бессильна! В бухгалтерские дела и расчеты мы, честные волшебники, не вмешиваемся. Так что, хоть ты и заменял сегодня целый зрительный зал, получай всего-навсего одну коробку.

Я взял жестяную коробку, мельком заглянул в нее. Так и есть: пастила, шоколадная медаль и тульские пряники. Сбывались мои самые заветные желания и мечты!

Я протянул Деду-Морозу пригласительный билет, чтоб он, как всегда, оторвал корешок со словом «Подарок». Он оторвал. Потом положил билет на одну рукавицу, накрыл сверху другой, на миг крепко зажал его между рукавицами — и корешки со словами «Подарок» и «Контроль» снова оказались на своих местах, будто никто их и не отрывал.

— Это чтобы ты завтра снова мог прийти сюда и опять получить свой подарок,— объяснил Дед-Мороз.

— И сколько еще раз будут эти утренники? — спросил я.

— О, сколько захочешь! Ведь ты прописан в Стране Вечных Каникул навечно! А если пожелаешь развлекаться как-нибудь еще — только обратись, только сообщи, и твое желание будет исполнено! Слово каникуляра для нас — закон.

— Но куда же я обращусь?

— В старых сказках обращались к разным неодушевленным предметам, которые назывались талисманами. Или, например, брали в руки зеркальце и просили его: «Ты мне, зеркальце, скажи да всю правду доложи!..» Этот способ давно устарел. Теперь для получения заявок на исполнение желаний мы, волшебники, используем новейшие средства связи. Лучше всего — телефон. Наберешь две двойки — и сразу ответит «Стол заказов»...

Я поморщился:

— Станный немного... телефонный номер. Одна двойка — и то как-то неприятно, а тут целых две!

— О, ты неправ! — воскликнул Дед-Мороз. — Мы специально подобрали именно такой номер: чтобы он был привычен и близок сердцу каникуляра. Наберешь — и сразу ответит «Стол заказов»!

— Как в магазине?

— О нет, это совсем другое дело. Там принимают заказы на продукты, а тут на исполнение желаний. Так что звони, не стесняйся! Но только по поводу развлечений... Других желаний мы выполнять не можем. А отвечать тебе будет Снегурочка. Она заведует этим «Столom».

— Но ведь она — паспортистка...

— А там работает по совместительству. Страна Вечных Каникул была в вынужденном простое... Из-за отсутствия каникуляров. И у нас произвели сокращение штатов. Теперь благодаря тебе мы опять заработали! Подавай заявки на любые развлечения... Будем удовлетворять!

— А как же школа? — спросил я.

— О, об этом ты не волнуйся, — авторитетно заверил меня Дед-Мороз. — Учителя будут только довольны.

— А папа с мамой?

— И они тоже!

Я, конечно, не мог усомниться в его словах: ведь он уже

на деле доказал мне, что может запросто совершать чудеса!

«Как это замечательно! — размышлял я. — Если пожелаю, каждый день буду веселиться, получать призы и подарки! Ходить куда захочу и смотреть что захочу!..»

— Значит, Страна Вечных Каникул не только здесь, не только в этом доме? — на всякий случай еще раз решил удостовериться я.

— Нет, здесь только столица этого государства. Она называется Докмераб, что в расшифрованном виде обозначает: Дом культуры медицинских работников. Запомни на всякий случай: Докмераб! А сама Страна Вечных Каникул отныне будет для тебя всюду: и дома и на улице...

— И во дворе?

— Во дворе тоже!

И я отправился во двор. Я шел по улице, жуя попеременно то пастилу, то шоколад, то пряник. Я был горд тем, что стал единственным в нашем городе каникуляром. И что теперь, если захочу, каждый день буду «всех быстрее» и «всех ловчее». Но главное — «всех умнее»! Хорошо было бы, конечно, чтобы это заметили мама и папа. И все мои приятели тоже. И Валерик... Ведь когда наших успехов никто не замечает, это очень обидно. Тем более, что самому рассказывать о них как-то неловко.

Я шел во двор, чувствуя себя чемпионом, рекордсменом и победителем!

ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ КАНИКУЛЯРА

У нас был большой двор. Конечно, он остался таким и сейчас, но я теперь старше — и то, что в детстве казалось мне огромным, стало большим, а то, что казалось большим, стало немалым.

В доме у нас всегда была «комиссия по работе среди детей». Председателем ее был сам управдом. Комиссия заботилась о нас: устраивала разные экскурсии и даже путешествия на пароходе. А еще она любила заседать и издавать распоряжения, которые тут же расклеивались на столбах: «Категорически запрещается звонить в чужие квартиры и убегать, не дождавшись, пока откроют!», «Запрещается становиться ногами на скамейки, где люди

должны сидеть!», «Запрещается переговариваться друг с другом через двор в форме крика: это мешает жильцам отдыхать!»

Валерик не входил в «комиссию по работе», но он придумал устроить во дворе крокетную площадку и футбольное поле, которое зимой становилось хоккейным.

Валеры давно нет... А то футбольное поле есть и сейчас. И крокетная площадка есть. И в красном уголке по-прежнему показывает спектакли наш теневой театр, который открыл свой первый сезон еще тогда, много лет назад, пьесой Валерика «Ах вы, тени, мои тени!».

Управдом называл Валерика «фантазером», и это слово звучало в его устах осуждающе. А он и правда был фантазером. В пионерлагере по вечерам, когда, согласно распорядку, уже должен был наступить глубокий сон, он рассказывал нам страшные истории «с продолжением». Это были сюжеты фильмов и книг, которых мы с ребятами не видели и не читали. Валерик всегда обрывал на самом интересном месте, и мы на следующий день просто не могли дождаться вечернего лагерного отбоя. От страха я с головой зарывался под одеяло и слушал оттуда, сквозь узкую щелочку.

А потом как-то Валерик признался мне, что никаких таких фильмов он тоже не видел и книг не читал, а просто все придумывал сам, чтобы нам не было скучно.

Помню, «комиссия по работе» приобрела для ребят бильярд, который установили в красном уголке, а рядом на стене повесили объявление: «Сукно не рвать! Киями не драться! Металлическими шарами друг в друга не кидать!» Все стали сражаться за звание лучшего бильярдиста. И тогда однажды Валерик сказал:

— Знаете, как называют теннисиста-чемпиона? «Первой ракеткой»! А лучшего боксера? «Первой перчаткой». У нас во дворе теперь есть хоккей, футбол, бильярд и крокет... Давайте установим почетные звания: «Первая клюшка», «Первая бутса», «Первый кий», «Первый молоток»! И будем бороться за эти звания.

Мы стали бороться!

Я умел играть только в крокет. Так получилось, что на даче, где я несколько лет подряд жил летом, все очень увлекались крокетом. И я тоже, не разгибаясь по целым дням, гонял молотком большие деревянные шары. Ни у кого из

моих соседей по дому не было такого богатого крокетного опыта — и я вскоре завоевал почетное звание «Первого молотка».

Но мне, конечно, очень хотелось стать одновременно «Первой клюшкой», «Первой бутсой» и «Первым кием»! Я пытался участвовать во всех матчах и состязаниях, но меня не принимали.

— Норовишь проскочить через все дужки сразу! Хватит с тебя одного крокета. Совершенствуйся! — говорил мне самый длинный парень во дворе — Жора, у которого было целых два почетных звания: «Первая клюшка» и «Жора, достань воробушка!».

Жора был лучшим спортсменом у нас во дворе: спорить с ним я не решался. Но в тот день и во дворе тоже произошло чудо!

Когда я появился со своими пакетами и жестяной коробкой, все ребята бросились мне навстречу так, будто только меня и ждали.

— Хотите? — протянул я им свои призы и подарок.

— Что ты, Петенька? Что ты? — в ужасе шарахнулись от меня ребята. — Все это должен съесть ты сам. Только ты! И больше никто! Вдруг тебе самому не хватит? Подумать страшно!

Чтобы мои друзья-приятели отказывались от пряников и конфет? Такого еще не бывало! И почему они называют меня Петенькой? Всю жизнь звали Петькой, а тут... Конечно, все они были крепко-накрепко, просто наповал, заколдованы Дедом-Морозом.

— Очень хорошо, что ты пришел, — ласково сказал Жора. В обычные дни он вообще не замечал, есть я во дворе или меня там нету. — Пойди в красный уголок и поскорей переоденься, — продолжал он. — Ты будешь у нас вратарем.

Я? Вратарем? Да меня раньше и болельщиком-то не признавали — Жора говорил, что у меня нет еще ярко выраженных симпатий: то я болел за первый корпус нашего дома, то за второй, а чаще всего за тех, кто выигрывал. И вдруг: вратарем! Я вопросительно взглянул на Валерика: уж он-то не станет меня разыгрывать. Бледное лицо Валерика на холоде побелело еще сильнее.

— Видишь, я совсем замерз, ожидая тебя...

Тут уж я не мог сомневаться!

«Ага! Узнали силу Деда-Мороза? — мысленно возликовал я. — Он вас еще и не то заставит сделать! Вы еще меня капитаном своим изберете, а может быть, и тренером!..»

Я сделал вид, что ничуть не удивился Жориным словам: приглашение в команду мастеров первого корпуса я принял как должное. И не спеша отправился в красный уголок. Там меня поджидали самодельные наколенники из старой стеганки, которые Валерик и Жора смастерили для того, чтобы вратарь не расшибал себе коленки. На скамейке лежали клюшка и свитер с цифрой «1» на груди — это значило, что я буду защищать хоккейную честь первого корпуса.

Потом профессиональной спортивной походочкой, которую я перенял у Жоры, я вышел во двор и встал у заветных ворот. Валерик, как самый справедливый во всех трех корпусах нашего дома, был судьей. Да, его все уважали... Жора мог «достать воробушка», а Валерик едва доставал Жоре до плеча, но, когда они разговаривали, Валерка не тянулся на цыпочках вверх, а, наоборот, длинный Жора всегда наклонялся, чтобы моему маленькому и худенькому другу было удобней его слушать.

Валерик дал свисток — и игра началась.

Я бы не сказал, что она, как пишут в спортивных обозрениях, «шла с переменным успехом». Нет, даже переменного успеха у нашей команды не было, потому что за два тайма я пропустил в ворота максимально возможное количество шайб. И еще две шайбы загнал в свои ворота сам.

Но моя команда меня не ругала. Наоборот, все старались доказать, что я ровным счетом ни в чем не виноват. И все меня успокаивали, словно я был каким-то нервнобольным.

— Не расстраивайся! — говорил Жора. — Первый блин комом, а первый матч — голом!

Я представлял себе, что бы сказал мне Жора, если б за его спиной не маячила незримо борода моего покровителя Деда-Мороза.

— Не огорчайся! — утешал меня Мишка Парфенов, который тоже жил в нашем доме. — Ну, что для тебя сделать? Хочешь, я скажу тебе, сколько сейчас времени?..

Я подошел к Валерику и спросил:

— Ужасно, да? Ты меня презираешь?

— Почему же? — ответил Валерик. — Ты ведь давно хо-

тел поиграть в хоккей. И не как-нибудь, а в сборной команде. Вот ребята и доставили тебе удовольствие. Как говорят, исполнение желаний!

Я видел, как прыгала от счастья команда второго корпуса.

«Ну ничего, недолго вам прыгать! — думал я, повторяя про себя номер «Стола заказов». — Вот сейчас приду домой, наберу две двойки — и ни одна шайба больше никогда не залетит ко мне в ворота!..»

Мишка Парфенов предложил:

— Хочешь сыграть на бильярде? Сейчас как раз моя очередь. Я тебе уступаю!

— Нет... я уже наигрался...

Дед-Мороз продолжал действовать: развлечения наступали на меня со всех сторон.

Даже Мишка Парфенов, довольно-таки жадный и завистливый паренек, который и на пять минут не давал никому поносить на руке свой знаменитый «будильник», — даже Мишка уступал мне сейчас очередь.

— Слушай, Мишка, а учительница заметила, что меня сегодня не было в школе? — спросил, предварительно оглядевшись по сторонам. — Или не заметила?

— Ну как же! Заметила!.. И знаешь, что нам сказала?

— Что я прогуливаю!

— Нет...

— А что же?

— Она сказала, что ты отсутствуешь по вполне уважительной причине!

— По уважительной?

— Ну да. Она сказала, что ты проходишь «курс лечения».

— Как? Как?!

— Курс лечения! Что-то она, наверно, перепутала.

Мишкино сообщение так поразило меня, что я сразу пошел в красный уголок переодеваться. «Почему курс лечения? — недоумевал я. — Какой же такой курс лечения? А может быть, Дед-Мороз внушил ей, что я тяжело болен?»

Я стянул с себя свитер с цифрой «1» на груди, накинул на плечи пальто и задумчиво поплелся домой.

Уже в парадном, на лестнице, меня догнал Мишка Парфенов:

— Ты забыл, Петя... там, в красном уголке...

И он вновь нагрузил меня тремя моими пакетами и жестяной коробкой.

— Хочешь шоколадку? — ласково спросил я у Мишки.

— Что ты, Петя! Тебе самому не хватит!

Дед-Мороз был на страже моих интересов! И я уверенно зашагал по лестнице, радостно размышляя: «Все ребята сейчас пойдут делать уроки, а я буду делать, что захочу: мои каникулы продолжаются. Позвоню вот сейчас Снегурочке!..»

И позвонил.

— «Стол заказов»! — ответила мне Снегурочка.

— Я бы очень хотел стать лучшим вратарем у нас во дворе...

— Принимаем заказы только на развлечения. Игре в футбол не обучаем!

— А в хоккее?

— И в хоккее тоже.

— А справки вы даете?

— Какие?

— Я бы вот очень хотел узнать... Почему наша учительница сказала, что я прохожу курс лечения?

— Твоя бывшая учительница просто оговорилась...

«Бывшая? — удивился я. — Ах, да! Я же навек распрощался со школой!..»

— Она хотела сказать: курс развлечения, — продолжала Снегурочка, — а случайно сказала: курс лечения. Вот и всё. Заявок на развлечения нету?

— Нету... — ответил я. И повесил трубку.

То, что я не хотел развлекаться, видимо, огорчило моего покровителя Деда-Мороза, и он решил доставить мне удовольствие сам, по собственной инициативе, чтобы я позабыл о своих хоккейных неприятностях.

Правда, преподнесен был подарок волшебника в несколько необычной форме — папа торжественно усадил меня на диван и сказал:

— Слушай! Мама сообщит тебе от нашего общего имени нечто очень и очень важное.

— Безобразие! — начала мама. — Ты не съел еще всех пряников и конфет?! Чтобы навести порядок в этом деле, мы решили, что я не буду отныне готовить завтраки, обеды

и ужины: нельзя отвлекать тебя от основной пищи! — Она указала на мои пакеты. — Нельзя портить тебе аппетит! Мы с папой будем питаться в столовой или в кафе, которое у нас на первом этаже. А для тебя мы разработали особое меню. Я отпечатала его у себя на работе на пишущей машинке... Слушай внимательно! На завтрак у тебя теперь будут мятные пряники с кофе. Обед будет, конечно, из трех блюд: на первое — пастила, на второе — тульские пряники, а на третье — медальки из шоколада. На ужин — медовые пряники с чаем!.. И не вздумай нарушить или хоть чуть-чуть изменить это меню! Слышишь, Петр?

И тут я понял, что ни один волшебник на всем белом свете не сможет сделать так, чтобы я повелевал своими родителями, — всегда и всюду они будут командовать мной. «Но пусть их команды и повеления всегда будут такими, как сейчас», — мечтал я.

Все шло прекрасно! «Буду есть, что захочу! — торжествовал я. — Буду ходить, куда захочу!» На радостях мне вдруг очень захотелось пойти в цирк, и я снова набрал две двойки.

— Заказ принят! — ответила внучка Деда-Мороза. — Номер заказа: один дробь семь. Приняла и оформила Снегурочка.

СЕГОДНЯ В ЦИРК ВЫ ПРИШЛИ НЕ ЗРЯ!..

Я уже привык поздно вставать. Сквозь сон я слышал, как мама упрекала папу:

— Топаешь своими ножищами! А он не должен слышать, что мы так рано поднимаемся: нельзя подавать ему дурных примеров!

Папа снимал ботинки и ходил по комнате в носках и на цыпочках.

Будильник в нашем доме по приказу мамы онемел и просто молча показывал время, как самые обыкновенные безголосые часы.

Но в то утро мама сама разбудила меня.

— Петр, — шепотом сказала мама, — ты окончательно не просыпайся: тебе еще спать да спать! Но я не могу уйти на работу, не предупредив тебя о том, что в цирке бывает

несколько представлений в день... Если понравится, можешь остаться и на второе и на третье.

Когда Дед-Мороз успел сообщить маме, что я собираюсь в цирк? И почему она не спрашивает, на какие деньги я туда пойду? И не волнуется, как я туда доберусь, хотя цирк находится совсем в другом конце города?

Никто, конечно, не смог бы ответить мне на эти вопросы. Да и вообще, когда дело касается сказки, лишних вопросов лучше не задавать.

Днем, выйдя на улицу, я не успел даже подумать, на чем бы мне добраться до цирка...

Я не успел об этом подумать, потому что прямо к подъезду подкатил тот самый пустой троллейбус с дощечкой «В ремонт» на заднем стекле.

В нашем доме, на третьем этаже, жил один большой начальник, директор завода. За ним каждый день приезжала машина, которую в доме называли «персональной». Это слово почему-то произносили негромко, вполголоса. Тот легковой автомобиль марки «эмка», высокий и прямой, точно карета с мотором, сейчас не пустили бы на центральные улицы нашего города, как не пустили бы какую-нибудь старую телегу. Но в то время «эмка» казалась мне роскошным автомобилем. Иногда большой начальник катал ребят в своей персональной машине: взрослых людей в ней, кроме шофера, помещалось не больше четырех, а нас, ребят, набивалось по семь или даже по восемь человек. Ну, а в моем персональном троллейбусе могли бы уместиться десятки пассажиров, но ехал я в нем один-одинешенек.

Мне очень хотелось, чтобы ребята или хотя бы взрослые соседи увидели, как я сажусь в свой персональный троллейбус. Но уж так всегда получается: если хочешь, чтоб тебя увидели, то как раз в эту минуту рядом никого не оказывается. Только один незнакомый пешеход сказал другому:

— Посмотри-ка, здесь теперь остановка троллейбуса!

Я повернулся и гордо сообщил:

— Здесь нет остановки. Это за мной приехали!..

И поднялся по ступенькам навстречу той же самой приветливой кондукторше.

Как и в первый раз, кондукторша стала предлагать мне:

— А не пересядешь ли лучше вперед, поближе к водителю? Там меньше трясет. А не перейдешь ли ты лучше

на другую сторону? Там солнце не бьет в глаза. А может быть, ты хочешь посидеть на моем, на кондукторском месте?

Я уже не стеснялся доброй кондукторши. К тому же путь был более долгим, чем в первый раз, и я успел прогуляться по всему троллейбусу: посидел возле кабины шофера, и на кондукторском месте, спиной к окну, и под белой табличкой: «Для пассажиров с детьми и инвалидов». А троллейбус катил вперед без всяких остановок, и даже светофоры светили ему всюду своим самым нижним, зеленым, глазом: наверно, Дед-Мороз считал, что на моем пути к развлечениям не должно быть никаких препятствий. Никаких!..

— До скорой встречи, — прощаясь, сказала кондукторша.

«Ага, значит, она приедет сюда за мной после представления», — сообразил я. Спрыгнул на тротуар, побежал к цирку и тут услышал за спиной голос какого-то гражданина:

— Когда это здесь пустили троллейбус?

— Не знаю, — ответил другой. — Должно быть, провели провода и пустили.

— В том-то и дело, что никаких проводов нету! Посмотрите-ка вверх! Посмотрите!

На тротуаре уже собрались любопытные. Я вместе с ними задрал голову вверх: никаких проводов действительно не было.

— А теперь взгляните туда, взгляните! — не успокаивался все тот же гражданин.

Я вместе с другими повернулся в ту сторону, куда он изумленно тыкал пальцем, — и увидел вдали свой персональный троллейбус, длинные «усы» которого свободно болтались, словно плясали в воздухе над крышей.

— Никогда не видел ничего подобного, — протирая глаза, сказал какой-то старичок. — Чтобы троллейбус ездил без проводов, как автобус...

— И не грузовой троллейбус (тот и без проводов может, на одном моторе), а самый обыкновенный, пассажирский... Не-во-о-бра-зи-мо! — медленно произнес гражданин в шляпе. И надел на нос очки, чтобы лучше разглядеть это чудо.

«И не то еще увидите, если я захочу вас удивить! Стоит только мне зайти хотя бы вон в ту автоматную будку,

набрать две двойки и попросить Деда-Мороза...» С этими мыслями, счастливый и гордый, я покинул прохожих, не привыкших вот так запросто, прямо на тротуаре, встречаться со сказкой.

По вечерам здание цирка выглядело наряднее, чем в дневное время: вечером фамилии акробатов, укротителей и клоунов были написаны разноцветными огнями. А сейчас, днем, кое-какие фамилии даже трудно было разобрать: утром на буквах налипли снежинки, а потом потеплело — и буквы вытянулись, потекли вниз. Но я все же сумел прочитывать, что в представлении участвует знаменитый клоун-богатырь.

Остальные фамилии я прочитать не успел, потому что на меня наскочила какая-то дама, державшая за руку маленькую девочку:

— У тебя нет лишнего билета?

— У меня нету... — ответил я.

Маленькая девочка, которая совсем уже приготовилась попасть в цирк (я видел это по ее празднично заплетенным косичкам), скривила губы, еле-еле удерживаясь от плача. И меня тоже стала тревожить мысль: «Как же пройти мимо контролеров туда, где скоро загремит музыка, и забегают по арене светящиеся круги, и будет показывать свои номера знаменитый клоун-богатырь? Тут ведь не Докмераб, не столица Страны Вечных Каникул. И дядя Гоша не встречает меня у входа...»

Так думал я, потихоньку, боязливо приближаясь к тому месту, где широкий поток зрителей словно бы входил в искусственный шлюз — в узкий проход, по обеим сторонам которого стояли контролерши в форменных костюмах с серебряными полосками на рукавах. Неужели Дед-Мороз забыл обо мне?..

Когда до опасного шлюза оставалось всего несколько шагов, я услышал осторожный шепот:

— Вниз, направо, вторая дверь... Не оглядывайся! Мы с тобой не знакомы!

Выбравшись из общего потока, я все-таки обернулся и увидел того человека, который шепнул мне на ухо: «Вниз, направо, вторая дверь...» Он тоже был в форменном костюме с серебряной полоской на рукаве и, стало быть, тоже работал в цирке. Но ведь он, значит, мог бы просто так, без

билета пропустить меня в зал! И почему я не должен смотреть в его сторону? Почему должен подчеркнуть, что мы не знакомы?

«Вниз, направо, вторая дверь!» — повторил я про себя. Вниз?.. Может быть, Дед-Мороз хочет, чтобы я проник в здание цирка подземным ходом? Но на той самой второй двери справа не было написано «Подземный ход», а было написано «Служебный вход».

Я вошел... И ко мне сразу кинулось трое или четверо людей в форменных костюмах с серебряными полосками.

— Никто не видел, как ты сюда зашел? Никто не слышал, как тебя сюда послали?

— Никто, — ответил я. — А что такого особенного, если бы кто-нибудь и услышал?

— Это невозможно! — раздался громовой голос. — Тогда бы все погибло.

— Что погибло? — тихо спросил я, отступая назад перед огромным человеком в ярком и нелепом клоунском костюме. — Что бы тогда погибло?

Тогда бы весь мой номер
Сегодня в зале помер!..

Эти стихи почему-то очень напомнили мне стихи дяди Гоши.

— Нет, никто ничего не видел, — тихо сообщил я.

Тогда все будет гладко:
Ведь ты — моя «подсадка»!

Дядя Гоша декламировал только во время представлений, а этот знаменитый клоун-богатырь (конечно же, это был он!) все время разговаривал в рифму. «Наверно, не все люди, которые пишут и даже говорят стихами, называются поэтами», — неожиданно подумал я.

У клоуна-богатыря было свирепое лицо: насупленные брови, огненно-красные щеки, которые напоминали две раскрашенные тыквы, глаза состояли из одних только круглых черных зрачков, а белков совсем не было. Но это была маска. А под ней, мне казалось, должно было скрываться ли-

цо, очень похожее на лицо массовика дяди Гоши — вечно ликующее, неизвестно чему улыбающееся. И лысина, наверно, была такая же блестящая, словно отполированная, хотя над маской торчала мохнатая и густая щетка чьих-то чужих волос.

Да, будет все в порядке:
Ведь в зале — три «подсадки»!

Заметив, что я ничего не могу понять, клоун подтвердил:

Да, все должно быть гладко:
Ведь ты — моя «подсадка»!

- Кто я?..
- «Подсадка»! Одна, как говорится, из трех.
- Значит, он иногда все-таки переходил на прозу.
- И куда я должен подсаживаться?

Не в поезд, конечно,
ведь здесь не вокзал!
А просто как зритель
в наш зрительный зал!
Ты тихо подсядешь у всех на виду
На пятое место
в десятом ряду!

Я молчал.

— Опять не понимаешь? Это, вероятно, из-за стихов, — прогремел над самым моим ухом клоун-богатырь. — Давай поговорим, как нормальные люди.

— Очень хорошо! — обрадовался я.

— Главное — секретность, или, как говорится, конспирация. Никто не должен знать, что ты — моя «подсадка». Соображаешь?

Я по-прежнему соображал довольно туго.

— Слушай дальше! Ты тихонечко, чтобы никто, как говорится, ничего не заметил, выйдешь отсюда в фойе. Походишь туда-сюда, как самый обыкновенный зритель. Даже можешь купить мороженое: обыкновенные зрители всегда едят мороженое. А потом, когда прозвенит третий звонок, войдешь вместе со всеми, в общей, как говорится, массе, в зал и сядешь на пятое место в десятом ряду. Сиди и жди,

когда я начну выступать. Мой, как говорится, коронный номер: поднятие тяжестей. Чтобы доказать, что мои тяжести очень тяжелые, я вызову трех самых, как говорится, обыкновенных зрителей из зала на арену. Первым будешь ты! Только не вздумай поднять мои тяжести...

— Я не смогу, — тихо сказал я.

Клоун-богатырь перешел на шепот. Но и от его шепота подрагивал графин на столе.

— Ты вполне сможешь поднять мои тяжести, потому что они очень легкие. Но ты должен делать вид, что их невозможно не только поднять, но даже, как говорится, сдвинуть с места. Соображаешь?

— Как говорится, да... — ответил я, невольно подражая богатырю, который поднимал легкие тяжести. — Только одно мне не совсем понятно.

— Что именно?

— На какие деньги я куплю мороженое?

Клоун загремел своим богатырским хохотом. Он хохотал очень долго. Но лицо его при этом ничуть не менялось: оно по-прежнему было свирепым, потому что это было не лицо, а маска.

— Кто, как говорится, получает на орехи, а кто — на мороженое!

Клоун протянул мне деньги. «Какой добрый, благородный богатырь! — подумал я. — Совсем как в легендах или былинах!..» Значит, именно с его богатырской помощью Дед-Мороз решил бесплатно провести меня в цирк, да еще и угостить мороженым! Мороженое я любил не меньше, чем пастилу, шоколад и пряники.

Ни на одном стуле, ни в одном зрительном зале мне не было так приятно сидеть, как на пятом месте в десятом ряду. Ведь я был не просто зрителем — я был участником представления, но тайным участником, и никто вокруг об этом не знал.

Сперва на арену вышли четыре медведя. Громоздкие и с виду неповоротливые, они ловко вскакивали на ходу в мотоциклетные коляски, объезжали арену на самокатах и даже разгуливали на передних лапах, задрав задние вверх. Я не хлопал, не визжал от восторга, как мои соседи, сидевшие в десятом ряду, — я все время пристально вглядывался в медведей и думал: а может быть, это не настоящие звери?

Если тяжести могут быть легкими, то и медведи могут быть не медведями. Может, какие-нибудь артисты залезли в бурые шкуры и нацепили медвежьи маски?

Медведи свободно расхаживали по арене... А тигры не пользовались таким доверием: они были в клетках. Но там, за стальными прутьями, они выделывали такие номера, что я опять стал сомневаться: может быть, это вовсе не тигры? Катаются на шарах, прыгают сквозь горящие обручи. Гораздо ловчее, чем я сквозь обручи дяди Гоши... Вот если бы меня послали проверить: настоящие они или не настоящие? Я представил себе, как дрессировщик провозглашает на весь цирк: «Сейчас обыкновенный зритель, сидящий на пятом месте в десятом ряду, проверит моих зверей. Если он выйдет обратно из клетки, значит, звери не настоящие, а если не выйдет — значит, все в порядке». От одной этой мысли все мои сомнения сразу рассеялись: нет, конечно, тигры не нуждаются ни в какой проверке! Я готов был подтвердить это прямо со своего места в десятом ряду, даже не подходя к клеткам.

Когда чего-нибудь ждешь, время тянется томительно медленно. Я не замечал, какой интересной и разнообразной была цирковая программа, потому что с нетерпением ждал появления знаменитого клоуна.

И вот наконец на арене загремели стихи:

Сегодня в цирк вы пришли не зря:
Увидите клоуна-богатыря!

Вслед за клоуном появились две тележки с такими гириями, что казалось, упади они — и на манеже образуются глубокие воронки. Люди в форменных костюмах с серебряными полосками на рукавах везли тележки медленно, отдуваясь, то и дело останавливаясь для отдыха.

— Мои помощники, или, как говорится, ассистенты! — сообщил клоун. И стал заниматься гимнастикой, готовясь к поднятию тяжестей. Он вытягивал руки — и мускулы его вздымались, как крутые пригорки на ровной дороге. «Наверно, клоун пошутил, что тяжести легкие», — подумал я, видя, как естественно выбиваются из сил, надрываются и вытирают пот со лба ассистенты, катившие по арене повозки с гириями.

Никто на всей планете
Не сдвинет гири эти!
Никто не сможет в мире
Поднять такие гири!

Громогласно объявив об этом, клоун обвел застывшим свирепым взглядом ряды зрителей и в рифму спросил:

Может быть, вы не верите?
Может быть, вы проверите?

Сразу вверх потянулись руки.

— Возьмем с каждой трибуны первых попавшихся зрителей, — объявил клоун-богатырь.

— Ребенок? Он, ясное дело, не поднимет! — запротестовал кто-то в зале.

— Вес моих гирь испытают представители разных поколений! — объявил клоун-богатырь. — Как говорится, и старые и малые!..

И тут же ему на глаза «случайно» попался я...

Я был в десятом ряду, но очутился внизу на арене так быстро, будто сидел в первом. Однако, очутившись там, внизу, я вдруг понял, как это страшно — выступать перед зрителями. Сотни глаз со всех сторон уставились на меня и на гири. И все ждали... Только обычно от человека, стоящего на арене, рядом с гирями, ждут, чтобы он их поднял, а от меня ждали, чтобы я не сумел их поднять. Все было наоборот...

Я смотрел на клоуна, как на самого настоящего богатыря и героя: он расхаживал по арене совершенно спокойно, будто вокруг не было никаких зрителей и никто с трибун на него не глазел. А у меня тряслись коленки, и я со страху чуть было не поднял гири, которые были такими легкими, что, казалось, прямо-таки прилипали к моим ладоням и тянулись за ними вверх. Но я вовремя опомнился, напряг все свои силы и сумел... не поднять! Я даже не сдвинул их с места. Потом я, подражая ассистентам клоуна-богатыря, стал вытирать пот со лба. Пот у меня действительно выступил...

— Что, не под силу? — над самым моим ухом прогремел голос.

— Не под силу, — растерянно ответил я.

— Устами младенца, как говорится, истина глаголет! — торжественно провозгласил клоун. — Теперь вызовем первых попавшихся зрителей с другой трибуны. Начали мы с ребенка, а сейчас вызовем мужчину. Да покрепче, поздравее!

Я вернулся на свое пятое место в десятом ряду. Представление продолжалось... А мне хотелось, чтобы оно уже кончилось: не терпелось поскорее вернуться домой и позвонить в «Стол заказов». У меня была к нему одна очень важная просьба!..

ЭТО НАШ ПЕТЯ!

Я снова набрал две двойки. И снова мне ответил знакомый Снегуркин голос:

— «Стол заказов» слушает!

— Это я... Петя-каникуляр!

— Оформить заказ на выполнение желаний?

— Да, пожалуйста. Если не трудно...

— Такая наша работа.

— Я бы очень хотел, чтобы все мои друзья очутились в цирке на дневном представлении!

— Обслуживаем только каникуляров! — строго ответил «Стол заказов».

— Но ведь меня это очень развлечет. Мне доставит огромное удовольствие, прямо-таки наслаждение, если все мои приятели окажутся в цирке!

— Обратись непосредственно к Деду-Морозу. Может быть, он разрешит... в порядке исключения. Соединяю.

Я начал повторять свою просьбу, но Дед-Мороз перебил меня:

— О, не затрудняй себя: я слышал ваш разговор по отводной трубке. Вообще-то говоря, Снегурка абсолютно права: по правилам я должен развлекать только каникуляров. У сказки ведь тоже есть свои законы. Если, знаешь ли, волшебники начнут делать всё, что им взбредет в голову, они такое натворят на белом свете... Но в порядке исключения, так уж и быть, пойду тебе навстречу: организую для всех твоих приятелей культпоход в цирк.

— Завтра? — обрадовался я.

— Нет, не завтра, а в ближайшее воскресенье.

— Почему-у? Мне бы очень хотелось...

Дед-Мороз опять перебил меня:

— Я — дисциплинированный волшебник и не могу отрывать ребят от занятий. И от их общественных дел. Особенно сейчас, когда они в школе готовятся ко дню открытия...

— Что это они там собираются открывать? — лениво перебил я волшебника.

— Вот видишь, я нечаянно нарушил законы сказки: каникуляру нельзя даже рассказывать о том, что делается в школе. Ни о каких занятиях, ни о каких делах! Он должен только отдыхать и развлекаться. Так что больше я ничего не расскажу. А просьбу твою насчет цирка выполню.

И сразу же в трубке раздался голос дед-морозовской внучки:

— Заказ принят! Номер заказа: два дробь семь. Приняла и оформила Снегурочка.

Я уже говорил о том, что мне в ту далекую пору очень нравились выходные дни. Но пожалуй, никогда еще я не ждал воскресенья с таким нетерпением, как после разговора с Дедом-Морозом. Ведь на дневном воскресном представлении в цирке должна была осуществиться одна моя необыкновенная затея. Несбыкновенная!..

«Будет так... — размышлял я. — Выкатят огромные гири, выйдет клоун-богатырь, а потом уж спущусь на арену и я. Спущусь тихо и скромно, будто первый раз в жизни... Все наши ребята будут смотреть на меня. И даже Валерик замрет от изумления. «Устами младенца, как говорится, истина глаголет! — воскликнет клоун. И обратится ко мне: — Под силу ли тебе, мальчик, поднять эти гири?» А я возьму и подниму их вверх! Трудно даже представить себе, что тут начнется! Все решат, что я великий силач! Ведь остальные «подсадки» не будут подводить клоуна и не смогут поднять гири. А я смогу. Ах, если мой план осуществится! Тогда все ребята сразу и на веки веков забудут о моем позоре на хоккейном поле. Забудут обо всех моих неудачах... Обо всех!»

И вот наступил долгожданный день.

Со своего пятого места в десятом ряду я видел, как на противоположной трибуне расхаживают мои друзья-приятели. Но они меня не замечали: должно быть, Дед-Мороз на-

рочно сделал так, чтобы они не смотрели в мою сторону. А я не спускал глаз с Валерика. Он, конечно, сидел рядом с Жоркой и Мишкой-будильником. Он даже положил руку Жорке на плечо. И мне было как-то неприятно на это смотреть...

Девчонка, сидевшая позади них, стала объяснять, что ей из-за длиннющего Жоркиного роста ничего не видно. Тогда Жора немного отодвинулся от моего друга, чтобы девчонка могла смотреть в просвет между ними. И рука Валерика соскользнула с его плеча. Мне стало легче. Может быть, это Дед-Мороз нарочно посадил сзади такую маленькую девчонку?

«Ну ничего, Валерик,— думал я.— Скоро, буквально через каких-нибудь полчаса, ты поймешь, кто больше заслуживает уважения: я или твои новые приятели!»

Мне казалось, что увертюра, которую исполнял оркестр, стала гораздо длиннее, чем была, что медведи катались на самокатах гораздо дольше, чем в первый раз, и что укротитель в клетке гораздо медленнее готовил своих тигров к прыжкам сквозь горящие обручи.

— Сколько можно смотреть на этих зверей! — тихонько ворчал я.— Зоопарк здесь, что ли? Сколько можно слушать эту музыку! Концерт здесь, что ли?

— Все-то тебе не нравится,— рассердилась женщина, сидевшая рядом.— Вышел бы сам на арену да и выступал!

Она и представить себе не могла, что я через несколько минут действительно появлюсь на арене.

И вот наконец раздалось:

Сегодня в цирк вы пришли не зря:
Увидите клоуна-богатыря!

«Не знаю, как другие, а уж я-то, по крайней мере, пришел не зря. Это точно!» — говорил я сам себе, аплодируя клоуну. И все ему хлопали. Даже Валерик, который не любил выражать восторгов, и тот неторопливо, как-то по-своему, не сгибая пальцев, аплодировал циркачу-геркулесу.

Ассистенты, отдуваясь на каждом шагу, опять приволокли гигантские гири.

Никто на всей планете
Не сдвинет гири эти!
Может быть, вы не верите?
Может быть, вы проверите?

Весь ряд, в котором сидели мои приятели, первым задрал руки вверх. Только один Валерик не рвался проверять клоуна...

Жорина ручища тянулась ввысь, как семафор. Но хоть она была длиннее всех, клоун-богатырь ее не заметил. Взгляд его опять совершенно «случайно» наткнулся на мою руку...

После первого представления клоун за кулисами сказал мне:

— Не лети на арену как угорелый: это может вызвать подозрения. Веди себя естественней!

И я попытался вести себя так. Не спеша поднялся со своего стула и робко спросил:

— Вы вызываете меня?

— Ну да, тебя!

— Именно меня?

— Тебя! Тебя, мальчик!

— И я могу спуститься вниз, на арену?

— Можешь!

— А мое место тут без меня не займут?

— Никто его не займет...

Но я все-таки обратился к своей соседке громко, чтобы слышали все кругом:

— Покарауйте, пожалуйста, мое место!

Только после этого я медленным шагом сошел вниз, на арену. Весь ряд, в котором сидели мои приятели, вытянул шеи вперед и замер.

— Устами младенца, как говорится, истина глаголет! — объявил клоун. — Вот мальчик, по имени... Как тебя зовут?

— Петей.

— Сейчас мальчик, по имени Петя, скажет нам всем: можно ли поднять эти гири! Или хоть чуть-чуть сдвинуть их с места!

«Ничего!.. Сейчас ты, Валерик, начнешь уважать меня. И вы, мои дружки-приятели, тоже», — подумал я. И стре-

мительным рывком поднял гири вверх!.. Наступила абсолютная тишина.

И вдруг среди этой тишины загремел голос клоуна-богатыря:

— Перед нами — феноменальный ребенок! Ребенок-богатырь!.. Родители мальчика в зале? Я хочу, чтоб они по праву разделили успех своего сына, его триумф. Но раз он пришел один...

— Он не один! — завопил ряд, в котором сидели мои приятели. — Это наш Петя! Он живет в нашем дворе! Он учится в нашей школе!..

— Ага, значит, здесь присутствует коллектив, в котором, как говорится, рос и развивался наш юный рекордсмен по поднятию тяжестей?

— Он с нами! — вопил коллектив. — Это наш Петя!

— Чтобы вы по достоинству оценили богатырскую силу этого мальчика, — перекрикивая всех моих друзей, продолжал клоун, — мы сейчас вызовем двух самых крепких, самых плечистых мужчин! Первых попавшихся... Ну, хотя бы вот этих!

Но не тут-то было... Десятки зрителей со всех концов зала ринулись на арену: они хотели потрогать гири, которые я так легко поднял ввысь. «Неужели в зале столько «подсадок»? — подумал я. — Нет, не может быть... Значит, это самые обыкновенные зрители. Какой ужас! Что сейчас будет?»

— Стойте! Остановитесь! — оглушительно, громче клоуна-богатыря закричал я. — Сейчас я покажу вам еще один номер. Но если хоть один выбежит на арену, все пропало...

Те, что бежали, замерли в проходах между рядами.

— Подождите минутку! — предупредил я. — Одну минутку! Мне нужно сбегать за кулисы!.. И тогда вы увидите такой номер, какого никогда не видали!..

— Что ты еще придумал, негодяй? — еле слышно прохрипел сквозь маску клоун-богатырь. Мне казалось, что он вот-вот упадет в обморок.

Я выбежал за кулисы и, задыхаясь от волнения, спросил у женщины в форменном костюме с двумя серебряными полосками на рукаве:

— Где тут у вас телефон?

— Во-он там, на столике, где сидит дежурный пожарник!

Не спрашивая разрешения, я набрал две двойки.

— «Стол заказов» слушает! — ответила Снегурочка.

— Я хочу, чтобы гири стали тяжелыми! Чтобы никто не смог их поднять!..

— Принимаем заказы только на развлечения.

— Но тогда развлечение превратится в мучение... Сделайте, пожалуйста, в порядке исключения!

В горячке я вдруг, как клоун-богатырь, заговорил стихами. И это подействовало на Снегурочку.

— Заказ принят! — сказала она. — Номер заказа: три дробь семь.

Вернувшись на арену, я скомандовал:

— Теперь проверяйте! Бегите, бегите сюда... Попробуйте поднять эти гири!

— А где же обещанный номер? Где номер?..

— Номер отменяется! В следующий раз... — пообещал я. А сам подумал: «Сейчас-то и будет главный номер программы!»

Первыми на арену ворвались ребята с нашего двора. А вслед за ними — незнакомые мне мужчины, женщины, мальчишки и девчонки. Все стали хвататься за гири, но — о, чудо! — никто не мог их поднять. Я, будто случайно, толкнул ногой одну гирю — и почувствовал, что она налилась неприступной тяжестью и приросла к полу. Сказка пришла мне на помощь! Но как же теперь поднимет эти гири сам клоун-богатырь?

— Я не могу работать в такой обстановке! — прогремел он на весь цирк. И, гордо вскинув свою свирепую голову, ушел за кулисы.

— Никто не может сдвинуть гири с места, а ты смог! Ты смог! — обнимали меня дружки-приятели. Они подняли меня на руки и потащили в тот ряд, где сидели сами.

— Куда же вы его? — закричала моя бывшая строгая соседка. — Я сберегла его место!..

Ей хотелось сидеть рядом с ребенком-богатырем. Но ребята унесли меня к себе. Мишка и Жора теснились теперь на одном стуле, а я сидел на бывшем Жорином месте, прижавшись плечом к Валерику.

— Вот что значит курс лечения! — с завистью сказал

Мишка.— Мы ходим в школу, зубрим, с утра до вечера расходует свои силы. А он сберегает их! Накапливает... Вот бы мне кто-нибудь прописал такой курс!

— Да, здорово было бы! Если бы и нам тоже. Эх, хорошо было бы! — вздыхали и другие.

Сзади и спереди ко мне потянулись руки: все хотели пощупать мои мускулы.

— Вы ничего не почувствуете: они в расслабленном состоянии, — сказал я. — Отдыхают!

Валерик молчал. А вечером во дворе он подошел ко мне и вполголоса, но повелительно произнес:

— Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха! Гири были фанерные? Или из какого-нибудь там папье-маше?

Я хотел сказать, что гири были настоящие, что ни один человек в цирке, кроме меня, не смог их поднять. Но язык не слушался меня, голос куда-то пропал. И я не сумел соврать. Первый раз в жизни хотел — и не сумел! Наверно, Валерик меня загипнотизировал...

Только уже дома голос ко мне вернулся. Тогда я набрал две двойки и торопливо, взволнованно заговорил в трубку:

— Я вас очень прошу... Я просто умоляю: заколдуйте, пожалуйста, Валерика. Чтобы он восхищался мною, как все!

— Это невозможно, — ответила Снегурочка.

— Но ведь воля каникуляра должна быть для вас законом!

— Да, это верно. Но тут мы бессильны.

— Почему?!

— Я не могу объяснить.

— Из-за его сильной воли, да?

— Нет, дело совсем в другом.

— В чем?

— Не могу объяснить...

— Это тайна?

Снегурочка повесила трубку. Почему Валерик не поддавался Деду-Морозу? Почему он был неподвластен сказке?

Да, это была тайна. И такая, что даже каникуляру не имели права ее раскрыть...

ПРОКАЗНИЦА-МАРТЫШКА, ОСЕЛ... ДА КОСОЛАПЫЙ МИШКА

Не подумайте только, что я плохо помню те строки из басни Крылова, которые очень похожи на название этой главы. Басню я учил в школе, а то, что я учил там, запомнилось на всю жизнь...

Но я козла пропустил. И не потому, что забыл о нем, а просто потому, что... Впрочем, об этом вы узнаете немного позже.

А сейчас я хочу рассказать о том, что было после моего выступления на цирковой арене.

Все ребята стали просить меня поднять что-нибудь тяжелое. И все теперь обращались ко мне очень вежливо и уважительно.

— Петя, подними, пожалуйста, скамейку в садике, — просил один.

— Петя, там, на улице, стоит инвалидная коляска... Подними ее, если не трудно.

— Мне не трудно, — отвечал я. — Но просто не хочется расходовать силы. Вот если будет что-нибудь важное... Какой-нибудь особый случай!

Мишка-будильник попросил меня однажды:

— Петя, подними, пожалуйста, меня и поддержи в воздухе минут пять. Это как раз очень важно: я поспорил с ребятами из соседнего двора. Они не были в цирке и не верят.

На этот раз меня неожиданно выручила мама. Она высунулась в форточку и тем же голосом, каким раньше звала: «Домо-ой! Пора делать уроки!» — категорически приказала мне сверху:

— Домо-ой! Пора смотреть телевизор!..

Простите, телевизоров тогда еще не было... Я вспомнил, мама крикнула мне сквозь форточку:

— Домо-ой! Пора слушать патефон!

У нас был синий облезлый ящик, который шипел и кряхтел от старости. Я любил по десять раз в день слушать одну и ту же пластинку. Раньше мама возмущалась, что я даром теряю время.

— Перемени пластинку! — заявляла она. — Почитай лучше книгу. Или раскрой учебник.

А теперь она сама смело крутила тугую ручку, хотя знала, что эта ручка иногда со стремительной силой раскручивалась в обратную сторону.

— Ты стал недопустимо пренебрегать патефоном! — говорила она. — Смотри у меня!

После истории в цирке Мишка-будильник начал упрямо допытываться, где, в какой поликлинике мне прописали такой замечательный «курс лечения». Мишка вообще был завистливым пареньком, а тут уж прямо места себе не находил:

— Скажи: что нужно глотать, чтобы набраться такой силищи? Порошки, да? Пилюли, да?.. Ведь этот твой «курс лечения» можно и самому себе дома устроить, а? Скажи-и, Петька... А я тебе буду всегда сообщать точное время! Хочешь? Сейчас девятнадцать часов — ровно!

— Ничего я тебе не скажу: это страшная тайна!

— Боишься, что я стану сильнее тебя, да? А ты мне столько этих пилюль дай... или порошков, чтобы я тоже стал сильным, но все-таки был в два или даже в три раза слабее тебя, — торговался Мишка. — Мне и этого будет достаточно. Ты можешь сразу две гири поднять, а я пусть смогу только одну. Мне и этого хватит! А, Петька?..

Ребята рассказывали обо мне легенды. Через несколько дней в соседнем дворе уже знали, что я поднял в воздух самого клоуна-богатыря, у которого было две гири в руках, одна — в зубах, одна — на голове и две — под мышками.

И только Валерик по-прежнему мною не восторгался. А я так хотел этого!

Мне так хотелось, чтобы он забыл о фанерных гирях и о моем позоре на хоккейном поле, чтобы он стал уважать меня, чтобы ему снова, как прежде, хотелось видеть меня чаще, чем всех остальных ребят в нашей школе и в нашем дворе.

И я решил, что надо тайно провести Валерика в Дом культуры медицинских работников. Пусть он увидит, как для меня одного поют певцы, и танцуют танцоры, и показывают фокусы фокусники. Ведь всякое торжество — только наполовину торжество, если его не могут оценить другие. Пусть же Валерик увидит, как сам Дед-Мороз вручает мне призы! И пусть другие ребята тоже присутствуют в зале в

эту минуту моего торжества! Может быть, не все, но хотя бы Жора и Мишка-будильник.

«Вот только как же они туда пройдут? — думал я. — У них же нет постоянной прописки на моем елочном празднике. И даже временной тоже нету. А у дверей с вывеской «Ремонт» меня встречает массовик дядя Гоша... Да и Снегурочка-паспортистка поглядывает, чтобы никто не проживал в Стране Вечных Каникул без прописки».

А вывеска «Ремонт», конечно же, приколочена к дверям специально для того, чтобы посторонние не входили в Дом культуры, когда там для меня (для меня одного!) гремит духовыми оркестрами, заливается песнями и кричит вечно радостным голосом дяди Гоши Страна Вечных Каникул.

«Ни для какой нашей «Первой клюшки» и «Первой бутсы» не станет Дед-Мороз зажигать новогоднюю елку в феврале, — думал я. — А для меня зажигает!»

Как же сделать так, чтобы Валерик и Жора с Мишкой увидели это?

Как сделать?

Может быть, Дед-Мороз поможет мне... В порядке исключения?

Я набрал две двойки.

— «Стол заказов» слушает! — ответила Снегурочка.

— Я хочу, чтобы мои приятели попали в столицу Страны Вечных Каникул — в Докмераб, на Елку!

— Обслуживаем только каникуляров.

— А если... в порядке исключения?

— Обратись непосредственно к Деду-Морозу. Соединяю!

И я обратился.

— Не могу, — ответил Дед-Мороз так решительно, как не отвечал еще никогда. — Я — дисциплинированный волшебник. И не могу устраивать Елку в феврале. По всем законам этот праздник заканчивается в последний день зимних каникул. Для каникуляра я могу продлить... Потому что его каникулы никогда не кончаются и не имеют последнего дня. Это другое дело! Но для нормальных ребят...

— Как это для «нормальных»? А я разве сумасшедший?

— О нет! Ты просто... не совсем обычный. Тебя я обязан развлекать!

— А если... в порядке исключения? — настаивал я.

— Хочешь, лучше поведу тебя самого в Музей изобразительных искусств? Или в Планетарий? Или на выставку мод?

В музеи и Планетарии я уже бывал, а моды меня в то время еще не интересовали.

«В конце концов, мое дело пригласить,— решил я,— а пройти — это уж их дело! Недаром ведь Валерика называют фантазером: он что-нибудь придумает!»

И Валерик придумал...

Помню, как вечером у нас в коридоре раздались короткие, словно догоняющие друг друга, условные звонки, при звуке которых я всегда пулей срывался с места, но которых уже очень-очень давно не слышал. Моя мама любила Валерика, но в тот вечер она, кивнув в мою сторону, строго сказала:

— Он еще сегодня не слушал радио. Скоро будет передача «Танцуйте вместе с нами!», а затем концерт легкой музыки. Не отрывай его от приемника!

В Доме культуры я должен был петь хором и ходить хороводом, а тут еще — танцевать!

— Я только на два слова,— сказал Валерик. И сразу обратился ко мне: — Ты говорил, что туда, в Дом культуры, приходят артисты?

— Много артистов! Одни поют, другие танцуют, третьи прыгают мартышками и топают медведями...

— Вот это — самое главное!

— Что?..

— Мартышки и медведи!

— Почему?

— Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха! Потому что у нас есть три маски: мартышки, медведя и осла. Мы их наденем и пройдем в Дом культуры!

— Но ведь все артисты — взрослые. Дядя Гоша вас сразу заметит.

— «Жора, достань билетик!» выше любого взрослого. Ты согласен? А мы пройдем как его помощники. Он уж там пробасит что-нибудь такое, абсолютно взрослое. И мы все будем в масках!

— Это замечательно! — воскликнул я. — Только при-

ходите чуть-чуть пораньше: артисты собираются до начала. И еще учтите, что массовик дядя Гоша всегда прямо на улице, у входа, меня встречает. А вход возле самой троллейбусной остановки. Так что вы из троллейбуса выскакивайте уже в замаскированном виде!

— В каком?

— То есть в масках, я хотел сказать. А то дядя Гоша сразу заметит, что и Жора — тоже никакой не артист.

— Ладно, — сказал Валерик. — Мы придем. В следующее воскресенье.

— Может быть, завтра?

— Извини, но мы должны идти в школу.

— Ах, я совсем забыл!

— Тем более, что мы готовимся к одному важному дню!

— Ко дню открытия...

— Откуда ты знаешь? — перебил Валерик.

— Я всё знаю!..

— Начинается передача «Танцуйте вместе с нами!», — раздался требовательный мамин голос.

И я поплелся танцевать. А мне так хотелось обсудить с Валериком все детали предстоящей операции «Три маски», или «Проказница-мартышка, осел... да косолапый мишка»! И, между прочим, выведать: что же такое они там собираются открывать?..

НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА

В тот день я на своем персональном троллейбусе подкатил к Дому культуры медицинских работников немного раньше обычного: мне хотелось посмотреть, как мои приятели в масках будут переходить границу Страны Вечных Каникул.

На охране границы, как всегда, стоял массовик дядя Гоша. Увидев меня, он удивился:

— Так рано? У нас еще артисты не в полном сборе.

— Хочу немного подышать свежим воздухом, — ответил я. — Что-то меня в троллейбусе укачало.

— Растрясло, наверное, — посочувствовал дядя Гоша. — Понятное дело: пустой вагон!

Я стал прогуливаться возле входа, широко раздувая

ноздри, втягивая в них холодный воздух и время от времени охлаждая лоб комочками снега: дядя Гоша с сочувствием смотрел, как я прихожу в себя. Но прогуливался я недолго. Вскоре из переполненного троллейбуса, остановившегося возле Дома культуры, выкатились три моих приятеля в масках. Выходившие вслед за ними пассажиры громко возмущались:

— Без-зобразие! Ребенка напугали!

В троллейбусе плакала девочка.

— Какого ребенка! У меня у самой чуть сердце не разорвалось — повернулась и вижу: медведь!..

Жора в маске медведя был на полголовы выше массовика.

Дядя Гоша стал отмечать что-то в своем блокноте:

— Та-ак, хорошо! Один медведь пришел! Ослов у нас, помнится, вчера не было... И мартышек...

Он пристальным взглядом окинул невысокого Валерика в маске осла и Мишку Парфенова, изображавшего проказницу-мартышку.

— Это со мной: из детской самодеятельности! — пробасил Жора.

— Не могли, что ли, за кулисами загримироваться?

— Мы с другой Елки: опаздывали и не успели переодеться, — не своим голосом басил Жора.

— Какие еще Елки в феврале?!

Я в этот момент ахнул и схватился за виски...

— Тебе плохо? — всполошился массовик: он берег единственного в мире каникуляра.

Ребята скрылись в подъезде Дома культуры. И мне сразу полегчало.

Когда в вестибюле грянул оркестр, я шепнул своим друзьям:

— Слышите? Для меня одного!

И взглянул на Валерика. Но его ослиная маска ничего не выражала: ни восторга, ни удивления.

Конечно, я давно уже мог попросить Деда-Мороза поменять программу елочного представления, показать мне что-нибудь новенькое. Но я боялся: а если в другой программе не будет знаменитых соревнований, которые я так привык выигрывать? И не будет призов, к которым я тоже очень привык!

Когда с белокаменной лестницы ринулись мне навстречу лисы, зайцы и скоморохи, я снова шепнул:

— Видите? Всё для меня одного!

К Жоре подбежал дядя Гоша:

— Ты, медведь, из какой концертной организации? Почему стоишь со своим ослом из детской самодеятельности на одном месте? И с мартышкой тоже... Почему не работаете?

— Мне очень приятно, что они стоят рядом, — сказал я. — Это меня развлекает!

Дядя Гоша виновато отступил:

— Твое слово для нас — закон!..

— Видишь, как он меня слушается? — шепнул я Валерику. — Что захочу, то и будет делать!

Но ослиная физиономия даже не дрогнула. «А что там, за масками? — думал я. — Наверно, в себя не могут прийти от восторга и удивления!»

Но, поднявшись в фойе Дома культуры, осел, медведь и мартышка пришли в себя очень быстро. Вместо того, чтобы развлекать меня, они сами взобрались на деревянные карусельные коней и стали кружиться. Потом они скатились вниз с деревянной горки... Но внизу их уже поджидали разные «звери» из концертных организаций:

— Мы работаем, а вы катаетесь! Развлекаться сюда пришли!

Конечно, мои друзья пришли развлекаться. Но находчивый Жора ответил:

— Это он нас попросил. «Мне, говорит, с а м о м у надоело кружиться и кататься: хочу посмотреть, как у вас получится!»

— Да, — подтвердил я, — это так интересно: смотреть, как другие катаются!

— Ну, если тебе интересно, тогда другое дело: всё для твоего удовольствия!

И я после этого сразу попросил моих друзей пойти пострелять в тире: мне это тоже было очень приятно! А потом они сами стали ко мне обращаться:

— Ты просишь нас посмотреть мультфильмы? Ты просишь нас сбегать в комнату сказок?

И я просил!

«Как это здорово! — думал я. — Все зависит от моего же-

лания: захочу — и будут кататься, захочу — и увидят фильмы!..»

А потом начался концерт. И мне показалось, что я не слышал накануне этих песен и не видел этих танцев... Все было как-то по-новому, потому что со мной в зале сидели мои друзья.

Но друзьям не сиделось. И когда Дед-Мороз объявил знаменитые соревнования — «Кто быстрее? Кто ловчее? Кто умнее?», — все трое подняли руки, словно они были в классе и хотели ответить на вопрос учительницы.

Этого, конечно, я предвидеть не мог.

— Странные какие-то звери, — негромко сказал Дед-Мороз своему помощнику дяде Гоше. — В одних масках, без шкур...

— Это не профессиональные звери, — пояснил массовик. — Они из самодеятельности.

— Ах, так? Тогда объясните им, что в соревнованиях могут участвовать только каникуляры и каникулярки: мы здесь работаем, а не развлекаемся.

— Помоги-и нам, — умоляюще прошептала мне в ухо проказница-мартышка. Казалось, она вот-вот расплчется Мишкиными слезами. — Заступи-ись... Ведь ты здесь все-сильный!

Я вскочил со своего места:

— Меня бы очень развлекло, если бы они приняли участие в соревнованиях. Я получил бы от этого огромное удовольствие! Просто наслаждение!..

— Просьба каникуляра для нас — закон!

Как жалко, что я в тот момент не мог сдернуть с Валерика его ослиную маску: мое слово было законом для Деда-Мороза! Для самого повелителя всех елочных праздников, при одном появлении которого дети начинают прыгать и вопить не своим голосом. Неужели и это не поразило моего лучшего друга? Неужели?!

Дед-Мороз застыл с секундомером в руке возле елки, а я, как всегда, оседлал «старого, но боевого коня», пришпорил его и поехал по кругу.

Я именно не помчался, как в тот первый день, а всего-навсего поехал, потому что за полмесяца привык уже, сидя на кожаном велосипедном седле, еле-еле шевелить ногами. «Быстрее, быстрее!» — подгонял я самого себя: мне вдруг

очень захотелось выиграть у своих друзей самому, без помощи волшебной силы! Но «старый конь» не слушался меня и «плелся рысью как-нибудь»...

Велосипед был один, и поэтому соревнующиеся садились на него по очереди. Вторым сел Жора. Он, конечно, был лучшим спортсменом из нас четверых, но велосипед был ему мал: Жорины ноги смешно сгибались в коленях, а колеса крутились не быстрее, чем у меня. С такими ногами Жоре было бы лучше всего соскочить на пол и просто побежать — он добрался бы до финиша гораздо раньше. Но по условиям соревнования нужно было не бежать, а ехать...

Валерик в маске осла тоже не продемонстрировал рекордной скорости. И первое место, таким образом, заняла проказница-мартышка.

— Тебе доставит удовольствие, если я вручу мартышке победный приз? — спросил Дед-Мороз.

— Я буду просто счастлив! Это так развлечет меня, так развлечет!.. — сказал я, хоть на самом деле мне было в тот миг не до веселья.

— Но ведь там пастила и шоколадная медаль...

— И пряники! — радостно подхватил я. — Пусть мартышка получит все это. Я нарочно проиграл соревнование, чтобы она могла полакомиться в свое удовольствие. Или, вернее сказать, в мое удовольствие!

— Как это — нарочно проиграл? — запротестовала мартышка голосом Мишки-будильника. — Тогда давай переиграем!

— Сразу видно, что это не профессиональная мартышка, — шепотом утешил меня дядя Гоша. — Настоящие мартышки никогда не спорят со зрителем. Тем более с каникуляром!

«Какая неблагодарность! — думал я. — Только что умолял помочь допустить его до соревнований... А теперь осмелел: «Давай переиграем!»

Переигрывать мы, конечно, не стали, и Мишке был вручен бумажный пакет.

А потом дядя Гоша установил свои металлические обручи и стал по очереди завязывать нам глаза.

«Может, подбежать к Деду-Морозу, — подумал я, — и тихонечко шепнуть ему на ухо: «Очень хочу быть всех ловчее»

и всех умнее!» Или, может быть, спуститься вниз к телефону-автомату, набрать две двойки и попросить о том же самом Снегурочку?» Ее не было на празднике, Дед-Мороз объявил, что его внучка захворала, то есть стала немного подтаивать, и что он положил ее на лечение в холодильник... Но я-то знал, что она просто дежурит в «Столе заказов». Не позвонить ли туда?

Нет, мне почему-то упрямо хотелось испытать свои собственные силы и выиграть без помощи волшебства! Я вступил во второе соревнование...

Наш Жора бегал с завязанными глазами лучше, чем с развязанными. Он сразу проскочил через три кольца, не задев ни одного. Потом он зачем-то с завязанными глазами покачался на турнике, приготовленном для следующего акробатического номера. И наконец, все так же, не снимая повязки, прошелся по залу на руках.

— Мне доставит огромное удовольствие... я развлекусь сразу на пять дней вперед, если ему будет вручен победный приз! — сказал я, чуть не плача, потому что сам умудрился свалить три кольца из трех возможных.

С укором поглядывал я на Деда-Мороза и его помощника дядю Гошу: «Приучили меня соревноваться с самим собой. И побеждать без всякой борьбы... Приучили! Но зато в третьем соревновании я все равно окажусь впереди: загадки и отгадки мне хорошо известны!»

— Кто всех умнее?! — провозгласил Дед-Мороз.

Дядя Гоша обвязал свою лысину чалмой, принял величавую позу факира и начал:

— Два кольца, два конца, а посередине гвоздик!..

Мы все четверо отгадали его загадки.

Проказница-мартышка, осел да косолапый мишка не давали мне хоть на секунду опередить себя: они выкрикивали ответы в один голос со мной. Невесело было мне на этом Елочном празднике: «Хороши товарищи! Я их пригласил, помог пройти без билета... И вот благодарность!»

Как в ответственном футбольном матче, где в случае ничейного исхода дается дополнительное время, дядя Гоша предложил нам дополнительную загадку.

Скрестив руки на груди, дядя Гоша продекламировал:

С длинной-длинной бородой,
Бородой почти седой,
С нами в праздник очень дружен,
Всем нам в праздник очень нужен...
Дайте быстро мне ответ:
Как зовется сей предмет?

— Дед-Мороз! — дружно выкрикнули мы с Жорой и Мишкой Парфеновым.

— Обычная ошибка! — торжествующе ответил дядя Гоша. — В том-то и тонкость и остроумие этой загадки, что не Дед-Мороз!..

— Извини... Но разве Дед-Мороз — это предмет? — шепнул мне сквозь свою ослиную маску Валерик.

— Одушевленный предмет! — возразил я.

— С каникуляром спорить не полагается, — одернул Валерика дядя Гоша. — Облегчаю загадку: даю наводящую рифму... Внимание!

Дайте быстро мне ответ:
Как зовется сей предмет?
Но подумайте сначала!
Сей предмет зовут...

— Мочало, — мрачно сказал Валерик.

— Молодец, осел! — воскликнул дядя Гоша. — Хоть и из самодеятельности, а молодец!

— Но почему же только в праздник сей предмет «нам очень нужен»? — тихо спросил я у Валерика.

— Наверно, дядя Гоша моется только по праздникам, — шепотом предположил он.

Итак, медведь оказался ловчее меня, осел — умнее... А мартышка лучше меня каталась на велосипеде.

По дороге домой Мишка начал допытываться:

— Слушай, Петя, а что такое «каникуляр»? Так тебя называли на Елке, я слышал... Это происходит от названия твоей болезни, да?

— Какой болезни?

— Ну... ты ведь проходишь курс лечения. Знаешь, человека, у которого больное сердце, называют «сердечником», у которого печень — «печеночником»... У меня

дядя — «печеночник». А ты, значит, «каникуляр», да? Но как же тогда называется твоя болезнь?

Я не отвечал. Вид у меня был мрачный. И тогда Жора с Мишкой стали меня утешать:

— Вот если бы Дед-Мороз устроил соревнование «Кто всех сильнее?», ты бы нас сразу победил. Положил бы на обе лопатки!

— Если бы нужно было поднимать гири, а не прыгать сквозь кольца, ты бы сразу занял первое место!

Валерик молчал. Он не возражал, не спорил. Хоть Дед-Мороз, конечно, не мог заставить его поверить в мою силу, как он заставил Жору и Мишку. Я знал об этом, и мне было стыдно перед своим лучшим другом.

«Но почему же он не поддается волшебной силе? Почему?! Даже папа, который всегда был за «беспощадное трудовое воспитание», и тот поддался. Даже маму, которая изобрела знаменитый закон «прямой пропорциональной зависимости развлечений от отметок в дневнике», и ту удалось заколдовать. А к Валерику Дед-Мороз даже не подступает... И дело, как мне сообщила Снегурочка, вовсе не в сильной Валеркиной воле. А в чем же тогда дело? В чем?!» Это была загадка, которую я никак не мог разгадать...

МАМА ПРОПИСЫВАЕТ ЛЕКАРСТВО

Однажды мама позвала меня домой со двора (хотя патефон я в тот день уже успел послушать), закрыла за мной дверь и как-то очень озабоченно сказала:

— Я должна серьезно поговорить с тобой, Петр! Очень серьезно!

— О чем? — испуганно спросил я.

— Меня тревожит одно обстоятельство...

— Какое?

— Ты редко ходишь в кино!

Я молчал... А мама взволнованно продолжала:

— Ну сколько раз в месяц ты ходишь на кинокартины?

Я никогда этого не подсчитывал, но все же ответил маме:

— Три или... четыре раза.

— Это недопустимо мало! Отныне ты будешь смотреть по одной картине в день, после обеда...

Мама говорила так, будто речь шла о пилюлях или о микстуре. Я видел, как на лекарствах, которые она сама приносила из аптеки, было написано: «Принимать по одной таблетке, после еды». А теперь я «после еды» должен был в обязательном порядке принимать по одному кинофильму. Только волшебник самой высшей квалификации мог заставить мою маму прописать мне такое сказочное лекарство!

«Его,— думал я,— любой согласится принимать и до еды, и после еды, и даже во время еды!.. Вероятно, Дед-Мороз удивлен, что я еще ни разу не попросил отправить меня в кино, и вот решил сам доставить мне это удовольствие!»

Чтобы скрыть свою радость, я сказал:

— Но где же я найду столько новых картин?

— Ничего,— ответила мама.— Некоторые можно смотреть по нескольку раз. К тому же есть ведь еще и старые, которые ты не успел посмотреть. У тебя не должно быть никаких пробелов!

— Хорошо... Я буду смотреть и старые тоже,— ответил я таким тоном, будто мама дала мне очень трудное задание, но я готов был выполнить его, несмотря ни на что.

— Учти: я буду проверять, не прогуливаешь ли ты киносеансы, не пропускаешь ли каких-нибудь фильмов! Смотри у меня!

Раньше мама проверяла, не прогуливаю ли я школу, не пропускаю ли занятия, а теперь...

— Чтобы я была спокойна и уверена, что ты, Петр, не пренебрегаешь своими обязанностями и добросовестно ходишь в кино каждый день,— продолжала мама,— тебя будет проверять Дашенька. Или, вернее сказать, тетя Даша.

— Какая тетя Даша?

— Это подруга моей юности. Она на днях поступила билетершей в новый кинотеатр, который открылся у нас за углом...

— В «Юный друг»?

— Да, она работает в «Юном друге». Туда трудно достать билеты, но у Дашеньки есть свой служебный стул, и ты будешь просиживать на этом стуле каждый день. Хотя бы в течение одного сеанса. Как минимум, Петя!

— А можно, я буду ходить в кино через день... но зато вдвоем с Валериком?

Увы, Дед-Мороз продолжал быть дисциплинированным волшебником: он обслуживал только каникуляров!

— У Дашеньки один служебный стул,— ответила мама.

— Мы будем сидеть друг у друга на коленях: полсеанса он у меня, а полсеанса — я у него... Мы один раз уже так сидели!

— Ну, если Валерик захочет...

Я побежал к Валерику. Дело в том, что в кино мы с ним почти всегда ходили вместе. А потом долго обменивались впечатлениями, иногда спорили. Я спорил громко, размахивая руками, а Валерик отвечал вполголоса, как бы сам с собой беседуя и рассуждая. С годами я понял, что чем человек меньше знает и меньше видел, тем он самоувереннее. Конечно, Валерик тоже бывал неправ, но я понял, что истине не нужно быть крикливой и многословной: ее, в конце концов, все равно не могут не услышать и не признать.

— Теперь мы будем ходить в кино через день! — прямо с порога заявил я Валерику.— Совершенно бесплатно. Мы будем сидеть на служебном стуле тети Даши!

Валерик слегка удивился, но не обрадовался. И даже не поинтересовался, кто такая тетя Даша.

— Ты извини меня... Но я не могу ходить через день,— ответил он.

Валерик любил извиняться. И еще он любил слова, которые я лично употреблял очень редко: «простите», «пожалуйста», «будьте добры».

— Почему ты не сможешь? — удивился я.— Ты когда-нибудь сидел на служебном стуле?

— Нет...

— И я тоже. А теперь мы можем сидеть на нем через день!

— Но у меня просто не будет времени.

— Чем это ты так занят?

— Контрольная скоро будет. А во-вторых...

— Что «во-вторых»?

— Ты же знаешь... Мы все готовимся ко дню открытия...

— Чего?

— Не могу сказать... Но сейчас вот, например, нам всем очень нужно попасть в зоопарк.

— В зоопарк? Зачем?

— Извини, но этого я тебе тоже сказать не могу...

— Ну, и идите в свой зоопарк! Звери вас ждут — не дождутся!

— Не можем мы к ним попасть, к сожалению.

— Почему не можете?

— Закрыт зоопарк: не то на ремонт, не то на учет.

— И вы не можете туда попасть?

— Не можем.

— Ха-ха!

С этим загадочным восклицанием я удалился домой. А там сразу же схватился за телефонную трубку. И набрал две двойки.

— «Стол заказов»!

— Мне очень хочется завтра попасть в зоопарк!

— Заказ принят.

— И чтобы вместе со мной туда пошли Валерик и другие мои товарищи.

— Обслуживаем только каникуляров.

— А если в порядке исключения?..

— Соединяю с Дедом-Морозом!

Выслушав мою просьбу, Дед-Мороз задумчиво произнес:

— В зоопарк?.. Вместе с товарищами? Ну что ж... Кстати, им, кажется, нужно туда попасть.

— Зачем?! — громко крикнул я в трубку.

— Я — дисциплинированный волшебник и не могу рассказывать каникуляру о школьных делах: это может утомить его. А он должен только отдыхать и развлекаться. У сказки — свои законы!

«Сколько раз можно повторять это?!» — мысленно воскликнул я.

— Заказ принят, — раздался в трубке голос дед-морозовской внучки. — Приняла и оформила Снегурочка. Номер заказа: четыре дробь семь!

ХОЧУ БЫТЬ ЮНУКРОМ!

Когда я на своем персональном троллейбусе подъехал к зоопарку, ребята были уже там, возле входа.

— Ты зачем приехал? — удивился Валерик.

— А вы зачем пришли? Ведь зоопарк закрыт.

Я сделал вид, будто не знаю, что их всех привел сюда по

моему личному указанию, или, точнее сказать, по моей просьбе, волшебник Дед-Мороз.

Валерик ничего не ответил. Он с грустью смотрел на фанерную дощечку, висевшую на воротах: «Зоопарк закрыт на учет».

— А ты заметил, как я сюда приехал? — не отставал я от Валерика.

— Как? По-моему, на обыкновенном троллейбусе.

— Это по-твоему на обыкновенном! Ты не обратил внимания, что я ехал один?

— Но ведь в одиночку перевозят только больных... или, прости меня, ненормальных. Разве ты... — Он посмотрел на меня каким-то неприятно внимательным взглядом.

«Не поддается... Опять не поддается волшебству! — горестно подумал я. — Но почему?! Его в троллейбусах толкают, наступают ему на ноги, а я еду один и свободно могу переходить с места на место! И Елку для меня в феврале устраивают. И гири я в цирке поднял... Неужели он не понимает, как это прекрасно?!»

Валерик снова кивнул на фанерный плакатик: «Зоопарк закрыт на учет».

— Бегемотов пересчитывают... — сказал он. — Мы бы им помогли считать — лишь бы нас туда, внутрь, пустили.

— Вам очень нужно?

— Очень.

— Та-ак... Попробуем что-нибудь предпринять.

И в ту же минуту (в сказках все чудеса совершаются «в ту же минуту» или «в ту же секунду»!) из калитки, что была возле ворот, выскочил мужчина в очках, бросился прямо ко мне и представился так, будто объявил артиста, выступающего на сцене:

— Экскурсовод зоопарка Львов!

В ответ я назвал свою фамилию и крепко пожал руку экскурсоводу. Очки в толстой роговой оправе и с толстыми стеклами казались непомерно большими и тяжелыми для его узкого, щупленького лица. Эти очки светились такой приветливостью, что у меня даже зарябило в глазах.

— Будем говорить по-русски? — спросил меня Львов.

— Да... пожалуй, — ответил я.

— А какой язык является государственным в той стране, откуда вы прибыли?

Я замялся. Промычал что-то невнятное. Но потом нашелся и выпалил:

— Язык веселья и развлечений!

— Это чудесный, весьма привлекательный язык! — воскликнул экскурсовод Львов. — Зоопарк, как вы могли заметить, закрыт для проведения некоторых мероприятий учетного характера, но для посетителей из других стран, которые уедут и могут вообще никогда не увидеть наши редчайшие экспонаты, мы делаем исключение.

Экскурсовод так привык общаться с представителями других стран, что сам говорил, мне казалось, с иностранным акцентом. По крайней мере, он произносил слова чересчур четко, как говорят люди, недавно выучившие язык. А может быть, он произносил каждое слово так ясно, отделяя одно от другого, для того, чтобы его лучше понимали.

— Вы прибыли к нам из Страны...

— Вечных Каникул! — прошептал я в самое ухо экскурсовода.

Очки засверкали таким гостеприимством, точно Страна Вечных Каникул была родной или, по крайней мере, любимой страной экскурсовода.

— Сейчас перед вами будут плавать, летать, ползать, бегать, петть и рычать широты всего земного шара! — торжественно и заученно провозгласил экскурсовод, пропуская меня в калитку и показывая спину всем моим приятелям.

— А они?.. — растерянно поинтересовался я.

— Для вас мы делаем исключение! А они смогут посетить зоопарк дней через десять в любое удобное для них время.

— Но ведь они меня сопровождают!

— Ах так? Тогда пожалуйста.

Очки сразу осветили гостеприимством и приветливостью всех моих приятелей. И я вошел в зоопарк в сопровождении Валерика, Жоры, Мишки-будильника и всех других, онемевших от изумления ребят.

— Где тут у вас катаются на осликах? — спросил я с тем подчеркнутым интересом, с каким, как я замечал, задают вопросы туристы.

— Хотя сейчас ослики тоже проходят переучет, мы специально для вас запряжем одного из них в санки.

— А упряжь осла, я надеюсь, будет с этими... Как они

у вас называются?.. С бубенчиками? — все больше входил я в роль туриста.

Очки светились готовностью выполнить все мои пожелания. Но тут вмешался сопровождавший меня Валерик.

— Извини, пожалуйста... Но может быть, ты покатаешься потом? У нас ведь есть дело.

— Ах, оказывается, у сопровождающих меня друзей иные пожелания! — воскликнул я. — Что ж, не возражаю.

— Все экспонаты сейчас на зимних квартирах, — сообщил Львов. — Кого мы посетим в первую очередь? Хищников, птиц или...

— Лучше всего кроликов и белых мышей, — перебил его Валерик.

Экскурсовод Львов, видно, привык не удивляться. Он повел нас к мышам и кроликам с таким удовольствием, словно это были самые редкие экспонаты, прибывшие в зоопарк с дальних широт.

Когда мы вошли в помещение, экскурсовод сказал:

— Простите, здесь несколько спертый воздух, но ничего не поделаешь. Когда вы приедете к нам из своей страны летом, будет совсем другое дело: экспонаты переселятся на свежий воздух.

Валерик вытащил тетрадку, карандаш и начал задавать экскурсоводу вопросы. Он задавал их часа полтора подряд, не меньше. Гостеприимный блеск роговых очков начал даже немножко тускнеть. Но экскурсовод продолжал отвечать, все так же четко произнося каждое слово и обращаясь при этом только ко мне. Хотя вопросы-то задавал Валерик...

Я пропускал ответы Львова мимо ушей: мне не терпелось добраться до ослика с бубенчиками.

В Докмерабе, столице Страны Вечных Каникул, на осликах не катали. Поэтому я проехал на санках не меньше десяти кругов.

А потом стали кататься и сопровождавшие меня приятели...

Когда бедный ослик совсем замучился, мы закончили нашу экскурсию.

Экскурсовод Львов попросил меня одного снова зайти на минутку в закрытое помещение. Там он протянул мне толстую красивую книгу в кожаном переплете.

— Сюда заносят свои отзывы и впечатления туристы из

других стран,— сказал экскурсовод.— Напишите и вы что-нибудь теплое...

Я хотел прочитывать отзывы и впечатления других туристов, чтобы написать что-то похожее. Но прочитывать я не сумел, потому что свои впечатления они «заносят» в книгу на непонятных мне языках.

Я написал: «Прибыв из Докмераба, столицы Страны Вечных Каникул, я нашел в вашем зоопарке очень много любопытного!»

— А что произвело на вас наибольшее впечатление? — спросил экскурсовод.

Я дописал: «Наибольшее впечатление на меня произвел ослик с бубенчиками». И расписался.

Затем я попрощался с экскурсоводом.

— Если снова придёте из своего Докмераба, заходите, пожалуйста,— сказал он.— Наши звери будут вас ждать!

Я в сопровождении своих приятелей покинул зоологический сад.

На улице я спросил ребят:

— Ну, как? Накатались? Может быть, хотите еще?

Больше ребята не хотели. Но на меня все они взирали с восхищением. Поняли, что такое каникуляр!

И только Валерик, не подчиняясь Деду-Морозу, сказал:

— А ты у нас, оказывается, турист? Иностранец?.. Из какой ты приехал страны?

Он произнес эти слова насмешливо. Он по-прежнему мною не восторгался.

Вот с того самого момента ко мне и приклеилось прозвище «Петька-иностранец». А прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что они почти все разные: у каждого — свое. И сейчас иногда, встретив немолодого уже человека, с которым мы в ту давнюю пору вместе учились в школе, я замечаю, что он не может вспомнить моего имени, но зато сразу вспоминает прозвище: «Иностранец!..»

Я хочу рассказать о вечере того далекого дня, когда это мое уже известное вам прозвище прозвучало впервые.

Вернувшись домой, я поспешно набрал две двойки и попросил:

— Соедини меня, Снегурочка, с Дедом-Морозом.

— По какому вопросу?

— По очень важному!

— Может быть, я сама могу его разрешить?

— Нет, ты не сможешь.

— Соединяю.

Услышав в трубке голос своего покровителя, я быстро-быстро заговорил:

— Дедушка, у меня есть одно предложение! Расколдуй всех моих приятелей: пусть они мною не восхищаются. И не хвалят меня... А вместо этого заколдуй одного только Валерика! Чтобы он уважал меня, и хвалил, и хотел со мною дружить, как прежде...

— О, как тяжело мне тебе отказывать! Но ты просишь о невозможном.

— Ведь ты же волшебник высшей квалификации!

— Да... так считают.

— И ты не можешь этого сделать?

— Нет.

— Почему же?!

— Когда-нибудь ты узнаешь об этом.

— Когда?

— Когда придет время.

— А когда придет это время?

— Когда пробьет час.

— А когда пробьет час?

— О, спроси меня о чем-нибудь другом. Задай мне любой вопрос.

— Хорошо. Я задам. Я спрошу!.. Зачем ребятам так нужно было попасть в зоопарк?

— Ты опять отыскал вопрос, который не должен был находить, потому что я не имею права на него ответить. Пойми: каникуляру не полагается знать о том, что происходит в школе.

— Ты второй раз сегодня отказываешь каникуляру... — воскликнул я.

— О, не терзай мое сердце! Мне так тяжело тебе отказывать! Но ведь я уже объяснял, что сказка имеет свои законы. И все-таки я отвечу тебе... Но без всяких подробностей. В самых общих чертах...

— Конечно! Конечно... Без всяких подробностей!

— И только в порядке исключения...

— Конечно! Конечно!..

«И какая же это хорошая фраза: «...в порядке исключе-

ния», — подумал я. — С ее помощью можно делать все, чего делать не полагается!»

— Они готовятся ко дню открытия...

— Чего? — нетерпеливо перебил я.

— Кружка юнукров!

— Юнукров?.. А при чем здесь зоопарк?

— Больше я ничего не скажу. Никаких подробностей.

— Но, дедушка, может быть, ты ошибся? Наверно, кружок юнкоров? Юных корреспондентов?

— О, ты обижаешь меня: я никогда бы не посмел вводить в заблуждение каникуляра!

Вообще-то Дед-Мороз разговаривал как все обычные люди, но только часто употреблял восклицание «О!». Одна эта буква, поставленная вначале, придавала его фразам некоторую торжественность. И я, сам того не замечая, тоже стал иногда восклицать: «О, я пойду во двор! О, дайте мне вилку!..»

— О, дайте мне немного подумать! — сказал я маме и папе после телефонного разговора с Дедом-Морозом.

И ушел на улицу: мне хотелось побыть наедине со своими мыслями, разгадать, кто же такие эти юнукры.

«Юнукры»? — размышлял я. — Может быть, это «юные украшатели»? Но что они украшают? Школьный двор? Или улицу? Ничего интересного! А может быть, «юные укрепители»? Но что они укрепляют? Дисциплину в школе? Тоже нашли занятие! А если ни то, ни другое? Кто может ответить мне, объяснить?.. Конечно, только Валерик: ведь он не подчиняется законам сказки. Он может, если захочет!»

Через несколько минут я был у Валерика:

— Дай слово, что ответишь мне на один вопрос!

— Прости, но я должен знать, на какой именно.

— Кто такие юнукры? Объясни! Ведь я же провел вас всех в зоопарк...

Я не договорил последнюю фразу, сообразив, что она не понравится Валерику.

— А тебе очень интересно узнать?

— О, просто до смерти интересно! — воскликнул я.

— Ну ладно... Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха! Это юные укротители! Сокращенно получается: юнукры. Понимаешь?

— Понимаю... И чем же вы будете заниматься?

— Дрессировать, укрощать...

— Кого?

— Потом, когда закалим свою волю по-настоящему, может быть, даже и хищников.

— А зачем же ты интересовался в зоопарке кроликами, белыми мышами, ежами? Их ведь никто не дрессирует.

— А мы попробуем! И кроликов, и ежей, и белых мышей... Но главным образом, кошек!

— Почему? — удивился я.

— Потому что многие хищники принадлежат к семейству кошачьих. Мы будем на кошках привыкать, тренироваться... Ты вообще-то, я надеюсь, знаешь, что отряд хищных делится на разные семейства? И семейство кошачьих как раз в этом отряде. А наша домашняя кошка, между прочим, произошла от дикой нубийской буланой кошки, потомки которой и сейчас живут в Африке.

— Это в учебнике зоологии написано?

— Да.

Валерик в последнее время часто произносил разные цитаты из учебников. Мне хотелось тоже пощеголять такими умными фразами, но я не мог: мама спрятала все мои учебники в шкаф и заперла их на ключ.

Так поступила мама, которая раньше считала, что каждая прочитанная книга, как и день, проведенный в школе, — «это крутая ступенька вверх».

— День открытия кружка станет у нас как бы традиционным днем юных укротителей, — продолжал Валерик. — И через год, и через два, и через три мы будем устраивать в этот день представления, сеансы дрессировки и парады юнукров. Каждый юный укротитель будет вести на поводке или нести на руках свое подшефное животное.

— На этих парадах представители семейства кошачьих сожрут всех ваших белых мышей, — сказал я.

— Мы установим мир и дружбу между животными! А ежи, кстати, тоже ловят мышей. И считаются очень полезными, — сообщил Валерик.

— Так в учебнике написано?

— А что?

— Я учебников не читаю.

— Это я знаю.

— А что там написано про семейство собачьих?

— Прости, но такого семейства не существует.

— Какая ужасная несправедливость! — воскликнул я. — Семейство кошачьих есть, а собачьих — нету.

— Зато есть семейство псовых!

— Ах, все-таки есть? Ну, тогда я спокоен!

— Про собак-то вообще много чего написано. Но у нас собак не хватает. Никто не хочет их отдавать: все-таки — друзья человека! Я объясняю своим укротителям: «Вы же и в кружке будете шефствовать над ними, воспитывать их». Говорят: родители не согласны. Мы даже решили дворняжек принимать...

— А меня примете? — тихо спросил я.

— Куда? В кружок? Просто не сможем.

— Та-ак... Значит, дворняжки для вас подходят, а я нет?

— Пойми: ты никак не можешь стать юнукром!

— Почему?

— У юнукров должна быть воля! И потом... мы будем дрессировать на научной основе. А ты учебников не читаешь.

— Та-ак... Понятно. Значит, я вам сегодня открыл вход в зоопарк, а вы для меня вход закрываете...

С этими словами я решительно направился к двери. Но когда я уже взялся за ручку, меня неожиданно осенила одна идея. И я повернулся к Валерику:

— Значит, породистых собак у вас не хватает?

— Нет.

— О, это прекрасно!..

В МЕНЯ ВЛЮБЛЯЕТСЯ РЕНАТА

У нас в квартире были соседи. Соседей было трое: муж, жена и их любимица такса, по имени Рената.

Что касается меня, то я не был любимцем соседей. Они даже говорили, что хотят устроить обмен и уехать из нашей квартиры, потому что я — «ненормальный жилец» (опять — ненормальный!).

Соседям очень не нравилось, что я любил читать Валерику по телефону свои сочинения по литературе; что вообще мы с моим лучшим другом перезванивались каждые полчаса, хоть он жил всего-навсего этажом выше; что Валерик придумывал таинственные игры, по ходу которых мы бросали друг другу в почтовый ящик «вещественные условные

знаки»: камни небольших размеров, ржавые гайки, старые шнурки от ботинок и металлические бильярдные шарики. Им не нравилось, что все наши самые важные советы и заседания созывались в ванной комнате. Им не нравилось, что, приходя ко мне, мои приятели оставляли следы от своих башмаков в коридоре на натертом паркете. И еще очень многое другое не нравилось нашим соседям.

А мне не нравилось, что ранним утром, и днем, и поздним вечером они в коридоре громко, приторными голосами беседовали со своей любимицей таксой:

— Не хочешь ли ты прогуляться, наша ласточка? Не нужно ли тебе куда-нибудь, наша милая? Не стесняйся, скажи нам правду — и мы выведем тебя на улицу, наша красавица!

У красавицы были такие короткие ножки, что казалось, брюхо вот-вот коснется земли, а обвислые уши напоминали большие увядшие листья, которые скоро должны были опсть на землю.

Иногда соседи обращались к своей Ренате не на «ты» и даже не на «вы», а как-то странно величали ее словом «мы».

— Мы еще не захотели отправиться к заборчику или к нашему любимому столбику? — вопрошали они на всю квартиру. — Мы сегодня не в духе? У нас сегодня грустное настроение?

Рената была молчалива. Но стоило ей хоть вполголоса тявкнуть, как я тут же появлялся на пороге своей комнаты и заявлял:

— Людям, значит, нельзя разговаривать в коридоре, а собаке лаять можно? Надоел ваш таксомотор!

— Скажи, как ты относишься к Ренате, и я скажу, кто ты! — переиначивала соседка известную русскую поговорку.

В один голос со своим супругом она восклицала:

— Не смей называть нашу таксу таксомотором! А ты, ласточка, его не слушай!

Соседи обожали рассказывать о родословной своей таксы и нередко заявляли мне:

— У ее родителей было три золотые медали! Посмотрим, получишь ли ты в десятом классе хоть одну серебряную!

Я и сам не был уверен, что смогу тягаться в этом смысле с родителями Ренаты, и потому не возражал.

И вдруг сейчас породистые и знаменитые предки таксы, фотографии которых висели у соседей на стене, рядом с портретами их собственных родственников, — да, именно предки Ренаты должны были прийти мне на помощь. Я это понял, когда Валерик сообщил мне, что не хватает породистых собак и что в свой будущий зоопарк они будут принимать дворняжек без всякого конкурса.

Дома я подошел к телефону, набрал две двойки и сказал Снегурочке:

— Я хочу, чтоб меня полюбила Рената!

— Кто? Кто?..

— Меня очень развлечет... мне доставит огромное удовольствие, если такса Рената откажется от своих хозяев и будет признавать только меня одного.

Через пятнадцать минут после этого разговора мирная Рената тяпнула своего хозяина за палец. Когда к ней протянула руки хозяйка, она тяпнула и ее.

— Ты обозналась! — в ужасе закричала соседка. — Милая Рената! Приглядишься к нам повнимательней: это же мы, твои самые близкие люди...

Но такса рассвирепела и не желала вглядываться в лица моих соседей. Она рычала так грозно и непримиримо, что они с криками: «Она заболела! Ее кто-то укусил!» — ринулись в комнату и захлопнули за собой дверь.

Соседи привыкли сваливать все свои беды на меня, и я удивился, что они, прячась в комнате, не заявили, что это я укусил их собаку.

Я вышел в коридор и поманил таксу к себе. Она подбежала и стала ласково, покорно вилять своим куцым хвостом. В этот момент соседка выглянула в щелку и закричала своему мужу:

— Смотри, смотри, он околдовал нашу Ренату!

Если б она только знала, как точны были ее слова!

Короче говоря, через час я повел Ренату к ее любимому столбику. А еще через час выяснилось, что она принимает пищу только из моих рук. Я с удовольствием кормил ее своими призами и подарками, которые уже начинали мне немножко надоедать.

— Если бы она была бешеная, — через дверь объяснял я соседям, — она бы кусала всех. А вот посмотрите: она же меня не кусает. Значит, Рената просто разлюбила вас и по-

любила меня! Ведь у людей так бывает? А собака — друг человека: значит, и с ней это может случиться.

За дверью раздались рыдания соседки. Мне даже стало ее жалко. Но я знал, что только при помощи Ренаты смогу проникнуть в кружок юнукров, участвовать в представлениях и парадах юных укротителей.

Ночь такса провела у меня под кроватью. Как ни заманивали ее соседи на старую лежанку, она твердо решила переменить квартиру.

На следующий день соседи привели к таксе своего знакомого ветеринара. Он осмотрел собаку и сказал:

— Мне бы такое здоровье!

— Но в чем же дело? — воскликнула соседка.

— У собаки тоже есть сердце, — ответил ветеринар. — Да, сердце, которому не прикажешь! Вы хотите, чтобы такса осталась в вашей квартире?

— Да, конечно... Разлука с ней была бы невыносима!

— Тогда уступите ее вашему юному соседу. Это единственный выход.

Рената стала моей!

Прежде всего я дал таксе новое имя. Юнукры называли мирных домашних животных грозными именами хищников: рыжих кошек — Львицами, пятнистых — Тигрицами. Я назвал свою таксу Рысью.

По десять раз в день выводил я таксу во двор, надеясь, что нас с ней увидит Валерик. Я подводил Рысь к ее любимому столбику, но она равнодушно отворачивалась от него, давая мне понять, что столько раз в день этот столбик ей вовсе не нужен. А Валерика во дворе не было: должно быть, он с утра до вечера готовился к своему знаменитому дню юнукров.

Тогда однажды я вывел таксу во двор совсем рано, в тот час, когда Валерик должен был бежать на уроки.

Рысь со всех ног помчалась к столбику (за ночь она успевала по нему соскучиться), а я стал дежурить возле подъезда, чтобы не пропустить Валерика. Наконец он появился... Хотя в запасе у меня было всего несколько минут (Валерик торопился в школу), я решил начать не с самого главного.

— Что это у тебя в руках? — спросил я. — Такое... свернутое в трубочку...

— Это плакаты для нашей будущей «комнаты смеха и страшных рассказов».

— Смеха и страшных рассказов?

— Ну да. Мы открываем ее специально для юнукров. Юный укротитель должен быть всегда веселым и храбрым! В этой комнате он иногда будет веселиться, а иногда слушать рассказы, которые будут закалять его волю!

Я насторожился. Дело в том, что я очень любил смеяться. Я мог смеяться целыми часами, и иногда в самых неподходящих местах: например, на уроке или где-нибудь на сборе. И страшные истории Валерика «с продолжением» я тоже мог слушать до бесконечности. Поэтому я сказал:

— Но ведь мне тоже нужно закалить свою волю! Ты сам говорил об этом... Вы пúстите меня туда, в эту комнату?

— Видишь ли, — начал объяснять Валерик голосом, который моя мама называла вежливым, интеллигентным и непохожим на мой. — Мне очень неудобно тебе отказывать... Но у нас будет не просто веселая комната. Там, на стенах, будут вывешены всякие плакаты. Как раз вот эти, которые у меня в руках...

— А что там написано?

— Ну, например: «Кто не работает, тот...»

— Не ест! — подхватил я, словно отгадывая последнюю строчку в стихах дяди Гоши.

— Нет, у нас будет написано немного по-другому: «Кто не работает, тот не смеется!» И еще: «Смеется тот, кто...»

— Смеется последним! — снова перебил я Валерика.

— Опять не угадал. У нас будет написано так: «Смеется тот, кто не только смеется!» Понимаешь? В том смысле, что не только развлекается...

— Но ведь ты знаешь, что я умею смеяться громче всех у нас в школе! И потом... моя воля очень нуждается в закалке. Я сам это чувствую!

— Этого еще мало!

«Ах, этого еще мало! — мысленно возмутился я. — Ну, сейчас ты поймешь, что я вам пригожусь! Что я не с голыми руками собираюсь вступить в юнукры!..»

— Рысь, Рысь, сюда! — крикнул я.

И такса послушно подскочила ко мне.

— Соседкину собаку прогуливаешь? — спросил Валерик.

— Нет, не соседкину, а свою! Теперь она моя.

— Довольно породистая...

— «Довольно породистая»! Да знаешь ли ты, что у ее родителей десять золотых медалей, пятнадцать серебряных и столько же бронзовых! Я уже не говорю о ее бабушке и бабушке!..

— Отдай ее нам,— сказал Валерик.

— Это невозможно: Рысь любит только меня. И просто сдохнет с тоски...

— Не умрет! А кто-нибудь из ребят будет ее воспитывать.

— Твой любимый Жорочка?

— Напрасно ты злишься: Жорка — хороший парень.

— А я плохой?

— Жорка — сильный и добрый.

— А я слабый и злой?

Валерик ничего не ответил.

— А я, значит, не могу воспитывать свою собственную таксу? Не имею права?

— Извини меня, Петя... Но ведь ты же не можешь ходить в школу. А кружок наш будет как раз при школе.

— Почему это я не могу?

— Потому что ты проходишь курс лечения, а больные школу не посещают.

— Это вам учительница сказала? Она все перепутала!

В эту минуту из подъезда выскочил Мишка-будильник и громко сообщил:

— Восемь часов двадцать минут!

Они с Валериком побежали за ворота, на ту самую дорогу, по которой я и сегодня мог бы идти зажмурившись... Из другого подъезда выскочил Жора, догнал их. И они побежали втроем. Да, Дед-Мороз аккуратно выполнял мою просьбу. Я понял, что смеяться мне теперь придется в одиночку. И в одиночку придется закалять свою волю. И, уж конечно, о д н о м у придется сидеть в темноте на служебном стуле подруги маминой юности.

Я вернулся домой. Снял трубку и набрал две двойки.

— Собака очень утомляет меня,— сказал я Снегурочке.— Просто даже отягощает... Пусть она вернется к своим хозяевам.

Предчувствуя разлуку, такса стала тереться о мою ногу.

— Рысь, брысь! — отогнал я ее.

— Что такое? — спросила Снегурочка.

— Это я собаке... Она наскучила мне!

— Все понятно. Заказ принят. Номер заказа тринадцать дробь семь. Больше никаких желаний не будет?

Я хотел что-нибудь попросить. Помолчал немного... Но, так ничего и не придумав, спросил у Снегурочки:

— А почему у вас к каждому номеру прибавляется это самое «дробь семь»?

— Для пущей сказочности, — ответила Снегурочка.

— Для сказочности? — удивился я.

— Ну да. Разве ты не замечал, что семерка — одна из самых волшебных цифр? Почти все чудеса в сказках совершаются «за семью морями», «за семью замками», «за семью печатями», «в семь дней и семь ночей» или где-нибудь «на седьмом небе»!.. Значит, сегодня заказов на развлечения не будет?

— Нет. Что-то я немного устал...

ПИОНЕР-ПЕНСИОНЕР

Я и правда устал, потому что в Стране Вечных Каникул был очень напряженный график развлечений.

Утром я выходил из дому, за углом садился все в тот же троллейбус, впереди и на боку которого было написано: «В ремонт», и прибывал на нем в Докмераб. Там я пел «хором», ходил «хороводом», соревновался сам с собой, побеждал, забирал все призы, которые были у Деда-Мороза, получал жестяную подарочную коробку и уходил домой.

Конечно, я мог попросить Деда-Мороза изменить эту программу, но я по-прежнему боялся, что в другом представлении не будет соревнований, в которых я уже так привык побеждать. И что я не буду каждый день получать пряники, пастилу и шоколадные медали. Хотя от всего этого меня уже понемножку начинало тошнить.

Над столом у меня теперь вместо «Расписания уроков» висело «Расписание развлечений». Согласно этому расписанию, которое каждый день менялось, я после Елки непременно должен был идти в цирк, или на дневной концерт, или на какую-нибудь выставку.

А сразу же после обеда я, по маминому приказу, отправлялся в кино.

Вечером, вернувшись с работы, мама высовывалась в окно и, если я был во дворе, требовательно звала меня слушать патефон. Иногда в окно высовывался и папа.

— Домо-ой! Пора смотреть диафильмы! — командовал он.

Да, кроме кинофильмов, я еще должен был дома в обязательном порядке смотреть диафильмы.

Раньше папа, который был за «беспощадное трудовое воспитание», требовал, чтобы я сам вешал на стену свой пододеяльник, предварительно, конечно, вынув из него одеяло, и чтобы сам возился с черным аппаратом, вставляя в него узкие ленты диафильмов. Теперь папа не разрешал мне вешать экран-пододеяльник и не позволял близко подходить к аппарату — он все делал сам, а я был только зрителем.

— Твое дело смотреть! — говорил папа. — Это тоже не легкое занятие.

И правда, это было не очень легко, если учесть, что в нашем домашнем кинотеатре, как и на медицинской Елке, одна и та же программа повторялась каждый день.

Мои приятели теперь поздно возвращались из школы: готовились ко дню юнукров.

Во дворе и в красном уголке я общался, главным образом, с пенсионерами. Кстати, однажды, когда я заказал в «Столе заказов» в качестве очередного развлечения катание на поезде метро (ничего другого я уже просто не мог придумать!) и когда я спустился на эскалаторе вниз, дежурный по станции усадил меня в первый вагон под табличку: «Для пассажиров с детьми и инвалидов». Я долго упирался, отказывался, но он решительно настаивал: «Нет, нет, сиди, пожалуйста: здесь твое место! Видишь, написано: «Для инвалидов».

В красном уголке я играл с пенсионерами и инвалидами в их любимые «сидячие игры»: лото и домино.

И еще я привык слушать разговоры о разных болезнях. Я теперь точно знал, отчего бывают спазмы сосудов, каковы признаки грудной жабы, склероза и язвы желудка. Вернувшись домой, я подробно ощупывал себя и находил признаки всех болезней, о которых слышал во дворе. Кажется, я старел... Нет, не вырослел (поскорее стать взрослым было в те годы моей самой заветной мечтой!), а именно старел и дряхлел.

Однако не все мои новые друзья поддавались возрасту. Бывший спортсмен дядя Рома все время говорил о пользе физических упражнений. И однажды я решил с его помощью потренироваться в хоккейной игре: мне очень хотелось научиться защищать ворота и когда-нибудь взять реванш за свое первое позорное поражение.

Мы договорились, что я буду стоять в воротах, а дядя Рома попытается клюшкой забивать мне голы.

Помню, дядя Рома, который очень любил физические упражнения, размахнулся, ударил — я упал и не пропустил шайбу. Но в ту же минуту упал и дядя Рома... Ему стало нехорошо.

— Простите меня, дядя Рома,— пролепетал я.

— Ничего, ничего... Просто переоценил свои возможности,— сказал он.— Каждому возрасту — свои игры...

Вечером Валерик, встретив меня, спросил:

— Играешь в хоккей с пенсионерами?

— А что такого особенного? Достойные, всеми уважаемые люди... Пользуются заслуженным отдыхом!

— Они-то — заслуженным!..— сказал Валерик. И усмехнулся: — Эх ты, пионер-пенсионер!

Так приклеилось ко мне еще одно прозвище.

«Когда же,— думал я,— сбудется, наконец, предсказание Деда-Мороза и я узнаю, почему Валерик не подвластен волшебной силе?..»

«ОПАСНАЯ ЗОНА» В ПОСЛЕДНЕМ РЯДУ

Уже целые сутки я голодал... Я не мог больше питаться пряниками, пастилой и шоколадом.

Признаться в этом маме и папе я не хотел. Но когда они ушли на работу, я стал шарить в буфете и на кухне между оконными рамами, где мама обычно охлаждала продукты.

«Колдовство какое-то! — злился я.— Ничего нет... Нарочно едят в кафе и столовой, чтобы я умер с голоду».

На моем столе, и в буфете, и на подоконниках лежали пакеты с призами и жестяные коробки с подарками, но я не мог даже смотреть на них. На улице я теперь всегда заранее, по запаху, угадывал приближение кондитерских магазинов — и тут же переходил на другую сторону.

В полдень я попросил у соседки кусок обыкновенного черного хлеба.

Как я мечтал теперь о простом черном хлебе! Или о картошке с жареной колбасой!.. Или о том, чтобы посидеть просто вдвоем с Валериком и поговорить о наших общих делах, как это бывало раньше. Но общих дел у нас с ним уже почти не осталось...

Соседка черного хлеба не нашла.

— Хочешь пряников? — спросила она. — Или сладкого пирога?

Это было поразительно! Ведь наша соседка всегда утверждала, что для человеческого организма «пироги и пышки — это синяки и шишки». Соседка любила по-своему переиначивать пословицы и поговорки. Она всегда учила свою Ренату: «На черный каравай пасть разевай!» И вдруг у нее не оказалось ни кусочка черного хлеба!..

В последнее время мои отношения с соседями резко изменились. Оба они официально заявили, что я стал наконец «нормальным жильцом».

И дело было не только в том, что я расколдовал и вернул им их любимую таксу. Моих соседей очень радовало, что я уже не читал Валерику по телефону свои сочинения, что вообще телефон отдыхал теперь от моих разговоров, что уже никто не бросал в почтовый ящик «вещественные условные знаки» и что никто из моих приятелей не оставлял в коридоре следов от своих ботинок. Соседей радовало мое одиночество...

В тот день я решил не идти на Елку за призами и подарками. А пошел прямо в кинотеатр «Юный друг».

У входа меня поджидала подруга маминой юности. Лицо у тете Даши было бледное и расстроенное.

— Что случилось? — спросил я.

— У меня неприятности по работе, — сообщила тетя Даша. — Из-за тебя никто не покупает билеты на места в последнем ряду. Получается недогруз зрительного зала!

— Из-за меня?

— Да, по всему району прошел слух, что у нас в последнем ряду «опасная зона».

— Но при чем же здесь я?

— Перестань подсказывать зрителям, кто там, на экране, будет жениться, а кто разводиться, кто куда уедет и кто кого

убьет... Зачем же ты забегаешь вперед и рассказываешь им содержание? Чтобы меня уволили с работы?

В кинотеатре «Юный друг» фильмы шли примерно по неделе — таким образом, каждый из них я смотрел не меньше семи раз. Однажды я обратился к Деду-Морозу с просьбой, чтобы кинокартины не повторялись.

— О, я рад был бы пойти тебе навстречу! — ответил он. — Но где же взять столько фильмов? Ты и так смотришь абсолютно все, на которые дети до шестнадцати лет допускаются...

— Тогда покажи мне то, на что дети не допускаются! — воскликнул я.

— О, этого я не могу... Я же дисциплинированный волшебник!

Дед-Мороз не выполнил моей просьбы, поэтому все, что происходило на экране, я выучивал почти наизусть и во время сеанса объяснял своим соседям, что будет дальше. Но, вместо того, чтобы поблагодарить меня, они возмущались:

— Перестань шептать! Сидит на каком-то странном стуле, между рядами и еще шепчет. Надо позвать администратора!

Я ожесточился: «Почему это всем должно быть в кино интересно, а мне одному скучно и неинтересно? Нарочно буду подсказывать!...»

И вот места по бокам от служебного стула опустели... Получилось, что я не только езжу в персональном троллейбусе, но и сижу в персональном ряду! Тогда я начал рассказывать о предстоящих на экране событиях ребятам, которые сидели впереди меня.

И вот какая из всего этого получилась неприятность: подруга маминой юности могла потерять работу. Что стоило ей вообще выгнать меня со своего служебного стула? И больше никогда в жизни не пускать меня на этот особый стул? Казалось бы, ничего... Но Дед-Мороз не разрешал ей так поступить. Да, только Валерик оказался дед-морозоустойчивым! Но почему?

— Ты рассказывай мысленно, про себя, — робко советовала мне тетя Даша.

Я обещал.

В тот день впереди меня сидели какие-то мальчишки.

А по обе стороны от служебного стула места опять пустовали: здесь была «опасная зона».

Когда начал медленно гаснуть свет, почти все мальчишки, сидевшие впереди, обернулись ко мне. И один из них предупредил:

— Попробуй только подскажи!

— Очень мне нужно! — ответил я.

В самый разгар картины, когда на экране враги напали на след героя, мальчишки стали перешептываться между собой: «Его поймают! Его найдут!..» И тут я не выдержал:

— Не бойтесь! Его не поймают. Он спрячется...

— Попробуй только выйди на улицу после сеанса! — ответили мне в темноте.

На всякий случай я не стал дожидаться конца сеанса.

— Ничего, мы тебя и завтра найдем! — прошипел мне вдогонку все тот же парень. Он знал, что я хожу в кино ежедневно.

«Скажу маме, что зрители меня травят!» — решил я. И без всякого сожаления навсегда распрощался со служебным стулом подруги маминой юности...

А в доме у нас в тот день происходило что-то невообразимое. То и дело я слышал за дверью на лестнице топот ног. «Ишь ты, — думал я о Валерике, — сидит себе дома, как командир в штабе, а к нему бегут, топают ногами! Что у них там происходит?»

Время от времени на лестнице раздавалось мяуканье и собачий лай. Рената задвигала своими обвислыми ушами и вместе со мной стала напряженно прислушиваться.

Я чуть приоткрыл дверь и в щелочку стал наблюдать за ребятами. Что это они так торжествуют?

Увидев, что Мишка-будильник тащит на руках пятнистого щенка, я высунулся на лестницу:

— Леопарда несешь?

У Мишки была радостная и, я бы даже сказал, ликующая физиономия.

— Что это у вас... такое? — спросил я.

— Завтра открываем кружок юнукров! И «комнату смеха» тоже.

— А сегодня что? Генеральная репетиция?

— Да, готовимся.

— Очень уж много у вас беготни, — сказал я.

— Двадцать часов восемнадцать минут! — сообщил мне на прощание ликующий Мишка. И скрылся за поворотом лестницы.

А я бросился к телефону. «Сейчас выпрошу у Деда-Мороза... В порядке самого исключительного исключения!» — решил я. И набрал свои привычные двойки.

— «Стол заказов» сегодня закрыт: санитарный день! — ответил мне голос Снегурочки.

«Додумались! Устроили свой санитарный день как раз накануне такого дня! — со злостью думал я. — Чистюли какие! И что они там, интересно, моют? Дезинфицируют бороду Деда-Мороза?..»

На лестнице не прекращался топот моих приятелей. «Ой, как здорово! Как потрясающе!..» — повизгивали девчонки.

«Телячьи восторги! Какой-то там кружок, «комната смеха и страшных рассказов»! Что такого особенного? — рассуждал я. — Чего они так ликуют? Придумали себе праздник — и радуются. Я вот могу хоть каждый день ходить в настоящий театр, в настоящий цирк, могу хоть каждый день устраивать себе праздники... И то не радуюсь! Не бегаю как угорелый по лестнице!»

Но когда сверху раздалось пение, я не выдержал и побежал туда, к Валерику... На лестнице я остановился, прислушался и разобрал припев:

Нас никому не застращать:
Зверей мы будем укрощать!
И воспитаем многих
Друзей четвероногих...

Когда в дверях показался Валерик, я сказал:

— Уж очень вы громко орете...

— Прости, но я думал, что звук резонирует кверху, то есть как бы уходит вверх...

— Это в учебнике написано?

— А что?

— А то, что ваш звук резонирует враз...

— Прости, мы будем петь тише. У вас кто-нибудь спит? Он хотел закрыть дверь, но я удержал его:

— Можно, я немножко попою вместе с вами? Знаешь, как я умею петь! Каждый день пою «хором»... Или, вернее сказать, за целый хор! И хожу «хороводом»...

— Мы разучиваем «Гимн юных укротителей». Его будут петь завтра только юнукры!

— А я не могу прийти на это ваше открытие?.. Не могу?

Валерик задумался.

— Погоди. Кажется, есть выход.

— Какой?!

— Мы пригласим тебя экскурсантом.

— Я не хочу экскурсантом! Я хочу воспитывать какую-нибудь собаку... Или пусть даже белую мышь! И хочу смеяться в «комнате смеха»!

Валерик молчал.

— Ага, молчишь! И по телефону звонить перестал. И в почтовый ящик ничего не бросаешь...

— А что же ты сердишься? У тебя теперь свои дела, у меня — свои.

Но я-то хотел, чтобы дела у нас с ним всегда были общие! Я почему-то вспомнил, как Снегурочка однажды по телефону назвала нашу учительницу моей «бывшей учительницей». «Может быть, и Валерик становится моим бывшим лучшим другом?» — со страхом подумал я.

Я не хотел этого. Я любил Валерика. И решил удрать из Страны Вечных Каникул!

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ

Всю ночь я репетировал свой предстоящий разговор со «Столom заказов».

— Позвоню Снегурочке, — шептал я, с головой спрятавшись под одеяло, — и скажу ей: «Мне доставит огромное удовольствие, просто самое большое удовольствие в мире, если вы отпустите меня из Страны Вечных Каникул! И пусть никто в школе не требует у меня оправдательных справок... Пусть никто не спрашивает, где я был эти полтора месяца!»

«Интересно, когда начинается рабочий день в «Столе заказов»? — размышлял я. — Наверно, как в продовольственных магазинах, в восемь утра!»

Ровно в восемь я был у телефона. Набрал две двойки, но вместо голоса Снегурочки услышал злые короткие гудки: занято! Я еще минут пять подряд крутил диск, но «Стол

заказов» не освобождался. Занят! С кем же это, интересно узнать, Снегурочка разговаривает? Может быть, появился еще какой-нибудь каникуляр? Вот было бы хорошо! Тогда бы моего побега никто и не заметил. «А вернее всего, — решил я, — просто угадали волшебным путем, о чем я буду просить и не хотят откликаться. Тогда я буду действовать сам, без помощи волшебной силы. А если она попытается мне мешать, я буду бороться!..»

Окрыленный таким смелым замыслом, я побежал собираться в школу. До начала уроков оставалось всего минут двадцать... Но как быть с учебниками и тетрадями? Ведь моя мама заперла их в шкафу!

— Зачем ты берешь портфель, Петр?! — строго спросила она.

— Так приказал Дед-Мороз, — не задумываясь, соврал я. — Он придумал какую-то новую игру: «А что у тебя в портфеле?» Мне нужны учебники и тетради...

— Ну, если это для игры, тогда хорошо, — сказала мама.

Она взяла ключ и отперла шкаф. Никогда еще — ни раньше, ни потом — не укладывал я книги и тетради в портфель так бережно и с такой любовью, как в то далекое утро...

— А почему ты так рано поднялся? — спросила мама.

— Сегодня очень уплотненный день, — ответил я словами, которые часто слышал от папы. — Я хочу успеть и в музей, и в Планетарий, и в цирк, и даже, может быть, на выставку мод.

— Молодец! — похвалила она. — Работяга!

Портфель распух, но он не казался мне в то утро тяжелым: я нес его столь же легко и радостно, как носил раньше подарки с елочных праздников.

Идти в школу обычной дорогой я не решился: меня на перекрестке мог вновь окликнуть свистком милиционер, заколдованный Дедом-Морозом, и направить в сторону от школы — к троллейбусной остановке. Но я знал, как добраться до школы проходными дворами. И смело отправился в путь!

В утренних дворах было пусто. Только дворники сгребали снег в сугробы, словно лепили белоснежные остроконечные башенки. А ледяные дорожки посыпали песком и солью.

«Зачем? — удивлялся я. — Ведь во дворах хозяйничают

ребята, а они никогда не спотыкаются на ледяных дорожках, они так любят кататься по этим узким зеркальным островкам!»

И вот, наконец, я дошел до последних ворот, сквозь которые уже была видна наша школа... и на которых было написано: «Проход запрещен». Неужели специально для меня закрыли ворота?!

Где-то в углу двора одиноко приткнулась к стене автоматная будка, стекла которой заросли густым снежным мохом.

«А не набрать ли мне сейчас две двойки? — подумал я. — Нет, пожалуй, не стоит. Лучше сам перелезу!» Я чувствовал, что в это утро «Стол заказов» работает против меня.

Лезть через ворота было очень трудно, потому что в руках у меня был портфель, туго набитый тетрадями и книжками. С одного валенка слетела галоша, и я понял, что это шутки Деда-Мороза. Вслед за галошей упал и валенок.

«Если даже вниз полетит и второй, — со злостью думал я, — прибегу в школу в одних носках. И просижу так в классе все пять уроков. До самого открытия кружка юнкоров!»

Но тут сзади раздался грубый голос:

— Русскому языку тебя, что ли, не учили? Читать не умеешь?

Русскому языку меня учили, хотя по этому предмету я никогда не имел больше тройки.

Обернувшись, я увидел усатого дворника в белом переднике.

— Я опаздываю в школу... Пустите! — умоляюще проговорил я, сидя на металлической перекладине ворот.

Но дворник, конечно, стал отвечать мне по шпаргалке Деда-Мороза. А может быть, это был сам Дед-Мороз, который оставил дома бороду и нацепил белый фартук.

— Если свалишься, кто отвечать будет?

— Если я свалюсь, так не к вам во двор... а на ту сторону. И ребята меня подберут.

— Брось валять дурака!

Отчаяние и решимость овладели мною. Я перебросил портфель через ворота, чтобы он не мешал мне. И полез дальше вверх, цепко хватаясь за металлические прутья, которые обжигали мои пальцы, вылезавшие наружу из дырявых перчаток.

Дворник хотел схватить меня, но руки у него были коротки или, вернее сказать, просто я залез уже слишком высоко. Добравшись до вершины, я приветливо помахал дворнику озябшей ногой, с которой слетел валенок, и стал спускаться вниз по другую сторону ворот. Я уже был совсем близок к цели, но дворник протянул свои ручищи в брезентовых рукавицах сквозь металлические прутья: он все еще надеялся помешать мне. Тогда я зажмурился и прыгнул. Прыгал я с небольшой высоты и все же упал... Хотел вскочить, отряхнуться. Но кто-то склонился надо мной. «Неужели дворник перемахнул через ворота?» — подумал я. И в ту же минуту увидел над собой милиционера.

— Ушиблись, гражданин? — спросил он, почему-то обращаясь ко мне на «вы».

— Нет! Я побегу в школу...

— Ни в коем случае. Вы — пострадавший.

Наверно, Дед-Мороз заколдовал все наше отделение милиции!

— Вот нарушили порядок, полезли через ворота — и пострадали.

— Мне совсем не больно.

— Не пререкайтесь! Сейчас приедет машина. И я вас отправлю.

— Куда? В отделение?

— Нет, на лечение, — не то в шутку, не то всерьез ответил он.

И тут же раздалась пронзительная, всегда сжимающая сердце сирена «скорой помощи». К нам подкатила машина с красными крестами на боках. Из кабины выскочила санитарка. Поверх шапки у нее был белый платок, тоже с красным крестом. Она склонилась над моей озябшей ногой:

— Бедный! Никак, обморозился?.. И ушибся?

Она осторожно натянула мне на ногу валенок, который подал ей дворник сквозь металлические прутья с той стороны.

— Доставьте его в свое медицинское учреждение. Срочно! — сказал милиционер.

Они с санитаркой положили меня на носилки с колесиками и вкатили эти носилки внутрь машины. Санитарка уже не села к шоферу в кабину, а устроилась подле меня.

Я очень любил, когда меня носили на носилках, как пострадавшего. Это бывало во время учебных воздушных тревог. Но ехать в настоящей карете «скорой помощи», в настоящее медицинское учреждение я не хотел.

— Портфельчик ваш? — спросил на прощание милиционер.

— Мой, — ответил я. Схватил портфель и прижал его к сердцу.

Машина дала пронзительный сигнал, и мы помчались.

— Тебе удобно? — спросила санитарка.

Голос ее показался мне очень знакомым. Я поднял глаза и увидел... кондукторшу из моего персонального троллейбуса. Да, да, это была она! Только без сумки с билетами, а с белой косынкой и красным крестом на голове.

— Вы-ы?.. — изумленно произнес я.

— Узнал, родимый?

— И кондукторша, и санитарка?..

— Что поделаешь: у нас в Стране Вечных Каникул было большое сокращение штатов. Теперь совмещаем профессии.

Сквозь маленькое окошко над головой я узнал затылок того самого водителя, который всегда крутил огромную баранку в кабине моего персонального троллейбуса. И он, значит, тоже обслуживал «скорую помощь» по совместительству.

Тем же самым ласковым голосом, каким она предлагала мне прогуливаться по троллейбусу с места на место, санитарка сказала:

— Может быть, неудобно лежать на спине? Перевернись на бок. Чувствуй себя как дома.

— А куда вы меня... сейчас? — спросил я тихо.

— В медицинское учреждение. Тебя там подлечат немного... Да вот и приехали!

Дверь распахнулась, и я увидел, что мы прибыли в... Докмераб.

— Но ведь это... — проговорил я.

— Дом медицинских работников, — перебила санитарка. — Медицинское учреждение! Здесь тебе окажут необходимую помощь.

Подбежал дядя Гоша. Они с санитаркой схватились за ручки носилок. И внесли меня в столицу Страны Вечных

Каникул, словно какого-нибудь восточного владыку или повелителя.

Как только мы миновали входную дверь, дядя Гоша спросил:

— Ты хочешь, чтобы тебя теперь все время носили на руках... или, прости, на носилках? Если хочешь — пожалуйста!

— Нет! Не хочу. Ни в коем случае!

Я спрыгнул на пол.

— Желание каникуляра для нас — закон, — провозгласил дядя Гоша.

И санитарка с носилками тут же исчезла.

— Наконец-то ты прибыл, — сказал дядя Гоша, хотя час был очень ранний. — Дед-Мороз уже здесь и с нетерпением ждет тебя.

«Все ясно: узнал о моем неудавшемся побеге. И пусть знает. Я этого скрывать не буду!» С такими мыслями я переступил порог вестибюля.

Дед-Мороз курил возле гардероба.

— Видишь, нервничает! — шепотом объяснил дядя Гоша. — А ведь ему курить пожарная охрана запрещает: он весь огнеопасный — усы, борода!

Я еще никогда до той поры не видел курящих и нервничающих Дедов-Морозов. И поэтому изумленно остановился возле дверей. А волшебник выбросил папиросу в урну и, забыв о своей обычной степенной неторопливости, бегом направился ко мне, задрав полы роскошной красной шубы, расшитой золотом и серебром.

— Ты здесь? Вот и прекрасно. Значит, можно начинать? «Идет к нам, дети, Новый год!»

Этимися словами он каждый день начинал представление, хотя на дворе уже была середина февраля.

Я остановил Деда-Мороза:

— Не хочу больше встречать Новый год в феврале!

— Что? Что? — изумился он. — А зачем этот портфель? Ты решил теперь носить призы и подарки в портфеле? Боюсь, они там помнутся. Принеси лучше завтра авоську.

— Завтра я сюда не приду...

— Не придешь?

— Выпишите меня, пожалуйста, из Страны Вечных Каникул!

Я протянул Деду-Морозу пригласительный билет с постоянной пропиской.

— Везде трудней прописаться, чем выписаться, — сказал Дед-Мороз. — А у нас, в Стране Вечных Каникул, наоборот: выписаться гораздо трудней.

— Почему? — испугался я. — Почему трудно меня выписать?

— А ты о нас подумал? Мы же все останемся без работы до следующих зимних каникул!

— Почему?

— Потому что придется закрыть Страну Вечных Каникул. Ты же у нас — единственный каникуляр! Мы должны тебя беречь и лелеять!

— А эти зайцы, лисы, медведи? — спросил я.

— Развлекая тебя, все мы трудились. Значит, никто из нас не был каникуляром. Ты понимаешь?

— Да-а...

— Вот и выходит, что страну-то придется закрыть за неимением населения.

И правда, в каждой стране ведь должно же быть хоть какое-нибудь население. Ну хотя бы состоящее из одного человека! Я понимал это. И все же решительно произнес:

— И закрывайте ее! Кому она нужна? А ты, дедушка, вполне можешь уйти на пенсию. Как дядя Рома... И в дни зимних каникул работать... на общественных началах. Так многие пенсионеры делают. Я их теперь хорошо знаю. Подружился!

— А как поступить со Снегурочкой?

— Молодым везде у нас дорога! — воскликнул я.

— О, это верно, — задумчиво произнес Дед-Мороз. — Может быть, перевести ее на другую работу? До следующих зимних каникул... Куда-нибудь на Крайний Север. Или в Антарктиду!

— Зачем так далеко?

— Чтоб не растаяла... до следующих зимних каникул.

— Так вы меня отпускаете? — с надеждой спросил я.

— Да... Только напиши заявление: «Прошу выписать...», и так далее, — деловито сказал Дед-Мороз. — Я сбоку поставлю резолюцию. И пойдешь к Снегурочке: она у нас ведает вопросами прописки и выписки.

Я достал из портфеля новенькую тетрадку. Но мне жаль

было вырывать из нее чистый лист. Тогда я вынул из середины розовую промокашку, написал на ней заявление чернильным карандашом и протянул Деду-Морозу. Он поспешил немного кончик моего карандаша и вывел в левом углу лиловую резолюцию: «Из каникуляров отчислить. Страну Вечных Каникул закрыть! Дед-Мороз».

— Отдай Снегурочке: она все оформит.

— Дедушка,— тихо сказал я,— у меня к тебе есть еще одна очень большая просьба...

— Ну, на прощание готов исполнить. О чем твоя просьба?

— Я ведь почти целую учебную четверть пропустил. Не можешь ли ты все знания за это время как-нибудь мне в голову... вложить, что ли?

Дед-Мороз обнял меня и накрыл своей бородой:

— Этого ни один, даже самый могущественный и квалифицированный волшебник сделать не может! Знания — без учения и труда? Нет, этого, милый, никто не сможет...

Я видел, что ему не хотелось отказывать мне в последней просьбе. Не хотелось, чтоб наше прощание было грустным. И он погладил меня рукавицей по голове:

— А вот сделать так, чтоб друзья тебе помогли, это я могу...

— Не надо, не беспокойся,— ответил я.

Я был уверен, что Валерик поможет мне и так, без вмешательства волшебной силы. Я знал своего лучшего друга...

— Ну что ж! Как хочешь,— сказал Дед-Мороз.

Он уже готов был уйти, но тут я вспомнил:

— А оправдательная справка? Меня же не пустят в школу. Раньше, если я пропускал занятия, мне давала справку мама. Или выписывал доктор.

— Снегурочка оформит,— сказал Дед-Мороз.

Я пошел к Снегурочке. Вернее, она сама катила мне навстречу на серебристых роликах. Я протянул ей промокашку с резолюцией Деда-Мороза.

— А пригласительный билет? — спросила Снегурочка.

Я протянул ей билет. Снегурочка положила его на одну ладошку, накрыла другой, потом потерла ладошку о ладошку и отдала мне. Но это уже был не билет, а справка о том, что я «в течение полутора месяцев проходил курс лечения

в медицинском учреждении». Внизу стояла подпись: «Врач Елкина-Иголкина».

— Сегодня у нас день закрытия! — громко в рупор объявила Снегурочка. — Закрывается Страна Вечных Каникул, закрывается ее столица — Докмераб, закрывается «Стол заказов»!

Когда я вышел на улицу, дощечек со словом «Ремонт» у входа уже не было...

«На дне закрытия я сегодня уже побывал. Может быть, успею еще и на день открытия?» С этой мыслью я, «вылеченный» и «отремонтированный», помчался по тротуару, размахивая портфелем.

И вскоре очутился на той самой дороге, по которой я мог бы идти зажмурившись, если бы в моем городе по тротуарам не спешили пешеходы, по мостовой не мчались автомобили и троллейбусы и на каждом углу не подмигивали бы своими разноцветными глазами светофоры.

Сказки кончаются благополучно: одни свадьбой, другие пиром. И такими, к примеру, словами: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало...» По случаю своего возвращения из Страны Вечных Каникул я тоже закатил пир, если не на весь мир, то по крайней мере на весь двор. Тут-то и пригодились мне все призы и подарки, от которых (о, чудо!) меня как-то сразу вновь перестало тошнить.

Меда и пива не было, но были медовые пряники. И я там был, чай с пряниками пил. По усам ничего не текло, потому что усов у меня тогда еще не было, но в рот попало. И немало!..

ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ...

Вчера в нашей квартире раздались три торопливых, словно догоняющих друг друга звонка. Я побежал открывать дверь так стремительно, как бегал, услышав эти звонки, раньше, много-много лет назад... Соседка изумленно протерла глаза: ей показалось на миг, что она вместе со мной вернулась в те далекие годы. На пороге стоял Валерик... Он приехал в наш город на несколько дней.

Валерик почти не изменился: был таким же маленьким

и худеньким, как прежде, словно навсегда остался мальчишкой. Только на носу появились очки, и от этого, как сказала мама, «лицо его стало еще интеллигентнее».

Когда он закурил, она вскрикнула: «Ты куришь!» — как вскрикнула бы много лет назад, когда мы были школьниками...

Мы с Валериком подошли к окну и выглянули во двор, где было все то же футбольное поле и та же крокетная площадка. Валерик повернулся ко мне и голосом заклинателя произнес:

— Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха!

И я вдруг вспомнил, как однажды, в последний день зимних каникул, сказал Валерику-гипнотизеру: «Ах, если бы эти каникулы никогда не кончались!»

Валерик тогда вот так же, как вчера, пристально взглянул на меня и голосом заклинателя произнес: «Смотри на меня внимательно: в оба глаза! Слушай меня внимательно: в оба уха! Вообразим, что твое желание сбылось! Что тогда будет? Все начнется с Дома культуры медицинских работников, куда ты сегодня идешь на Елку!...»

И он стал придумывать сказку — ведь я уже говорил вам, что он был сочинителем и фантазером. А я... Я в тот день провалился в Страну Вечных Каникул... Как проваливаются в сон. Как иногда погружаются в мечту, может быть, вздорную, но неотвязную.

Наверно, Валерик и правда был немножко гипнотизером: я поверил, что все, о чем он рассказывал мне в тот день, случилось на самом деле. Я так твердо в это поверил, что даже сумел сейчас, через много лет, пересказать вам эту историю от своего имени, кое-что, конечно, изменяя и добавляя на ходу.

Рассказывая, я вновь переживал свое детство... И вновь удивлялся, почему Валерик был не подвластен волшебству. Хотя, в общем-то, ясно почему: сказка сама была подвластна ему, его выдумке и фантазии — ведь это он сочинил ее... Впрочем, не все в этой сказке выдумка. Нет, не все... Кружок юных укротителей у нас был. И Дом культуры медицинских работников тоже был. И Елка там была. Это я точно помню.

СОДЕРЖАНИЕ

П О В Е С Т И

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА	5
----------------------------	---

© «Юность», № 2, 1979 г.

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ...	41
------------------------------	----

© «Юность», № 2, 1978 г.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ	85
-------------------------------------	----

© «Юность», № 8, 1979 г.

Р А С С К А З Ы

ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ	125
------------------------------	-----

НЕПРАВДА	131
--------------------	-----

АКТРИСА	138
-------------------	-----

© Издательство «Детская литература», 1976 г.

«БАБОЧКА»	144
---------------------	-----

ТРИ МУШКЕТЕРА В ОДНОМ КУПЕ	157
--------------------------------------	-----

Я НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ...	181
-------------------------------	-----

НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ	199
-------------------------------	-----

ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?.. . . .	208
--------------------------	-----

ДВА ПОЧЕРКА	213
-----------------------	-----

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ	222
-------------------------------	-----

ЗАПИСКИ ЭЛЬВИРЫ	234
---------------------------	-----

МИМОЗЫ	277
------------------	-----

Д Л Я М Л А Д Ш И Х Б Р А Т Ь Е В И С Е С Т Е Р

П О В Е С Т И

САША И ШУРА	285
-----------------------	-----

В СТРАНЕ ВЕЧНЫХ КАНИКУЛ	357
-----------------------------------	-----

Д л я с т а р ш е г о в о з р а с т а

Анатолий Георгиевич Алексин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

Т о м 2

П О В Е С Т И И Р А С С К А З Ы

ИБ № 4583

Ответственный редактор *Е. М. Подкопаева*. Художественный редактор *В. А. Горячева*. Технические редакторы *Л. П. Костинова* и *Н. Ю. Крапоткина*. Корректоры *Г. С. Муковозова* и *Э. Н. Сизова*. Сдано в набор 03.09.79. Подписано к печати 11.04.80. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт школьный. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 24,26. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 55. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушеvский вал, 49.

Алексин А. Г.

А48 Собрание сочинений в трех томах. Повести и рассказы./ М.: Дет. лит., 1980.— Т. 2. 447 с., ил.

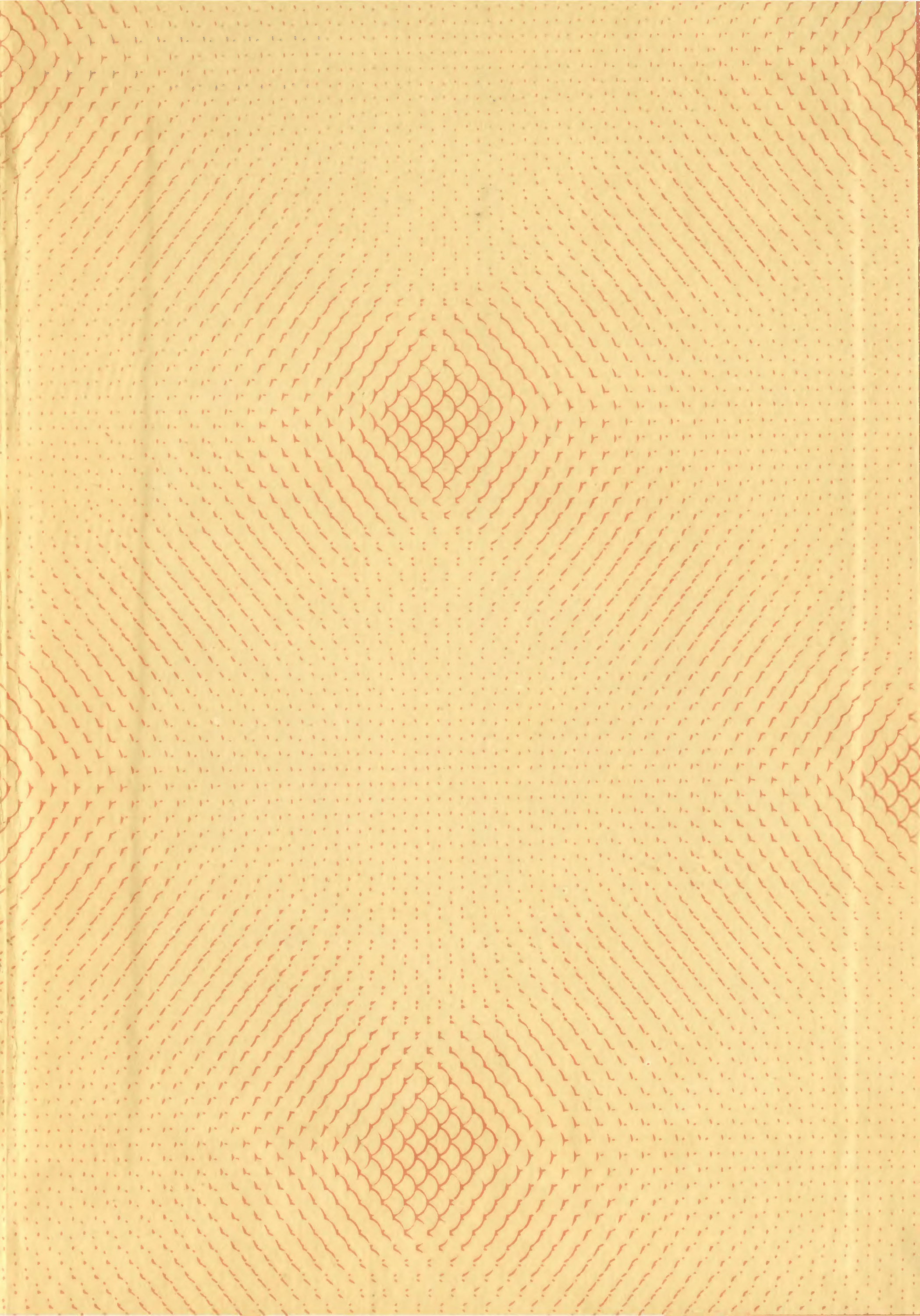
В пер.: 1 р. 10 к.

В том входят повести: «Раздел имущества», «В тылу как в тылу...», «Сердечная недостаточность», «В Стране Вечных Каникул», «Саша и Шура» и рассказы.

70803—266

А 70803—266 **Подп. изд.**
М101(03)80

Р2



1р. 10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»